НЁМАН

1/2013
ЯНВАРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Литературное обозрение

Напоследок

Редакционно-издательское учреждение
«Издательский дом «Звязда»

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *А. К. Киреенко*
Стильредактор *С. В. Казак*
Набор *Е. Г. Кахновская*

Подписано к печати 11.01.2013 г. Формат 70 ×108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 20,32. Тираж 3170. Заказ 105.
Цена номера в розницу 15 500 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»



ВИКТОР СУПРУНЧУК

Деревенская любовь

Рассказы

Для тебя я готов на все…

Я стоял на самом краю света. За мной громоздились поросшие мхом огромные валуны, а чуть дальше чернели кривые, словно обгрызенные, скалы. Несмотря на теплый солдатский бушлат, меня пронизывал, казалось насквозь, бешеный ветер, дувший с моря и сыпавший соленую крупу. Но я не уходил с берега.

У ног терлись о камни волны холодного моря. Темного, бесконечного.

Я стоял и плакал. Мои слезы смывал мокрый ветер. От холода я постепенно успокоился. Мне стало легче. Никто не видел моих слез. Я, как всегда, спокойный, веселый парень. Такой же, как мои товарищи, с которыми изо дня в день проходит мое время.

Нас немного на этом маленьком острове в холодном, очень далеком от моей деревни, море. Спрятавшись за черной горой, на которой машут крыльями локаторы, стоят пять зеленых домиков и желтый — видимо, чтобы было веселее — двухэтажный барак. В домиках живут семьи офицеров, в бараке — солдаты. Мы — особая рота. Километров в двух от нас, тоже за горой, еще одна особая рота. И там несколько домиков и барак. Наш командир, высокий седой майор Кириллов, — начальник этого гарнизона. У него есть заместитель — капитан Гризюк, широкий, как печь. У него унылое выражение лица и короткая рыжая борода. Он отвечает за воспитательную работу с нами. Каждое воскресенье на втором этаже барака капитан Гризюк показывает нам кино. Репертуар небольшой: «Чапаев», или «Бриллиантовая рука». Эти фильмы будем смотреть до тех пор, пока не придет корабль. Он бывает раз в два-три месяца.

Посмотреть кино порой приходят жены офицеров с детьми. Тогда зал полон. Все свободные от службы солдаты ходят в кино. Теперь я понимаю: чтобы поглазеть на красивых женщин, празднично нарядных, от которых пахнет духами. Чьи голоса — словно волшебная музыка. Обычно мы видим жен офицеров у их домиков, в халатах или спортивных костюмах. У всех этих женщин одно «обыкновение» или, лучше сказать, забава — куры. Их они с утра до вечера кормят, за ними ухаживают, и иногда слышно, как хвалятся одна перед другой прибылью — количеством яиц.

В тот день я сидел в зале совсем близко от жены капитана Гризюка. Мое колено почти касалось ее спины.

Она была в белом платье. На плечах — красная кофточка. Густые черные волосы завивались и спускались почти до пола. Так мне казалось, потому что через минуту, после того как я сел сзади на стул, уже ничего не видел. Только ее белую, как сметана, прикрытую черными волосами, тонкую шею. Немного оттопыренные, маленькие уши с золотыми сережками, а в них прозрачные, как колодезная вода, маленькие камешки. Чувствовал тонкий аромат мягких сладких духов.

Звучала музыка, туда-сюда слонялись дети офицеров. Я сидел, как прикованный к стулу, смотрел на эту бело-розовую шею и боялся, что мне станет плохо.

Ее запах издевался надо мной. У меня было ощущение, будто я попал в ловушку. Я жадно глотал тот ароматный воздух, видел волну черных волос, которые переливались медью под светом электрической лампочки.

Она несколько раз оглянулась, внимательно посмотрела на меня. У нее были веселые глаза. Губы шевелились в игривой усмешке. Меня осматривали, словно какую-то неизвестную вещь или игрушку.

Фильм закончился очень быстро. Я сидел бы в этом зале еще час, два, лишь бы только видеть ее перед собой. Смотрел бы, смотрел… Но зажегся свет, и она с соседкой, женой командира взвода Деркуса, весело переговариваясь, двинулась к выходу в зеленом потоке солдатских шинелей. Я ожидал, что она оглянется, снова посмотрит на меня своими веселыми глазами-угольками. Никто на меня не посмотрел. Настроение испортилось надолго, и я, словно в тумане, шел на вечернюю поверку, ложился спать. Ничего не слышал и не видел. В голове, как в кино, без конца прокручивались кадры с женой капитана Гризюка. Она садится на скамейку, смеется, оглядывается, расстегивает пальто. На ней черные блестящие чулки, как я замечаю — с рисунком. На ногах совсем маленькие, словно детские, красные остроносые туфли на высоком каблуке. Ее улыбка…

Я засыпаю где-то под утро. Мне душно и горячо, болят бока. Наконец снится, что она с мужем, капитаном Гризюком, за столом сидит, завтракает. Потом он целует ее, целует… Звучит музыка, и они начинают весело танцевать. Неожиданно спотыкаются и падают на пол, а длинные черные волосы поднимаются, как столб дыма.

Я хочу помочь ей подняться, протягиваю руку — и не хватает силы, потому что мешает борода капитана Гризюка. Я толкаю его, а передо мной стена, которая зажимает меня в угол. И нет оттуда выхода…

До армии я даже не смотрел в сторону девушек. Как говорил наш сосед в деревне, дед Мянтуз еще не созрел. Мало каши съел. Причем тут каша, кто его знает? Каждый по-своему начинает взрослую жизнь. Что-то происходит внутри, когда вдруг начинает нравиться девушка, лучше которой, кажется, нет ни одной на свете.

Я увидел жену Гризюка и будто сошел с ума. Мне хочется по несколько раз в день пройти мимо их домика, посмотреть, как она разговаривает с соседками, возится с курами. У меня сразу поднимается настроение, и я чувствую радость. И служба кажется медом. И мокрый ветер с моря уже не такой холодный. Утром я бегу кросс по каменистому острову с удовольствием, не прячусь у широкой теплой трубы гарнизонной котельни.

Я с нетерпением жду субботы, когда опять киносеанс, и жены офицеров будут сидеть вместе с нами в зале. Дни идут невыносимо медленно, тянутся, словно резиновые. А в четверг старшина роты с грустью сообщил, что капитан Гризюк, который поехал на большую землю в политотдел, вернется только на следующей неделе, а значит, новых фильмов не будет. На «Бриллиантовую руку» и «Чапаева» уже никто не пойдет: кому охота смотреть их третий месяц. Теперь суббота для меня обычный день, унылый, будний. Ощущение, будто у меня украли что-то очень дорогое и близкое.

Я угрюмо чистил на кухне картошку, не слушая, о чем галдят рядом мои товарищи, не воспринимая их анекдоты, байки. В голове жила только одна мысль, которая волновала мое существо и днем и ночью. Я подумал, что так бывает у людей с не совсем здоровой психикой. Но все же одно — думать о ком-то, и совсем другое — о себе. Что я должен делать, если все время перед моими глазами стоит Ольга Ивановна, жена капитана Гризюка? Ее черные волосы, пухлые губы и бело-розовая шея…

Стукнула дверь, и на кухню залетел дежурный по роте, с порога уже заорал:

— Дубицкий, Дубицкий! Что, оглох, салага?

Какой я ему салага, если прослужил больше года? Но я смолчал. Дежурному по роте через два месяца домой, а мне еще много раз чистить картошку на солдатской кухне, ходить в караул и смотреть по субботам кино.

— Дубицкий! — опять заревел дежурный.

— Что такое? — наконец подал я голос. — Видишь: картошку обдираю…

— Давай быстренько к командиру роты, иначе он обеспечит тебе кухню до дембеля.

Я не спеша сполоснул руки, привел себя в порядок и пошел в канцелярию. Не меньше получаса простоял, ожидая, пока майор Кириллов закончит разговор по телефону. Впрочем, мне спешить некуда: меньше останется чистить мелкой, как горох, картошки. Где ее только набрали? Мои родители более крупной картошкой свиней кормят. Я так думал, но никому не говорил.

Справа от стола майора стоял высокий, как шкаф, с большой ручкой железный сейф. Видимо, все знали, что там командир роты хранит деньги офицеров и солдат. Это была гарнизонная касса, откуда майор Кириллов один раз в месяц под роспись выдавал нашу зарплату. Говорили, что в этом сейфе некоторые офицеры держали свои деньги несколько лет, собирали, чтобы поехать с семьями в отпуск на Большую землю. На острове был маленький магазин, в котором мы покупали сгущенное молоко, печенье, сигареты, конфеты и разную мелочь. Колбаса, сыр, сладости появлялись там тогда, когда раз в месяц с Большой земли приходил катер.

— Так, Дубицкий, так, — отклеил, наконец, свое ухо от телефона майор Кириллов. — Ты же, кажется, до армии учился на электрика. Правильно?

— Так точно!

— Значится так, Дубицкий. Пойдешь к капитану Гризюку. Его жена Ольга Ивановна теперь дома. У них что-то случилось с электричеством, испортилось что-то. Какая-то авария. Ольга Ивановна скажет, что делать. Понял?

— Понял.

— Еще передашь ей этот конверт, — майор Кириллов достал из ящика стола ключ, отомкнул сейф и передал пухлый конверт. — Смотри, чтобы мне потом не было стыдно…

Ольга Ивановна стояла на крыльце и разговаривала с соседкой. На ней был красный в цветочки, почти до пят, халат. Она весело смеялась. Удивленно посмотрела на меня и пригласила в дом.

Я быстро исправил аварию, если так можно назвать то, что я сделал, — не работали две розетки, — и присел у стола, дожидаясь хозяйку, все еще болтавшую с соседкой во дворе. На стене напротив меня в деревянной рамке висела большая черно-белая фотокарточка Ольги Ивановны и капитана Гризюка, на которой он был без бороды и в лейтенантских погонах. У него были веселые наглые глаза. Казалось, он обращался ко мне: «Видишь, какая моя жена красавица?! У тебя такой никогда не будет…» Будто стоял рядом. Я даже оглянулся, встряхнул головой, прогоняя наваждение.

Стукнула дверь, неспешные легкие шаги все ближе и ближе. Она осмотрела меня, усмехнулась:

— Так это ты — Дубицкий, специалист по электричеству?

— Как видите…

— Кириллов сказал: «Пришлю Дубицкого». А я думаю: что за Дубицкий… Все сделал?

— Сделал. Холодильник работает, телевизор тоже. Ой, простите, — я вспомнил о конверте и передал его Ольге Ивановне. Она разорвала его: там были деньги. Пересчитала их и положила в буфет.

— То, что нужно, а то Гризюк забрал с собой последние. Ну, спасибо, спасибо, — она вновь заулыбалась, постукивая ногтем по столу.

— Не за что. Тогда я пошел, — я поднялся, не зная, как держать свои руки и чувствуя, что краска заливает мне лицо, шею. Мне одновременно хотелось и побыстрее выйти на улицу, и остаться в доме.

— Посиди, посиди. Успеешь в свою казарму. Покормлю тебя чем-нибудь вкусным.

— Понимаете, Ольга Ивановна…

— Ничего не понимаю. Никакая я тебе не Ольга Ивановна. Называй меня просто Олей. Если хочешь — Оленькой, но только не при муже. Он у меня очень ревнивый, — она захохотала и провела рукой по моей голове, лохматя волосы. Мне стало совсем горячо. Я боялся поднять глаза от пола, посмотреть на Ольгу Ивановну. У меня язык не повернется назвать ее Оленькой.

Она уже хлопотала у плиты, поставила на огонь сковороду. Запахло жареным салом и луком.

— Слушай, Тарас… Тебя ж Тарасом зовут? Подрежь рыбы, а то она твердая, как железо. У меня силы не хватает ее разделывать. Так ты — Тарас. Тарасик. Тарасик, где твой матрасик? — она опять захохотала и добавила: — Да не стесняйся ты. Я нормальная женщина. Если жена капитана, так что — не человек? Я вас, солдат, понимаю: вокруг одна вода. Ни танцев, ни девушек. Только «Чапаев» и «Бриллиантовая рука». Мне самой иногда так грустно, что, кажется, вот-вот завою, как волчица. Каждый вечер считаю дни, когда мы, наконец, переедем на Большую землю. Осталось еще сорок пять дней. И все. А тебе много еще?

— Почти четыре месяца…

— Ничего, пролетят. Мы здесь уже пять лет. Сначала казалось, что никогда не закончатся. Садись ближе к столу! Не стесняйся и никого не бойся. Тем более, что Гризюк вернется только через неделю. Раньше нет катера. Пусть отдохнет, а я — от него…

Стол был шикарный. На всем свете не было, пожалуй, лучшего: потрескивали на горячей сковородке шкварки, накрытые желто-белыми яйцами, в трехлитровой банке, словно клюква, красным светом сверкала икра, на тарелке пластами лежал палтус. Соленые помидоры, огурцы, капуста, сыр. В центре возвышалась бутылка «Столичной».

Солдату всегда хочется есть, а тут еще такие лакомства, — и я ел, как говорится, от души. Выпили по рюмке, второй. Ольга начала расспрашивать меня о родителях, откуда родом, есть ли девушка. Обычные вопросы, которые мы время от времени задаем друг другу.

Лицо у нее порозовело, она еще похорошела. В черных, как смоль, глазах, появился лихой огонек. Она встряхнула головой, и волосы закрыли лицо, плечи.

— Ну как? Нравлюсь тебе? — кокетливо спросила, прижмурив правый глаз.

— Очень…

— Я это в кино заметила. Ты мне сразу бросился в глаза. Высокий, плечистый и волосы как лен… — она положила мне на тарелку шкварок, рыбы: — Ешь. Кто хорошо ест, тот хорошо и работает.

После третьей рюмки я осмелел и начал расспрашивать ее. Она была, как и Гризюк, с Украины. Окончила педучилище, но ни одного дня не работала. Вышла замуж за Гризюка и через неделю уже была на этом острове.

— Грустно мне. Скукотища. Но если подумать, что ждет там, на Большой земле, то тоже никакой радости. Денег мало. Ни нормальной одежды не купишь, ни обуви. Не говоря уже о машине или квартире. За туманом, за туманом ничего не видно… — затянула она высоким сочным голосом и вдруг резко оборвала песню. — Разбередил ты мне душу, Тарасик…

Неожиданно Ольга наклонилась ко мне и поцеловала в губы. Словно обожгла огнем, и я, как сумасшедший, опьянев от этого поцелуя, потянулся к ней, обхватил двумя руками. Но она оттолкнула меня. Да так, что я ударился затылком о стену.

— Извини. Все. Иди!.. Скажешь Кириллову, чтобы отпустил тебя завтра после обеда. У меня еще две розетки испорчены…

Всю ночь я не спал, лежал без мыслей, представлял, как после обеда иду к Ольге, стучу в дверь. Она на пороге улыбается мне. Потом целует. Сильно. Чувствую, как начинают гореть губы и становится горячим лицо. Не могу дождаться, когда наступит утро. Мне тесно в казарме, не хватает воздуха. Рядом храпят такие же солдаты, как я. Но им далеко до меня. Никого из них не целовала Ольга, самая красивая женщина на свете, и никого не приглашала после обеда к себе. Сейчас я

способен подпрыгнуть до неба, доплыть с острова до Большой земли. Пусть она меня только попросит! Какие у нее вкусные губы! От одного ее прикосновения, казалось, перевернулся мир. И я забыл обо всем и обо всех на свете. Вот она какая — любовь! Значит, я люблю ее! О Боже, а какой запах от волос, от рук!.. Глаза необыкновенные… Они зовут к себе, в них ласка и нежность…

Перед обедом меня остановил майор Кириллов. Ветер притих, солнце смотрело прямо вниз, заставляя жмуриться. Жмуриться и радоваться последним теплым дням перед наступлением осени. Командир роты стоял у казармы с непокрытой головой, курил, подставив широкую блестящую плешь под солнечные лучи.

— Будто в Сочи. Правда, Дубицкий?

— Не знаю, товарищ майор. Никогда там не был.

— Ну, ну… Когда-нибудь побываешь. Звонила Ольга Ивановна Гризюк. Благодарила за качественную работу. Просила, чтобы опять после обеда пришел. Еще у нее розетки испорчены, — майор прикрыл глаза от солнца. — Смотри, аккуратно, замыкание не сделай…

Кириллов усмехнулся, но глаза были хмурые, недовольные. Он бросил окурок в мусорку, сплюнул и пошел в канцелярию. Уже на крыльце, не поворачивая головы, буркнул:

— Смотри аккуратно…

В столовой я съел только рыбу и выпил компот. А остальное не лезло в горло. Ноги, не подвластные разуму, несли меня к офицерским домикам. Я обошел их несколько раз, осмотрелся. На улице никого не было видно. Чей-то мальчуган на велосипеде пролетел мимо по дороге в сторону второй особой роты. За перегородками возились куры. Изредка драл горло петух майора Кириллова. Один на всех офицерских кур.

Я решительно взошел на крыльцо. Не успел постучать, как дверь отворилась. Через мгновение я стоял в темных сенях, и меня жадно целовали горячие губы. Я, казалось, тонул в ароматных густых волосах Ольги, пил сладкую кожу, чувствовал руками совершенство ее тела.

В казарму я вернулся, когда уже стемнело. Тихонько разделся и лег спать. Заснул, как только накрылся одеялом. И вскоре проснулся: все тело было пропитано Ольгой. Ею пахли руки, одежда и даже кровать. Я дышал этим воздухом, не мог без него жить. Оленька была нужна мне, как вода, солнце, небо.

Теперь, где бы я ни был, рядом незримо присутствовала она. А ночью, когда засыпала казарма, я, словно вор, залазил через окно в квартиру к ней, жене капитана Гризюка. Возвращался под утро перед побудкой. Я полз, будто зверь, по траве, по полу, взбирался по стене казармы, вспоминая всю науку, которую получил в специальных войсках под командованием майора Кириллова и благодаря которому очутился на этом острове.

Два дня оставалось до возвращения капитана Гризюка с Большой земли. Я ни о чем не думал, я был счастлив. Забыл о небе и земле, забыл, что служу на острове, что отсюда можно выбраться только на катере, либо, если бог даст, на самоходной барже. Я был счастлив…

Я проснулся от того, что она заплакала. За окном было темно, слышалось мощное дыхание моря. Я обнял ее, прижал к себе и тоже заплакал. Не знал, что меня ждет и что мне делать. Оленька… Оленька… Как ты могла выйти замуж за этого бородатого толстяка Гризюка?.. Ну и что, что он капитан? Может, придет время, когда я буду полковником либо генералом. Главное — я люблю тебя, Оленька. Для тебя готов сделать все, что пожелаешь… Готов на все…

— Вскоре приедет Гризюк, и закончится наша любовь. Напрасно я все это начала. Ничего хорошего у нас впереди нет. — Ольга тяжело вздохнула, поднялась с постели, закурила сигарету. Я и не знал, что она курит. — Месяц назад от мамы было письмо. Будто бы подходит очередь на кооперативную квартиру, а денег нет. Вот тебе и вся любовь. Ты — солдат, я — воспитательница детского сада, которая не работала ни дня. А если б и работала?.. Ты знаешь, Тарасик,

какие зарплаты у воспитательниц детского сада? Слезы… Так что нужно мне держаться моего Гризюка. Может, еще подполковника получит.

Она погасила сигарету о блюдце, склонилась надо мной, поцеловала. Я обхватил ее, прижал к себе. Не мог представить, что через два дня Ольга будет вместе с Гризюком. Он ее целует, обнимает… А я кто? Куда мне податься? Как мне дальше жить? А деньги… Деньги — не проблема. Есть у меня руки, ноги, голова. Заработаю. Лишь бы Ольга была со мной. Без нее я не смогу жить. Они поедут на Большую землю. Мне служить еще четыре месяца. Может, мне сбежать? Но как отсюда убежишь? Я верю, что она меня будет ждать. И мы будем вместе. Что такое четыре месяца? Ничто. Мы встретимся на Большой земле и будем жить вместе. Я ее очень люблю. А она меня? Тоже… Что нам еще нужно? Ничего. Все остальное я добуду сам.

В канцелярии у стола майора Кириллова стоит сейф полный денег. Ключ от него — в верхнем ящике стола. Я будто вживую увидел, как командир роты достает ключи, открывает сейф. Кстати, завтра я дежурный по роте. И, когда все спят, никто не помешает мне отомкнуть тот железный ящик. Я принесу деньги Оленьке, помогу ей, и она будет меня любить. Оставит Гризюка, чтобы быть только со мной. Мы поедем ко мне на родину. Я устроюсь электриком на завод или в колхоз. Ольга будет работать в детском саду. Мы построим дом. Большой, из красного кирпича, как у председателя колхоза. Посадим сад. Десять яблонь, четыре груши, вишни, сливы… Все будет хорошо, Оленька. И деньги тебе я найду…

Той ночью был сильный шторм. Шумело, грохотало море. Еще немного и, казалось, волны накроют казарму, прямо стонавшую под натиском ветра. И если бы не гора, возвышавшаяся поперек острова, была бы беда. Но солдаты, уставшие за день тяжелых военных трудов, спали. Отдыхал и дневальный — ефрейтор Марару, курносый молдаванин, мечтавший после армии пойти служить в милицию участковым в своей деревне. Я нагнулся над ним. Что-то, видно, ему снилось, потому что Марару улыбался, а из полуоткрытого рта текла слюна.

Минуту-другую я слушал дыхание большого количества людей. Потом вышел на крыльцо. Было темно, хоть глаз выколи: ни одного огонька. Беспрерывно стучал по освещенной мачте кусок железа. Офицерские домики пропали на чернильных просторах ночи, насыщенной густым холодным дождем.

Я взял из ящика ключи от канцелярии и, дрожа от страха, отомкнул дверь. Отступать уже не мог. То, что задумал, — выполню. Дневальному спать еще час. Никто не должен меня увидеть. Боже, помоги мне! Я это делаю не для себя, а для Оленьки, за которую, если понадобится, отдам жизнь. Эта мысль придала мне сил и уверенности. Шаг, второй, третий. За окном воет ветер, скулит, стонет, и, кажется, кто-то подглядывает за мной, следит за каждым шагом.

Я нашел ключи в ящике стола… Будто сомнамбула, брал из сейфа деньги, складывал их за пазуху, по карманам. Вытащил ключ из замка, вытер его о гимнастерку, чтобы не осталось отпечатков пальцев. В коридоре я постоял, прислушиваясь, настороженный, как зверь, готовый к неожиданностям.

И куда мне деть эти деньги? У меня еще полчаса. Все спят. К Оленьке бежать пять минут. К Оленьке, к Оленьке… Для нее обокрал я кассу, открыл сейф. Забрал все деньги. Сколько их? Все равно. Хватит Оленьке на квартиру и на будущее… Беги, беги, отдай ей. Быстрее, быстрее…

Не обращая внимания на дождь, шлепнувшись дважды на расползающейся глине, мокрый и грязный, я добрался до Ольги. Еще немного — и, наверное, выломал бы дверь, молотя сапогом. Она, наконец, открыла, перепуганная, с ружьем в руках.

— Ты?!. Сдурел?..

Я вошел в сени, вывалил на пол деньги, поцеловал Ольгу и бегом назад. Крикнул только, закрывая за собой дверь:

— Спрячь!

Прошла неделя. Все благоприятствовало мне. Майор Кириллов заболел гриппом, и пока вместо него ротой командовал капитан Гризюк, который вот уже два дня как на торпедном катере вернулся с Большой земли.

Катер стоял в бухте, и капитан-лейтенант Гарбузь, мой земляк с Могилевщины, пока не выходил из домика майора Кириллова. Они гуляли, потому что Изя Жердич из Одессы, окончивший перед армией три курса консерватории, со вчерашнего дня не ночевал в казарме вместе со своим баяном. И веселые песни плыли над островом.

Когда заснула рота, я выскользнул из казармы. Осторожно шел, держась тени, где видел необходимость — полз. Так, как нас учили в Центре подготовки младшего комсостава.

Я хотел увидеть Оленьку. Хоть на минутку. Да и поговорить с ней нужно, обсудить нашу жизнь. Я напишу письмо родителям, чтобы ждали нас с Оленькой, потому что сначала будем жить у них. А если вдруг родится ребенок? Мальчик или девочка. Девочка будет красавицей — такой, как Ольга. С длинными черными волосами. Мальчик будет похож на меня: светловолосый, высокий и сильный.

Что сделать, чтобы позвать Оленьку? Кого попросить? Я сидел полночи перед домом Гризюка в зарослях и ждал, надеясь на помощь небес, потому что ни один человек на острове не мог услышать голос моего сердца. Разве только Ольга…

Утратив всякую надежду увидеть любимую, я едва успел вернуться в казарму до подъема. На разводе уже был майор Кириллов. Я слабо слушал, о чем говорил командир роты. У меня дрожали руки и ноги от мысли, открывал ли Кириллов сейф. Наверное, еще не открывал. Иначе бы начался кавардак. Майор — эмоциональный мужчина, командный голос выработал, и если кричит, так слышно далеко от казармы. Но развод закончился спокойно, без криков, ругани.

У меня был очередной наряд на кухню, и я пошел со своими напарниками к столовке, от которой, словно на ладони, видны темно-свинцовые волны моря. Бухта с торпедным катером…

Бухта. Пустая бухта… Без катера, который уже возвращался на Большую землю. С Ольгой на борту. Об этом я узнал в конце дня. А через четыре месяца я тоже плыл на торпедном катере к Большой земле в качестве подследственного, признавшись в краже денег из гарнизонного сейфа… А Гризюка и Ольгу так и не нашли.

Деревенская любовь

Сад уже отцвел, и только молодая яблонька у погреба была еще вся белая и стояла, как большой букет, как подарок жениха невесте. Когда Екатерина выходила замуж, перед росписью в сельсовете Владик подарил ей букет белых цветов. Он очень походил на эту яблоньку, только был намного меньше ее. Екатерина с умилением осмотрела свой двор, околицу. Что-то щемило, волновало душу…

В гнезде, на хлеву, стоял на одной ноге аист, как сторож, оглядывал округу, изредка оглашая ее клекотом. «Прилетел, хороший мой Савка, прилетел!» — усмехнулась про себя Екатерина. Что-то припоздал в этом году Савка. У соседа Балабаса давно на хате такой же наблюдатель стоит. А Савка припоздал… С чего бы это? Может, дачу себе лучшую нашел?.. И все же прилетел. Вон аистиха подлетает, скоро засвистят над усадьбой и аистята. А Савкой аиста она назвала, потому что клюв у него чем-то был похож на нос ее родного дядьки, который живет возле монастыря, на Кляштаре.

Как чудесно жить, радоваться красоте, которую дал человеку Бог. Екатерина и сама тоже постаралась: огородик полон цветов, и со стороны улицы у хаты они буйно растут, и разных сортов.

Дети были в школе, Владик на работе, и у нее получился настоящий выходной. На мясокомбинате, где работала лаборанткой, объявили какой-то профилактический ремонт.

Она с утра прибрала в хате, приготовила обед. На первое — кислые щи с грибами и овсяный суп с молоком (Владик любит заесть им обед), на второе — мачанку, на третье — клюквенный кисель. Сама сейчас тоже что-нибудь бы съела, но и так ведь лишние килограммы набрала, платье уже рвется.

Чем заняться? На огород — рано: все посажено, посеяно. Можно было бы что-нибудь пошить. Пять метров черного с блеском вельвета купила когда-то себе на юбку, детям на штанишки. Только ни она, ни малые — не голые. Успеется. Слава богу, хватает дома добра.

Вспомнила: мало хлеба, да и масла подсолнечного осталось на донышке. Крупы нужно купить, сахару, да еще что, может, на глаза попадется.

Надела новое, цвета морской волны, платье, которое перед Новым годом раздобыла в Минске, на рынке в Ждановичах. Наверх набросила легкую кофточку. Глянула на себя в зеркало. Кажется, и очень даже ничего женщина. Не маленькая и не крупная. Волосы каштановые, жесткие, словно конские, волной ниспадают на плечи. Если бы чуть покороче нос, так вообще, хоть в телевизор.

Не каждая артистка сравнится. Глаза — с огоньком, губы — полные. Шея — длинная и белая. Ни разу еще кремом не мазала, все от отца и матери. Мама говорила как-то: «Парни табуном за мной бегали. Смотри, Катюша, ты лицом и меня превзошла. Я наломала когда-то дров — ты остерегайся».

А у кого из женщин в деревне грудь лучше? Двоих родила, а как у двадцатилетней. А фигура? Немного, правда, бедра широковаты. А так... Эх, Владик, Владик, не ценишь ты свою жену, не ценишь. Придет с работы, воняет мазутом, табаком, водкой. Поел, помылся или не помылся и — храпака. Василий Последний на маевке прицепился: Мордюкова, Мордюкова. Какая я тебе Мордюкова? Она умерла уже! А я молодая, и жить мне да жить. Интересно: какая я буду в старости? Такая, как Мордюкова, или как Дуня горбатая?

Екатерина повернулась направо, налево, вновь осмотрела себя, потянула вниз платье на бедрах и, довольная собой, вышла из дома. Ей вдруг стало грустно на душе, хотелось чего-то нового, волнующего. Все вокруг было обычное: лес за дорогой темный, почти черный, озеро, знакомое с раннего детства… И хата, кажется, хуже, чем у Ковальца или Алеся Зеленого. А отец?.. До сих пор не научился жить, как люди живут. Работают с Талахуном сторожами на складе, где хранится спирт. Талахун забыл, когда водку покупал, а отец хоть бы бутылку принес. «Это не в моих правилах». А как нальешь сто граммов, с удовольствием шахнет. Принципиальный… Зачем выдавал тогда за Владика? Будто не видел, что звезд с неба не хватает. Вот так тебе и надо, Екатеринка!

Когда-то ухаживал за Екатериной летчик Сергей. Капитан. Веселый. Все анекдоты рассказывал и пел, пел: «Екатеринка, Екатеринка, очень вкусная ляндрынка. Полюби меня теперь, а я после, я в четверг!»

Мать прицепилась: «Зачем тебе этот летчик-налетчик? Куда-нибудь пошлют — и бросит тебя. Либо разобьется на своем бомбовозе…» Как в воду смотрела. За неделю до помолвки вместе со своим самолетом просто слетел в озеро. На похороны Екатерина не ходила — мать не пустила. Назавтра зашел к ним в дом Антон, друг Сергея, тоже капитан. Влепил Екатерине пощечину и ушел. Она долго плакала, прямо истерика была. Фельдшерицу из больницы вызывали.

Поправилась — и через месяц вышла за Владика. Сначала цеплялся, попрекал летчиком. Однажды пришел выпивший и снова начал гавкать, как пес. Екатерина за шкирку выкинула за порог и подзатыльников надавала. Переночевал в хлеву, а утром приполз. Плакал, целовал колени. Куда же теперь от него деться?.. Николке — семь годков, и Зойке — десять…

От озера, поднимая облака серо-желтой пыли и подскакивая на выбоинах, к их улице вдоль поля летел грузовичок. Дождя давно не было. И пыль узким хвостом от ветра затягивало на улицу. Вот-вот наплывет на хату… Не хватало, чтобы новое платье, которое еще ни один человек в деревне не видел, заляпало грязью.

Екатерина проворно вернулась назад к себе во двор. Дурак! Ехал бы по шоссейке. Несет его черт! А если бы белье во дворе сохло?..

Автомобиль неожиданно затормозил напротив их ворот. И сразу пыль, тянувшаяся за ним, хлынула во двор. Екатерина едва успела вскочить в хату. Аж аист-караульщик заклекотал от наглости того, кто остановился возле усадьбы.

— Э-ге-гей, хозяйка! Где спряталась? Дай несчастному шоферу воды попить…

Екатерина глянула через окошко на веранде. На крыльце стоял и посвистывал в рыжие усы Стас Мазур. Лицо не понять то ли испачканное, то ли загоревшее. Только очки на носу блестят. Работал Стас вместе с Владиком. Только он шофером, а муж трактористом. На маевке с ним раза два потанцевала. Хорошо, что все были в подпитии. Прижал к себе и поцеловал. И раз, и другой. Может, и отбивалась бы, но люди кругом. Был еще не женат. Слышала, будто очень падок на замужних. Хотя внешне никогда не скажешь, что сильно прыток по этому делу. Рыжеватый, спереди редкие зубы. Не зря говорят женщины: не верь редкозубому — обманет. Только будто никто из мужчин в деревне не смог победить его в борьбе на руках.

Екатерина вышла из сеней и, как ей показалось, очень строго прикрикнула:

— Что же ты делаешь, паразит? А если б у меня белье висело? Что тогда?..

— Что тогда? — переспросил Мазур, снял очки, вытер их носовым платком, больше похожим на тряпку.

«Дожно быть, ею же и машину вытирает», — подумала Екатерина.

— Что тогда, говоришь?..

Как стоял, так и прислонился своей грязной одежкой к Екатерине, к ее новому, цвета морской волны, платью. Крепко обхватил ее за голову и начал жадно целовать, пачкая чумазым лицом шею, губы, волосы. Со всей силой упираясь руками ему в грудь, Екатерина только смогла прошептать:

— Люди ж, люди…

— Какие люди, где ты их видела?

— Пусти. Сейчас Владик на обед придет.

— Какой обед? Он поехал под Ружаны за лесом.

— Так ты приехал попить воды или сообщить, куда Владик поехал?

— И то, и другое…

Она не успела и оглянуться, как Мазур, полегоньку нажимая, затолкал ее в сени. Еще минута, и они были уже в хате. Тут он ее отпустил. Сел в кресло, которое Екатерина неделю назад вычищала с порошком, два дня сушила, перетаскивая из хаты во двор и со двора в хату.

Она подала ему воду в железном ковше, не упустив случая сказать:

— Ну, ты и свинья. Не мог сесть на скамейку. Влез в своем комбинезоне в кресло. И дома так делаешь?

— Нет, дома так не делаю. На кружку…

Екатерина подошла к нему забрать посуду. Он схватил ее за руку, потянул к себе.

— Да что ж такое? Девок тебе мало вокруг?

— Они не такие вкусные…

Мазур опять начал ее целовать и повел, повел по комнате, будто танцуя. Она почувствовала, какие у него сильные руки. И пахнет здоровым мужским потом. Запах бензина и мазута даже приятен.

— Как поцеловал на маевку — до сих пор не могу забыть. Еще хочется…

— Сильно?..

— Сильно…

Екатерина забыла о существовании Владика, детей. Забыла, куда собиралась и обо всем на свете. Ей сейчас были нужны только руки Мазура, губы, сильное, напряженное, словно струна, тело. Через несколько минут она сама целовала его, ласкалась, словно кошка в марте, чуть не мурлыкала от счастья, от праздни-

ка, который подарил Мазур. А он лежал довольный, раскинувшись на кровати, пыхая сигаретой. Умиление Екатерины он принимал как должное.

— Ты что, куришь? — наконец очнулась, пришла в себя Екатерина.

— А что, нельзя?

— Владик же не курит. Унюхает и сразу поймет, что мужчина был.

— Ты скажи, будто сама куришь.

— Я не курю, он же знает. Дурак он что ли?

— А ты возьми и закури…

— Нет! Ты чего?

— А что? Отведай.

— Ну, ты, дьявол-искуситель, — Екатерина взяла сигарету, закурила.

Сначала показалось горько, потом — и ничего. Подумалось: этак раз-другой, да по-настоящему закуришь. А на душе было легко-легко. Хотелось петь, танцевать. И захотелось вновь в объятия к Мазуру. Однако он вскочил с кровати, быстренько оделся, поцеловал ее.

— Извини, нужно ехать в поле, а то поиски начнутся. Скоро увидимся.

— Буду ждать, — не выпускала из своих объятий Екатерина. И шутливо добавила: — Не пущу, не пущу…

Он легонько оттолкнул ее и выбежал из хаты. Она обессиленно присела на кресло, на котором сидел Мазур, и словно почувствовала его тепло, дыхание, запах. Какой уж тут магазин… Может, после обеда схожу. Еда есть. Голодны не будут.

Хлопнули двери. Вошел Владик, как всегда без настроения, унылый. Небритый, сгорбленный, все равно будто отца или мать похоронил. Лицо грязное, как и у Мазура, но сегодня почему-то особенно неприятное. Пот течет по лысине, носом шмыгает. Что такое случилось?

— Зачем Мазур заезжал? — сразу с порога.

— Откуда знаешь?

— Еще от Подвербья увидел: стояла у хаты его машина. Что ему надо было?

— Хотел меня поцеловать.

— Чего? — сжав кулак, шагнул к жене.

— Ну-ну!.. Забыл мои уроки — так напомню. Шуток если не понимаешь, так не дури мне голову.

С этого времени Мазур и Екатерина начали встречаться почти ежедневно. В городе, придет пора, тайное становится явным, а в деревне тем более. Звон летит стремительно. Даже не успеешь придумать, что говорить в оправдание.

…Екатерина накрывала на стол. У сына завтра день рождения. Жарила, варила. Детей должно было прийти человек двенадцать. Еще взрослых шестеро. Получаются хорошие такие гости.

Только сварила студень, разлила по тарелкам и вынесла в чулан, как в хату влетел, как сумасшедший, Владик. Кричит: «Курва, паскуда, сволочь! Убью, зарежу тебя и твоего огера». Любовника, значит. Кулаками размахивает, прыгает, пена изо рта прет. Дурак, чистой воды дурак. Екатерина плюнула ему в лицо и как-то спокойно, без всякого волнения, начала собирать одежду в огромную сумку, с которой в девяностых годах ездила в Польшу. Потом позвонила Мазуру. Он давно предлагал переехать к нему. В доме одна старенькая мать, мешать им не будет. А как дети? Нет, детей не нужно. Своих сделают. Долго не соглашалась на такое Екатерина, а теперь согласилась. Одно желание было: уехать как можно быстрее. Опротивело жить с нелюбимым, неинтересным человеком, который думает только о комбикорме, свиньях, корове. И о том, как бы в хлеву, тайком от жены, вылакать бутылку вина.

На дне рождения еще побыла дома. Выпила рюмку с гостями, попела, даже отпрыгала «Лявониху».

Назавтра с чистой душой Екатерина уехала с Мазуром. Новая свекровь мало говорила, больше молчала. Только на печи, перед тем как заснуть, каждый день что-то бубнила. Однажды Екатерина услышала: молодой парень, чужую жену привел. Девок — полмира, а он вторую мамку себе нашел.

Детей Екатерина навещала часто, но старалась, чтобы Владика дома не было. Не то чтобы боялась его — просто неловко себя чувствовала.

С Мазуром каждая ночь была горячей, сладкой. Утром не хотелось вставать с постели.

Так они прожили полгода. Сначала в деревне стоял гул. Все забыли о Чечне, Америке, Афганистане, перестали проклинать местную власть. Одни разговоры были — про новую молодую семью.

Однажды Екатерина собралась стирать белье. Бросала вещи в машину. На рубашке Мазура увидела два крупных пятна от помады. Чужой помады, потому что сама такой не пользовалась. Вечером она бранилась, отказывалась подавать Мазуру еду. Потом удивлялась себе: как она так могла. Он долго молчал, слушал, все только протирал очки. Это был верный признак его возбуждения. Однако Екатерина никак не могла успокоиться и все кричала, оскорбляя его.

Мазур молча, не спеша, собрал по дому ее вещи, запихал в сумку и вынес во двор. Потом взял Екатерину за руку. Как была в халате и тапочках, вывел за порог и закрыл за ней дверь.

Ночь она просидела, дрожа от холода, в саду. Утром попросила соседа подвезти ее.

Екатерина зашла в свою хату и едва не потеряла сознание. На скамье у печи сидели Владик и дети. Она упала на колени перед ними и заплакала. Слезы текли — и сразу исчезали: их вытирали руки самых дорогих для нее людей. Теперь она это поняла.

Дни текли, как вода в реке. В хлопотах, заботах. Уже будто и забыли в деревне об их романе с Мазуром, но все же так просто те полгода из сердца не выкинешь. Не раз просыпалась Екатерина от того, что плакала во сне, ссорилась с Мазуром, даже дралась. Хотя в реальности до этого не дошло. Бывало, услышав тяжелое дыхание грузовика, выходила во двор и смотрела: а вдруг он?

К Владику, казалось, вернулись светлые красивые дни после свадьбы. Такой он стал обходительный, ласковый. Зубы начал чистить. Как побреется, одеколоном лицо обрызгает. Ездил в райцентр и оттуда большущий букет привез. Сдурел мужик: во дворе своих хватает. Ничего не возразила, поблагодарила. Даже поцеловала. Так он до двенадцати ночи дрова колол. Соседка Козлиха Маня заходила, спрашивала: «Что это он у тебя все стукает? Спать не дает».

…В их смене на мясокомбинате был очередной медосмотр. Ее проверили, и по тому, как переглянулись врач с медсестрой, Екатерина поняла, что это неслучайно. Она и сама уже с месяц чувствовала себя плохо. Ее постоянно качало, будто пьяную, болел правый бок. К врачу не обращалась. Вообще считала себя абсолютно здоровой. Бабушка прожила девяносто пять лет. В девяносто танцевала на свадьбе внучки. Чем Екатерина хуже? Как говорится, по породе куры хохлатые.

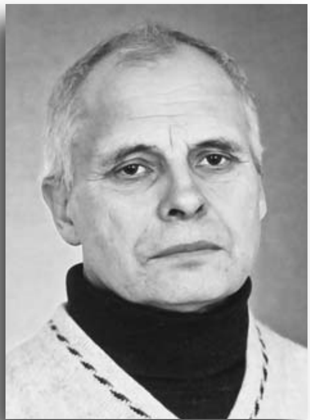
Диагноз был страшен — рак последней стадии. Свои последние дни она лежала и только плакала, молила Владика убить ее, отравить. Так ей было больно.

За несколько дней до смерти Екатерина попросила, чтобы Владик позвал Мазура. Тот подошел к кровати, бледный, с дрожащим подбородком. На нее не смотрел, молчал. Наконец вымолвил:

— Прости…

— Спасибо… — прошептала Екатерина тихо, но все, кто стоял близко, тоже услышали…

Перевод с белорусского
Никиты СУПРУНЧУКА.



МАРЬЯН ДУКСА

Чудесный храм живого слова

* * *

А мир измельчал, и оглох, и ослеп,
и зло, как и раньше, нам в жизни мешает.
И в поте лица добываем мы хлеб.
Но это еще ничего не решает.
Ведь жизнь — как огромный людской стадион,
где каждый, как может, свой бег завершает,
и все же на лавры надеется он…
Но это еще ничего не решает.
По жизни бредем, никуда не спеша.
Мельчает душа, ее быт заглушает.
Посмотришь — такая пустая душа.
Но это еще ничего не решает.
Тернист и неровен у каждого путь.
Искусы обходим, страданья вкушаем.
Так хочется в пропасть на миг заглянуть,
хоть это уже ничего не решает.

* * *

Есть в мире безнадежность и уют,
И полный штиль, и ураганный ветер.
Кого-то гладят, а кого-то бьют.
Там дождь идет, тут ярко солнце светит.
Тот бодрый, а другой — едва живой.
А рядом с правдою лохмотья слухов.
Дыханье розы, дым пороховой
и сила воли среди нищих духом.
И чей-нибудь триумф средь неудач.
Кто сам идет, а кто — под принужденьем.
И звонкий смех, и неутешный плач
душа вбирает с самого рожденья.
И что же это: благо или зло,
Иль в этом смысл предначертаний Божьих?
О, человек, тебе так тяжело
существовать меж истинным и ложным.

* * *

Вдруг ощутишь печаль и горечь остро,
себя представишь шхуной среди льдин
иль моряком, заброшенным на остров.
Осмотришься. Ты там совсем один.
Ну, а вокруг бураны, штормы, льдины.
И никого на триста верст вокруг.
Какой ты все же дикий, нелюдимый,
с надуманными комплексами, дух!
Свою необъяснимую унылость
внезапной радостью ополосни.
Тебе судьбой дарованная милость —
избавиться от тщетной суеты.
Жужжит столичных улиц эйфория…
Печаль напрасно ранит, как копье.
Твой дух — он в центре. На периферии —
всего лишь отражение твое.

* * *

Чудесный храм живого слова
Во сне увидев, напиши…
Ведь этот храм — первооснова
твоей измученной души.
Он неподвластен настроенью,
в нем — чистый кладезь доброты.
Он — величайшее строенье,
где архитектор — только ты.
Там моет теплый дождик листья,
и тут же солнце светит им.
Там можно плакать и молиться,
но лишь по правилам своим.
Чудесный храм — как избавленье?
Он, что тобой одним рожден, —
То ль для всеобщего моленья,
То ли твоя обитель он?

* * *

Пусть наши судьбы по реке плывут,
пусть их закружит временем бурливым.
Пока твои родители живут,
не сомневайся в том, что ты счастливый.
Пока у алтаря свеча горит,
что ты зажег, молясь за их здоровье,
твоя душа до неба воспарит,
она легка их искренней любовью.
Она полна и песней, и весной,
ее не студит серый день морозный.
Пока разлад душевный — показной,

твои печали — просто не серьезны.
Не выдуть сквознякам души уют.
Пусть прочь уходит сумрак молчаливый.
Пока твои родители живут,
не сомневайся в том, что ты счастливый.

* * *

Где будет похвала, где смертный грех,
откуда ждут нас новые угрозы?
Почем у Бога нынче звонкий смех,
на счет какой потянут наши слезы?
И где богатый самый наш багаж —
жизнь в тишине иль жизнь во все тяжкие?
Ведет к удаче бойкий норов наш
иль тот же путь сквозь горести людские?
Какая ты, небесная шкала,
и что решит заоблачная такса —
когда душа веселою была
иль неутешным нытиком и плаксой?

* * *

В лесу неповторимая краса.
Тут отдыхаешь и душой, и телом.
Как бы не так. Мобильника оса
уже над ухом злобно зазвенела.
И так она поговорит с тобой,
что даже соловьи совсем не в радость,
и ты стремглав бежишь, как будто в бой,
в тот мир, где ждут засады, баррикады,
где ропот одержимости людской,
где вечный бой бурлит не виртуально.
Украли неожиданный покой
у нас, наивных, просто гениально.

* * *

Что ж, молний блеск ушел в преданье.
Напоминает листопад,
что есть расцвет и увяданье,
и быстрый рост, и резкий спад.
Вот-вот зима тепло отменит
и радость выстудит. В ответ
я выскажу такое мненье:
градации в природе нет.
Есть созиданье и старенье,
цветет и опадает сад.
Но это только повторенье
того, что было год назад.
Чего он, мир чудесный, стоит,

коль породил во мне печаль.
Одна душа живая стонет,
да так, что в пору закричать.
Она никак не хочет сдаться,
хоть даже ей невмоготу.
Ей очень хочется подняться
из тьмы забвенья в высоту.

* * *

Удачный текст и музыка крутая,
хоть этого никто не замечает.
Два автора. Но их как будто нет.
Не их купает рампы яркий свет.
Их нет. Их имена хранят кулисы,
оставив эту песню для актрисы,
красивой, длинноногой, заводной,
что каждый миг любуется собой.
Ее глаза и манят, и пленяют,
а блеск улыбки просто опьяняет.
И гибок стан, и… впрочем, все при ней.
Как телу гимн — приманка для парней.
Оваций гром певицу провожает,
хоть текст чужой, и музыка чужая.
Два автора. И все же в этот миг
оваций буря, словно мед для них…

* * *

Как выполнить заветы,
чтоб верилось всему?
Разносятся по ветру
«зачем» и «почему».
Ты правды всей искатель,
ты сбился просто с ног.
Твой крестный путь, приятель,
сквозь целый свет пролег.
Как выполнить заветы,
чтоб воевать со злом?
Завязаны ответы
одним морским узлом.

Перевод с белорусского
Геннадия АВЛАСЕНКО.



АЛЕКСАНДР БРИТ

Два рассказа

Hotel California

Ее было трудно не заметить: она обжигала глаз — настолько была хороша. Стриженая блондинка в белом пиджаке. Лет 37—38, но этот возраст не снизил ни женского обаяния, ни пластики.

Она стояла у одной из мраморных колонн, слегка на отлете держала бокал с вином и разговаривала, по всей видимости, с коллегой. Время от времени легкая солнечная улыбка вспыхивала на ее лице и как будто изнутри наполняла глаза искристым притягательным светом.

«Красивая женщина», — бесстрастно отметил Ванькович и подошел к сервированному столу.

Фуршет был в самом разгаре. Публика толпилась, разговаривала, пила и закусывала. Вязкий человеческий гул заливал огромный холл «Дворца Республики» по периметру, до самых квадратных сводов.

Из дальнего правого крыла вдоль столов продвигался подтянутый, с редкой проседью пресс-секретарь банка, подходил к избранным и уделял протокольное внимание. Он делал это довольно ловко, профессионально и уже спустя несколько минут подошел к Ваньковичу.

— Сережа! Рад тебя видеть! Десять лет! Десять лет банку! Время бежит — не верится! Ты же был на пятилетии? Был, да?

— Да-да, — сказал Ванькович. — Был. Камерная обстановка… белый рояль… Хорошее было время.

Пресс-секретарь лукаво улыбнулся.

— Другое время, Сережа. Не хорошее, не плохое — другое…

— Не спорю, — согласился Ванькович. — Безвозвратно другое.

Они понимали друг друга с полуслова. За пять лет действительно многое изменилось. Белый рояль из банковского кафе убрали. Хозяин банка уехал за границу через третью страну. Банк переименовали. Бутерброды с красной икрой заменили на тарталетки с салатами. Юбилей по инерции еще праздновали, но с другими флагами, с поредевшей королевской ратью.

Впрочем, в любые времена банкиры умели накрыть стол. Выдержанный армянский коньяк, французское и венгерское вино, водка, гамма холодных закусок, фаршированная щука, горячее — все как положено.

Ванькович попытался было вернуться к своему месту у стола, но сделать это оказалось непросто — пока он говорил с пресс-секретарем, ряды шведского стола плотно сомкнулись. Пришлось потолкаться, извиниться, взять новую тарелку и найти другое место.

Публика окружала Ваньковича пестрая: здесь были и дипломаты, и журналисты, и чиновники, и бизнесмены, и кого тут только не было! Ванькович переложил себе с большого блюда два кусочка ветчины, с розетки — несколько оливок, ломтик лимона. Вино стояло рядом, но вина не хотелось. Хотелось граммов пять-

десят коньяка: выпить, ощутить аромат и только после закусывать. Но бутылка коньяка ушла далеко — почти на другой край стола. Просить, чтобы передали, было не совсем удобно: кругом толкались и шумели, и Ванькович потянулся к бутылке вина.

— А, может быть, коньяк? — спросил кто-то левее, мягким приятным голосом. Ванькович даже не сразу понял, что обращаются именно к нему.

— Хотите? Я подам.

Она улыбалась, чуть-чуть щурясь, эта самая стриженая блондинка в белом пиджаке. Улыбка… улыбка ее была ослепительной. И хотя черты лица в классическом понимании были не совсем правильными, но обаяние, шарм, порода и особенно вот эта улыбка, которая словно выплескивалась из ее зеленых глаз, делали лицо живым и милым.

Он принял из ее рук бутылку и предложил налить, но она отказалась.

— Нет-нет, спасибо. Я — только вино.

— А меня потянуло на коньяк…

Она безразлично пожала плечами.

— Меня зовут Полина Александровна. А вас?

— Мы с вами тезки…

— Неужели вы Поль? — сострила она. — Какая неожиданность.

— Нет, мы с вами тезки по отчеству — Сергей Александрович.

Из толпы тяжело, как крупная моль, выпорхнула ее коллега — гренадерша в добротных импортных сапогах, за руку оттянула Полину в сторону. Ванькович разобрал отрывок фразы: «этот папик все время дергает…».

Он налил еще коньяка и краем глаза увидел, что они стоят немного поодаль, о чем-то увлеченно говорят.

Призывно ударила музыка, и толпа, как стадо к водопою, потянулась к месту, отведенному под танцпол. Через несколько минут женщины тоже направились туда, и, проходя мимо, Полина как бы в шутку бросила:

— А знаете что? Пойдемте танцевать. Ну, что вы стоите?

— С удовольствием, — согласился он, и чья-то фраза, озвученная незнакомым мужским голосом, догнала его, когда он сквозь толпу пробирался к танцполу:

— С удовольствием — дороже обойдется…

Примерно так оно и получилось: гренадерша в сапогах с ходу захватила инициативу и пригласила Ваньковича, а Полину увел танцевать кто-то из публики. Во время танца Ванькович узнал, что обе женщины работали в одном банке, в одном отделе, образно говоря, в одной упряжке: Полина, судя по деталям, начальником, Раиса — ее замом.

После трех минут медленного танца, совмещенного с попыткой очаровать Ваньковича, Раиса опять схватила за руку свою начальницу и куда-то утащила.

Один за другим хлынули быстрые танцы, барабаны застучали по басам, цветомузыка побежала по пятам мелодий, разноцветные огни хаотично выхватывали из толпы движения рук, фрагменты лиц.

Ванькович с трудом выбрался из бушующей толпы и вдоль накрытых столов, уже напоминавших поле боя после бомбежки, пошел к выходу. В туалете он закурил и провел несколько минут со своим двойником, который прохаживался в больших зеркалах, приостанавливался, затягивался и, выпуская дым, о чем-то раздумывал. Не спеша, двойник докурил сигарету, затушил ее, бросил в урну, и Ванькович вернулся в холл.

Ее нигде не было. Точнее сказать, нельзя было отыскать ее лицо в море человеческих лиц, брошенных рок-н-роллом в пучину изломанных движений, темноты и вспышек огней.

Ванькович осмотрелся. Глаза, понемногу привыкавшие к темноте, разглядели несколько «белых пиджаков». Это все были или мужчины, или незнакомки. Причем, как ни странно, ему показалось, что именно «белые пиджаки» отламывали рок-н-ролл по полной, с размахом. Ванькович повернулся и вдруг увидел, как она выскользнула из толпы чуть левее от него. Он шагнул к ней навстречу.

— Я все время нахожу вас левее от себя, — сказал он. — Пойдемте танцевать.

— А я все-таки не зря вернулась, — улыбнулась она.

Он взял ее за руку и пробрался на свободный участок танцпола.

Рок-н-ролл разгорался, как огонь на порывистом ветру. Абсолютно пренебрегая этим, Ванькович объединил свою ладонь с ее узкой теплой ладонью, правой рукой обнял за талию и повел медленно, делая шаг вперед, в сторону, назад и снова назад.

— Никогда не танцевала рок-н-ролл в таком стиле! — из-за шума почти прокричала она ему в ухо.

— Ничего! Сейчас будет медленный! — ответил он и угадал: за рок-н-роллом полилась знаменитая «Hotel California». В перебор гитарного соло тихо закрался предупреждающий треск гремучей змеи. «Длинный хит, минут семь», — подумал Ванькович и сказал:

— У вас любопытная коллега! Индивидуалистка!

— Вы тоже заметили?!

— Да! Мне кажется, ваша Рая пытается бежать впереди электрички!

Она рассмеялась.

— Есть такое!

— Простите, я подслушал: а что это за папик?

— О-о-о, — протянула она. — А вы не тайный агент?

— Не совсем! Я специалист по связям с общественностью!

— А что это такое?

— Ну, это такой специалист-памперс, который всех должен свести для передачи информации: журналистов с чиновниками, допустим. Или производителей с журналистами. Много вариантов!

— И остаться сухим?

— А вы угадываете, — рассмеялся он. — Что-то вроде этого. У всех свои претензии. Но всех желательно объединить. По коммуникативной линии!

— У вас очень опасная работа! Слишком много потенциальных рисков и угроз. Как в банке.

— Да, — согласился он. — Вы правы! Я так понимаю, что вы и сами из банковской обоймы?

— А если я вам скажу, что я начальник отдела банка, вы поверите?

— Не раздумывая, — иронично улыбнулся он. — Во-первых, такая красивая женщина, я уверен, не может лгать… А во-вторых… во-вторых, мне об этом уже успела намекнуть ваша коллега…

— Раиса? Нет, ну это просто свой игрок в чужой команде! — притворно возмутилась она. — Как хорошо я понимаю папика!

— Опять папик!

— Открою вам тайну: это ее муж! — пояснила она. — Ждет ее у выхода! Ему — за шестьдесят, и он хочет домашнего ужина и тишины! Ей — около сорока, и она с удовольствием закрутила бы с вами роман!

— Высокие отношения!

— Угадали! Очень, очень высокие! — Она рассмеялась и, мягко высвободив свою руку, сократила дистанцию — вкрадчиво обняла его за шею.

Он сразу почувствовал ее горячее тело, упругое, слегка полноватое в талии. Тонкий аромат удачно подобранных духов медленно вливался в его ноздри, завоевывал, опьянял. Словно усталый путник на темном пустынном шоссе, он увидел огни загадочной гостиницы и силуэт незнакомки. «Это место может оказаться раем или адом», — усмехнулся Ванькович.

— Все мы пленники своих страстей, — сказала она негромко, прежде чем возникла секундная пауза почти в конце песни, до длинного проигрыша.

— Что? — переспросил он.

Она ничего не ответила, опустила подбородок ему на плечо. Из динамиков выливалось:

Welcome to the Hotel California
Such a lovely place
Such a lovely place
Such a lovely face…*

— Что? — переспросил он снова. Она прижалась к нему. Ее волосы касались его шеи, щеки, подбородка. Возникла секундная пауза.

— Давайте сбежим отсюда, — предложил он.

— Давайте попробуем, — улыбнулась она. — Я буду ждать у входа.

На улице Полина взяла его под руку, просто, как своего старого знакомого, и они медленно пошли по тротуару.

Был конец сентября, но уже подмораживало. Она смешно ежилась в своем легком приталенном пальтишке, говорила, смеялась, щурилась. В ее походке, жестах, голосе, казалось, не было ничего лишнего. Эта блондинка была трогательно красивой. Он неожиданно поймал себя на мысли, что не может отвести от нее глаз.

— Я любуюсь тобой, — признался он.

— Как мадонной Рафаэлевой? — улыбаясь, прищурилась она.

— Точно. Я любуюсь тобой, как мадонной Рафаэлевой.

— Давно?

— Не очень. Около часа.

— Это пройдет, — бархатно заверила она. — С мужчинами это часто случается…

— Не угадываешь. Все индивидуально.

— А какая я?

— Ты? — он немного подумал. — Боюсь обидеть тебя этим определением… но придется сказать: ты породистая… Это бросается в глаза.

— Да?

— Я не льщу — констатирую факт.

— Спасибо. Но скажу тебе по секрету: с этим не очень удобно жить. Слишком много зависти возникает. А это лишние проблемы.

— Да?

— Конечно…

— А если так, то что есть красота? — продекламировал он.

— Что?

— И почему ее обожествляют люди?

Она с любопытством на него посмотрела.

— Сосуд она, в котором пустота? Или огонь, мерцающий в сосуде?

— Да ты поэт!

— А может, философ?

— И философ тоже, — рассмеялась она. — Этого мне только не хватало!

Они прошли мимо Кафедрального собора, перешли мост через Немигу и пошли по проспекту вдоль каштанов, редкие желто-бурые листья которых мягко подсвечивали фонари. Потом по узкому мостику перебрались через Свислочь, поднялись к церкви Марии Магдалины, пересекли улицу в районе снесенного птичьего рынка. Возле одного из многоэтажных домов она протянула ему визитку:

— Если будет необходимость, звоните. Спасибо за чудесный вечер.

Он разглядел ее визитку в такси и похолодел: на плотной пористой бумаге, выхваченные светом ночных фонарей, проблеснули синие буквы:

начальник отдела факторинга

---

* Добро пожаловать в отель «Калифорния»
Такое прекрасное место
Такое прекрасное место
Такое прелестное лицо (англ.).

У него даже вспотели ладони от неожиданности. Лучше бы она была начальником какого-нибудь другого отдела, а еще лучше — вообще женщиной без должности. Факторинг все менял! Факторинг все путал! Ванькович охотился за факторингом. Давно охотился. И тут такая удача, и такая досада! Случайно, неожиданно, молниеносно его очаровала эта женщина, эта блондинка, эта бестия с зелеными глазами! И она же оказалась начальником отдела, который специалисты называют «банком внутри банка»… Двойная зависимость, стремительно возникшая у него и от женщины, и от конфиденциальной информации, которой она, безусловно, владела, его возбуждала, настораживала и влекла. «Беда, — подумал Ванькович. — Что делать? Беда… Нельзя привязываться! Нельзя прилипать к ней сердцем!»

Только за два последних года конкуренция на рынке факторинга обострилась и выросла в несколько раз. Оборот рынка факторинговых услуг уже давно шел на миллиарды. Контакты в банковской сфере у Ваньковича были наработаны. Аналитика оплачивалась хорошо. Информация — несоизмеримо хорошо.

Он рассчитался с таксистом, поднялся в лифте на свой этаж и открыл дверь квартиры. Его встретила темнота коридора: Песня спала.

Ванькович постарался бесшумно снять куртку, туфли, надел тапочки, прошел в ванную, вымыл лицо и руки, почистил зубы. На мгновение двойник из зеркала взглянул на него устало, но глаза его лихорадочно блестели, как у старателя, наткнувшегося на золотую жилу. «Беда, беда! — подумал Ванькович. — Нет, я на это кино не куплюсь…»

Он прошел в комнату, разделся и, приподняв простыню, осторожно лег рядом с Песней. Она повернулась к нему грудью, поцеловала в плечо, прижалась. Ее маленькие теплые соски коснулись его спины.

— Я так ждала тебя, — сонно пробормотала она. — Так соскучилась… Где же ты ходишь?

Он взял ее руку в свою, поцеловал в тыльную сторону ладони.

— Спи, колыбельная, спи. С этими деловыми встречами… одни проблемы…

Ванькович закрыл глаза, минутой позже его веки восприняли внешний свет, и он понял, что спальню на мгновенье осветили фары проезжавшей по кольцу двора машины.

«Песня, — подумал он. — Песня… Как-то она сказала… Про любовь… Да… В любви, сказала она, в итоге главное — не страсть, а нежность и преданность. Что-то в этом роде…» Он ей тогда бросил: «Ты рассуждаешь, как старуха!» Она виновато улыбнулась: «Старики, как правило, мудрые…»

Ванькович снова поцеловал ее. Песня всегда несла ему такую безграничную преданность, тепло, нежность, доверие, что ему стало не по себе.

— Спи, колыбельная. Завтра — рано вставать. Новый день…

— Уже сегодня, — шепотом медленно поправила Песня.

— Да, — согласился он. — Уже сегодня…

В груди, ближе к сердцу, медленно разливалось сладкое тепло, словно в трехлитровую банку под самый верх заливали только что выкачанный из ульев густой мед.

В его памяти вспыхивали разгромленные сервированные столы, курящий сигарету двойник в зеркале, огни цветомузыки, изломанные движения рук, спин, ног. Он высматривал в этом бушующем рок-н-ролле белый пиджак, стриженую блондинку с искристыми зелеными глазами. Потом обнимал ее упругое, слегка полноватое в талии тело. Аромат ее духов дурманил его, окутывал туманной дымкой ночного шоссе. В перебор гитарного соло тихо закрадывался предупреждающий треск гремучей змеи, и будто бы уже не герой сингла «Hotel California», а он мчался по шоссе и видел огни загадочной гостиницы и нечеткий силуэт незнакомки. «Это место может оказаться раем или адом, — сквозь наступающую дрему вспомнил Ванькович. — Все мы пленники своих страстей…»

Сон окутывал его туманами, морил, уводил в иные миры, и он уже, будто наяву, видел, как в черных плащах, подбитых красным бархатом, летели по гро-

зовому небу несчастные всадники на гнедых поджарых конях с намертво привязанными к удилам руками… Эх-ххэ-хэ-хээ! Ух-ух-ух-ууу!!! Пленники, пленники, пленники своих страстей!

Он влюбился, как последний подлец, страстно, безрассудно, молниеносно, и не было видно в этой любви ни дна, ни неба.

Ей было не тридцать семь и даже не тридцать восемь, а сорок. Но шестилетняя разница между ними подчеркивала не возраст, а ее статус, манеры и породу: царица, царица, царица!

Позже, когда она начала капризничать, проявлять норов, будто заморская элитная кобылица, он в шутку часто говорил:

— Поля, сними корону!

Она высокомерно улыбалась, щурилась и словно что-то поправляла в волосах.

— Сереженька, а зачем? Она мне не мешает. Совсем не мешает!

Она и вправду ей не мешала, корона… Эта женщина твердо знала, что нагайка уже хлестнула по крупу гнедого коня, и еще один несчастный всадник с намертво привязанными к удилам руками понесся по грозовому небу…

Обычно он заезжал за ней на машине к концу недели.

Недалеко от ее офиса Ванькович ловил частника, детально инструктировал и заранее расплачивался, добавляя двадцать процентов от суммы. Как только она показывалась в дверях, шофер выходил из машины и почтительно, точно ливрейный лакей, открывал заднюю дверцу. Ванькович выходил, встречал ее и, мягко поддерживая под локоть, сопровождал к машине. Водитель прикрывал дверцу, Ванькович обходил автомобиль и садился рядом с Полиной. Как правило, в этот момент звучала отрепетированная фраза:

— Куда теперь, Сергей Александрович?

На мгновение Ванькович брал ее за руку. Полина поворачивала к нему лицо, и в ее глазах, будто переливаясь на солнце, мерцала зеленая манящая *бездань**.

— Сереженька, куда мы? — улыбалась она, и он, помедлив, называл адрес.

Они мчались по шоссе, разговаривали, шутили. В ресторане, стилизованном под открытые кубрики бригантины, делились впечатлениями о нашем добром, совершенном и удивительно чутком мире. Пили красное вино, смеялись. Он кормил ее десертом с ложечки и целовал в губы…

Сразу же, еще при первых свиданиях, она обозначила свои приоритеты, предпочтения. Как-то, при свечах, неожиданно сказала:

— Во всех делах, Сережа, будь, пожалуйста, мужчиной… Я тебя прошу…

— Странная просьба.

— Обычная, — улыбнулась она. — Обычная женская просьба…

— Ладно. Постараюсь. Но почему ты об этом говоришь?

— А о чем, Сережа? О чем еще говорить женщине с мужчиной? О чем, мой капитан? — Она щурилась. Улыбалась и щурилась. Бестия. — Расскажи мне лучше о Песне… Почему ты ее так называешь?

— Она любит караоке…

— И купила даже микрофон за двести баксов?

— Почти угадала. За двести двадцать.

— Почему ты на ней не женишься?

— Мы не договаривались.

Она прищурилась, улыбнулась.

— Какая-то ерунда получается… Без свободы нет любви, а в любви нет свободы… Да?

— Не знаю… Но думаю, я свободен. Я не женат. Ты — замужем.

— Но ты живешь с женщиной, а значит, должен отвечать за нее. А я с мужем уже давно не живу. Не живу даже в одной квартире. Поэтому я свободна. А ты — нет.

---

* Неизмеримая глубина; крутой, глубокий обрыв (бел.).

— У него были какие-то проблемы? Алкоголь? Что-нибудь еще?

Она замахала руками.

— Нет! Нет! Абсолютно нормальный мужчина. Руководит фирмой. Сейчас уехал по делам в Германию.

— Ты много теряешь. Ненавидишь его?

— О-о-о! Это допрос?

— И все-таки?

Она сбросила с лица улыбку, как сбрасывают змеи кожу. Посмотрела на него холодными, ледяными глазами. Ванькович уже знал этот ее взгляд. Однажды он возник у нее, когда речь зашла о деньгах.

— Ненависть — слишком высокое для него чувство, Сережа, — сказала она и тут же улыбнулась. Задумчиво провела ладонью по столу. — А какая она, твоя Песня?

— Песня? — Он пожал плечами. — Не знаю. Она эмоциональная. Слишком открытая. Просто песня.

— Просто Песня… Красиво ты ее назвал. Вообще, у тебя есть особенность: из любой мелочи ты умеешь сделать праздник. Нет, я серьезно.

— Но есть и недостатки…

— Да-а-а? — деланно удивилась она.

— Да.

— И какие же?

Он выдержал паузу.

— Я не знаю, что такое факторинг…

— О-о-о! Безобразие! Надо же!

— Да, такое нежное слово на твоей визитке… Оно заставляет чувствовать меня неполноценным. Я бы даже сказал: дремучим идиотом.

— Ну что ж… — Она скрестила руки на груди. — Придется вывести тебя из этого, надеюсь, нечастого состояния.

— Я буду признателен тебе всю свою жизнь, лисенок…

— А может, волчица?

— Нет — лисенок…

Она снова провела ладонью по столу. У нее были красивые, ухоженные руки, теплый неброский маникюр.

— Не забывай, что есть женщины, которые напоминают гостиницы. Их никогда нельзя покинуть. Даже если вы давно от них ушли. «Hotel California», понимаешь? Это как бесконечное воспоминание.

— Бесконечное воспоминание?

— Да. Потому что воспоминание — это переживание после переживания. Понимаешь?

— Понимаю… Ты такая красивая, что мне даже не хочется ложиться с тобой в постель…

— Ну, вот… приехали… — Ее глаза смеялись, хохотали.

Снова, переливаясь на солнце, мерцала зеленая манящая бездань ее глаз. И Ванькович тонул в ней, задыхался и не мог выплыть.

— Если совсем примитивно, то факторинг — это продажа долгов. Допустим, вам не отдают долг, и вы находите человека, который берет на себя обязанность вернуть этот долг, но под процент. То есть делает предложение, от которого трудно отказаться. В роли такого человека выступает банк.

— Витиевато… — У него было такое идиотское лицо, что она рассмеялась.

— Не понял?

— Не совсем…

— Существует три стороны. Фактор-посредник, в роли которого выступает банк в лице своего факторингового подразделения. Поставщик. И покупатель. Это понятно?

— Да.

— Факторинговые операции заключаются в том, что поставщик товара уступает право требовать деньги с покупателя банку. Банк перечисляет деньги поставщику, а затем через оговоренный срок получает их от покупателя.

— Грамотно.

— Да. В деталях это выглядит так. Поставщик заключает с банком договор на факторинговое обслуживание. Затем приносит в банк документы о поставках товаров (счета-фактуры, накладные) и, не дожидаясь платежа от своего покупателя, получает в банке деньги за поставленный товар. Обычно получает где-то до девяносто процентов от суммы поставки. Остаток суммы (за вычетом комиссии банка за обслуживание) банк переводит поставщику, когда поступают деньги от покупателя.

— О-о-о, — застонал он. — Теперь понимаю.

— Ну, наконец-то!

— А кто оплачивает комиссию?

Полина прищурилась, улыбнулась.

— Поставщик. Договор факторинга с банком заключает именно он. Поэтому должен платить за обслуживание. Впрочем, как правило, все поставщики через какое-то время перекладывают свои издержки по обслуживанию на покупателя. Просто включают комиссию в стоимость поставляемого товара…

— Тебе бы лекции читать. В университете.

— О, нет. Я не выношу публики. Хотя моя мама всегда говорит: «В этой жизни надо быть немножко артисткой»...

Снова, снова и снова он провожал ее домой по ночным улицам. Горели фонари, трассы желтых огней рассекали проспекты и улицы, снег потрескивал под ногами размеренно, редкие снежинки парили, как тополиный пух.

У подъезда они прощались, он целовал ее, улыбался.

— Поля, сними корону!

— Как я ненавижу эту твою фразу! — улыбалась она в ответ. Солнечно щурилась. Проводила ладонью по его лицу. — Поросенок!

Когда б вы знали, из какого сора растут стихи… Истории… Наполняются смыслом слова, чередуются образы, будто кадры…

Какая светлая и грустная история… Да… Не думал он, что красота ее…

Неизвестно для чего дается любовь, известно, что она все меняет…

Незадолго до Нового года Полина позвонила Ваньковичу сама. Это была редкость: она никогда не звонила первой. Никогда. Разве чтобы предупредить о том, что не сможет встретиться или опоздает. А тут был не повод — нет, тайная необходимость. Эту тайную необходимость подчеркивал ее деловой черный костюм тонкого кроя, пронзительно холодный макияж, элегическое настроение. Больше чем всегда она была задумчива, грустна, немногословна. Равнодушно рассматривала посетителей, пила кофе… Очень буднично, как об уборке в квартире, сказала:

— Я сегодня развелась с мужем, Сережа. Конец формальностям… Закажи, пожалуйста, коньяка.

Ресторанчик плыл в полумраке, мужчина и женщина в два голоса вели песню:

«Красивая любовь… Мы отдали ей дань безумства…»

Полумрак, будто умелый стилист, делал ее лицо удивительно юным и в то же время женственным.

Она смотрела на Ваньковича печальными глазами. В них еще билась какая-то немая просьба, которую он так и не сумел разгадать. Опытная львица смотрела на молодого партнера с вызовом, и в глазах ее медленно тонула и надежда, и ожидание, и, наконец, досада. Что она хотела услышать? Что хочет услышать женщина? На что она надеется? Что заложено в софте женщины?

— Ты его любила? — спросил он у нее.

Она взглянула на него так разочарованно, словно рассчитывала услышать совсем другой вопрос.

— Не знала, что не люблю…

У Ваньковича захватило дыхание — такая недоступно красивая она была, в своем презрении, разочаровании, холодной сдержанности. Просто не отвести глаз…

Сердце стучало, стучало, стучало, как конские копыта по брусчатке. Всадники неслись по грозовому небу на гнедых поджарых конях с намертво привязанными к удилам руками…

— Я тебя люблю, — сказал он.

— Что-о? — вкрадчиво спросила она.

— Я тебя люблю.

Зеленый огонь вспыхнул в ее глазах.

— О-о, — улыбнулась она как-то нервно, демонически, жадно, с беспредельной досадой. — Это очень приятно слышать! Но что я буду с этим делать, Сережа? Ждать твоего звонка?! Без конца думать о тебе? Терзаться, где ты, с кем ты? Нет, нет, я больше этого не хочу…

«Какая светлая и грустная история… Не думал я, что красота твоя…» Строчки возникали сами по себе, ниоткуда, из призрачной пустоты, звучали, ложились в строку, притягивали рифму, словно магический кристалл.

Полумрак ресторанчика переплывал в гостиницу, страсть и беспечность меняли интерьер: вместо столика с десертом появлялись кровать, бра, легкие тюлевые шторы, потолок с изломанными тенями деревьев, интимные путешествия, корабельная качка…

Эта манящая бездань затягивала его в свои зеленые сети, путала ноги, опаивала сладким ядом, и Ванькович уже терял себя, свою суть, память и думал только о Полине, представлял только ее: как она поворачивает голову, ослепляет его улыбкой, прищуривается и спрашивает:

— Соскучился?

— Да, да, — признавался он и целовал ее в губы, чувствуя, как она открыто отвечает. И в мозгу у него билось, пульсировало, стучало, как грохот копыт по брусчатке, странное чужое слово: факторинг, факторинг, факторинг, факторинг… Высасывало из него силы, кровь, волю. Попадало в рифму, вливалось в общий текст, меняло смыслы…

Он подарил ей этот текст ночью, очередной раз в гостинице, в марте.

Она взглянула на открытку hand made*, инкрустированную лепестками полевого цветка, распахнула ее, как брошюру, и через мгновение он увидел, как кончик отточенной брови взметнулся вверх и зеленые глаза разбрызгали по лицу свет ее улыбки.

> Какая светлая и грустная история:
> Не думал я, что красота твоя,
> Улыбка глаз, твой стиль и…
>   наконец, факторинг
> Вдруг станут перекрестком бытия.

— Исто-о-ри-и-я… — певуче протянула она. — Факто-о-ри-инг… Какая необычная рифма. У тебя глаз фотографа. Очень приятно. Спасибо. Как ты умеешь все-таки делать из мелочей праздник!

Полина стояла спиной к окну, скрестив руки на груди, щурилась, улыбалась, и полумрак, мягко сквозивший из темных углов, бархатно полировал ей лицо почти до неузнаваемости, быть может, до ее прежнего двадцатипятилетнего возраста.

Ванькович хотел подойти к ней, но она отошла от окна, села в кресло у журнального столика. Резко меняя настроение, досадно вздохнула:

— Факторинг. Как он мне надоел! Если бы ты знал! Он лишает меня личной жизни даже в выходные! — Она кивнула в сторону черной кожаной сумки, потянулась к ней, хотела достать из нее папку, но передумала и бросила: — Внутренний факторинг, внешний факторинг… Сплошной анализ возможностей корпоративных клиентов… Сереженька…

* Ручная работа (англ.).

На ней было темно-синее дорогое платье, белоснежный воротничок декольте слегка приоткрывал ключицы, и, когда она поворачивала голову, отблеск от бра пробегал по крупному жемчугу бус, тонируя длинную шею.

Немея от ее красоты, он подошел к ней, сел рядом на пол и обнял ее колени. Она держала сомкнутые ноги чуть отведенными вправо, черные колготки приглушенно обнажали соразмерность ее породистой голени, тонкой щиколотки и ступни.

Полина взъерошила ему волосы, прошептала:

— Значит, наша встреча только перекресток, Сереженька?

— Нет, нет, — задыхаясь, откликнулся он. — Нет… — и подхватил ее на руки, понес на диван.

По ее платью от белого воротничка до талии, вдоль позвоночника по отрезку в полсантиметра одна за другой бежали вниз маленькие пуговички в виде золотых морских якоречков.

Она расстегнула ему верхние пуговицы рубашки и увидела тельняшку, рассмеялась.

— Надо же, как мы вместе угадали!

Ванькович все еще неумело пытался освободить ее налитое жадное тело от золотых якоречков, и она смеялась, смеялась, смеялась, пока, наконец, не отвела его руки.

— Раздевать женщину большой труд, Сереженька… Так же, как и одевать… Подожди, ты испортишь мне платье…

Она встала, мгновенно расстегнула сзади три верхних якоречка, скрестила руки внизу и привычным движением избавилась от платья через голову. Аккуратно повесила его на плечиках в шкаф… Встряхнула головой, легко поправила волосы…

Она была хороша и в одежде, и без одежды. Царица… Хладнокровно прошла к кровати, будто к трону, присела рядом с Ваньковичем. Нежно обняла, забрала всего себе, без остатка, поцеловала в губы, оторвала его цепкие руки.

— Я сейчас, сейчас… Подожди…

Через мгновенье послышались потоки летящей воды, они бились в ванну то мягко, рассеянно, то упруго, сильно звеня, и он, онемев, вслушивался в эти звуки, лежал в кровати, как привязанный пудель, брошенный хозяйкой под дождем. И не хотел уже ничего, ничего, ничего: ни факторинга, ни корпоративных клиентов, ни денег. Ничего. Только чтобы она скорее вернулась…

После они лежали под простыней лицом друг к другу, и он все никак не мог избавиться от сильного, яркого, но на время затухшего влечения: настолько она была все-таки нежна, желанна и не вульгарна в интимных путешествиях…

— Люблю тебя… — сказал он. Она ничего не ответила, мягко поцеловала его в губы, провела рукой по волосам.

— Сереженька… — тихо, даже как-то обиженно, едва ли не по-детски произнесла. — Сереженька… Ты не хотел бы изменить свою жизнь?

— Ты уже ее изменила.

— Ты не хочешь быть со мной всегда… всегда?

Ванькович молчал.

— Ты не готов? Тебе что-то мешает?

— Не знаю…

— Песня? — догадалась она.

Он не ответил.

— Песня?

— Да…

Она обняла его, но больше ничего не говорила, не спрашивала. В полудреме, засыпая, он чувствовал прикосновение ее холодных пальцев на спине, и сквозь сон все хотел отогреть их теплом своего тела, но это у него не получалось. Холод разливался по его телу постепенно, как туман поздним августом в притопленных

низинах. Потом хлынул дождь, он лил бесконечно, как из ведра, сплошной стеной, и конь, на котором летел Ванькович в грозовых сумерках, вдруг оступился и выбросил седока из седла. Вода прибывала и прибывала. Едва не захлебнувшись, он попытался выбраться на высокое место, но не смог, поскользнулся и упал. Попробовал встать, но понял, что уровень воды уже поднялся до груди, и, тяжелея от боли и жаркого озноба, поплыл. Он плыл и плыл, а небо над ним наливалось тяжелым свинцом, распухало, и вдруг из него повалили огромные хлопья снега, тяжело опускались и смешивались с водой. Его уставшие руки уже загребали не воду, а кашу из снега. И эта каша постепенно замерзала, пока не превратилась в рваный, будто раны на руках, синеватый лед. По пояс замурованный в лед, он стоял в дикой ледяной пустыне, седой, с глазами ужаса, обращенными к небу, и вдалеке слышал какую-то глухую стеклянную дробь. Дробь крепла, наливалась мускулами, порывом, звуком, и уже было отчетливо слышно, как десятки, десятки копыт выбивали лед, приближаясь к нему с нарастающим грохотом. Это были всадники на гнедых поджарых конях с намертво привязанными к удилам руками. В черных плащах, подбитых красным бархатом, кроша лед и поднимая ледяную пыль, они летели прямо на него…

Ледяной ужас коснулся Ваньковича, и он проснулся. Из двери приоткрытого балкона обжигало крепким морозным воздухом. В большом серо-серебристом зеркале напротив он увидел бутылку шампанского, два бокала. Было ощущение, что они стояли не на журнальном столике, а на льду. У стенки, укутавшись в одеяло, словно личинка бабочки в коконе, спала Полина.

— Поля, — негромко позвал он. — Поля…

Она тяжело, будто после наркоза, открыла глаза, беззвучно смотрела на него довольно долго, пусто, с далеко спрятанным разочарованием…

Больше она уже не спала с ним, вычеркнула постель из графика встреч.

Через неделю уехала в Объединенные Арабские Эмираты. Вернувшись, счастливая, смеялась, показывала ему фотографии, рассказывала. Он почувствовал присутствие кого-то третьего, хотя на всех фото рядом с ней никого не было.

— Сереженька, Сереженька, — щурилась с наслаждением. — Отпуск — это маленькая жизнь. Пускай всего две недельки, но как душевно! «Ski Dubai» — горнолыжный курорт почти в пустыне, представляешь? А на сафари я думала, умру от страха: сердце замирало от скорости и барханов. Эмираты… Там, знаешь, есть даже подводный ресторан. Спускаешься в лифте, в герметичной шахте, под воду, выходишь в зал — стоят уютные столики, над ними официанты в униформе наизготове: что прикажете? Кругом все из стекла, а за ним плавают рыбы… А как у тебя? Как ты? С Песней по жизни? — и за этими вопросами ему слышалось другое, тайное: «Ну, что ты решил? Что ты решил, Сереженька? Ты со мной? Я спрашиваю, ответь хоть как-нибудь!»

Он отмалчивался, терзался, наслаждался ее дерзкой красотой. Без конца ей звонил, просил встреч, проявлял заботу, опекал, дарил подарки, писал стихи, встречал, провожал, не ел, не спал, забыл о карьере, сходил с ума, а-а-а-а, — почти все было, как и прежде, но кое-что изменилось…

Полина купила машину и заговорила о мужчинах.

Покупку ее, мазду-«мокрый асфальт», он прокомментировал сухо и сдержанно. Она вся горела от восторга — машина, моя машина, — а Ванькович сбил ее настроение, погасил ее маленькую радость.

— Нормальная машина. На работу будешь ездить…

Она ничего не ответила, поджала губы. А через некоторое время завела разговор о мужчинах. Как-то призналась:

— У меня умер друг. Близкий друг. Он мне помогал. Ни в чем не отказывал. Очень хороший человек…

В другой раз сообщила:

— Мне сделали предложение. Вернее, два…

— Кто?

Она неопределенно улыбнулась:
— Это допрос?.. Мужчины. Оба достойные люди…
— Более достойные, чем я?
— Не думала об этом…
— Ты сошла с ума, — тихо сказал он.
— Да, — грустно согласилась она. — Я знаю…
Официант подошел к их столику, зажег свечи, отошел. Ванькович поморщился.
— Если хочешь быть со мной, будь рядом.
— Рядом — это как? Как собака при хозяине? — Она нервно улыбнулась. — Нет, Сереженька, я женщина самодостаточная… Люблю комфорт. Не терплю двусмысленностей…
— Я помню… — Ванькович помолчал. — Действительно «Hotel California» получается… — И голосом более злым, чем хотел, отрывисто проговорил:

Her mind is Tiffany-twisted
She's got the Mercedes Benz
She's got a lot of pretty, pretty boys
That she calls friends*

— Не угадываешь, — бледнея, сказала она. — Ты забыл еще четыре строки:

How they dance in the courtyard
Sweet summer sweat
Some dance to remember
Some dance to forget*

Он потянулся к ней, хотел поцеловать в губы, но она холодно отстранилась.
— Сережа, нет. Нет, Сережа…
— Терзаешь меня, издеваешься, мучаешь, да?
— Перестань, Сережа. Не надо… — Она поднялась, оправила черную, зауженную у колен юбку и, взяв сумку, уверенно пошла к выходу…
Ночью она разбила свою «мазду»: въехала в кого-то на перекрестке. Переживала страшно, до дрожи в голосе, как потерю близкого человека.
Ванькович узнал об этом позже, недели через две, когда позвонил.
— Я все решил, — сказал он. — Нам надо встретиться…
Она тяжело вздохнула.
— Сереженька, чуть позже. Машину надо починить. Потом буду продавать, покупать новую. Да и на работе конец квартала. Сплошной факторинг…
— А когда? Когда?
— Позже, Сереженька. Я же сказала…
Он ждал встречи с ней долго. Месяца два или даже больше. И снова позвонил.
— Здравствуй, это я.
Она засмеялась в трубку, протянула своим певучим гортанным голосом:
— Нет, ты не дашь мне спокойно умереть даже на работе…
— Нет, не дам…
— Хорошо, давай встретимся, — помолчав, уступила. — Только не заезжай за мной, пожалуйста. Зарезервируй столик. Я подъеду сама. Да, и возьми мне что-нибудь из морепродуктов…

---

* У нее на уме только «Тиффани»,
Она ездит на «Мерседесе»,
Вокруг нее толпа милых мальчиков,
Которых она зовет друзьями (англ.).

* Как они танцуют у нее во дворе
В сладкой летней испарине,
Одни танцуют, чтобы запомнить,
Другие — чтобы забыть (англ.).

Она опоздала. Приехала на новой машине — комфортной, дорогой, вытянутой, как лощеная борзая. Но грязного синего цвета: какого-то коридорного, проходного, базарного.

Он взял ее под локоть и провел в беседку, под деревья. Помог сесть за столик, на секунду положил ей на плечи свои ладони.

— Кушай, пожалуйста. Ты устала?

— Ужасно, — сказала она, беря со стола вилку с ножом. — Ужасно. — И, полуобернувшись к стоянке, бархатно спросила: — Тебе нравится моя японочка?

— Ты себе не изменяешь, — сказал он. — По-прежнему предпочитаешь японский автопром.

— Да, — поскучнела она. — Обожаю.

Подошел седой официант, слегка наклонился.

— Что-нибудь еще?

— Пожалуйста, принесите вина. Французского сухого, двести граммов. Хотя бы семилетней выдержки, — сказал Ванькович.

Официант отвел взгляд, опустил блокнот с ручкой.

— К сожалению, такого вина нет, — и пошутил: — Мы его не закупаем… года с 1969-го… Может, что-нибудь другое?

«Сделайте нам красиво, — на одесский манер подумал Ванькович. — Потеряйтесь». И вслух добавил:

— Спасибо.

Полина как-то странно, половинчато улыбалась. В ее полуулыбке сквозила усталость, разочарование и отрешенность. Как у великой Роми Шнайдер в фильме «Бассейн».

— Как ты? — спросила она Ванььковича незнакомым мертвым голосом.

— Думаю о тебе…

Она небрежно посмотрела на него, вздохнула.

— Зачем?

— Потому что воспоминание — это переживание после переживания, — напомнил он. — Понимаешь?

— Понимаю, — Полина покачала головой, продолжая полуулыбаться. С укором сказала: — А знаешь, я ведь все это время выбирала мужчину. И ты был одним из тех, кого я реально могла бы выбрать. Как глупо… все глупо, да?

Она поковыряла салат с креветками, положила вилку с ножом на краешек тарелки, облокотилась локтями о стол, держа запястья почти у самого подбородка, и закрывая сомкнутыми ладонями половину лица. «Что ты хотел? — спрашивали ее глаза. — Что ты хотел?»

Кровь ударила в виски Ваньковичу, застучала в горле. У него возникло неприятное ощущение, что он сам является предметом факторинговой сделки.

— Я ей все сказал. — Ванькович смотрел на Полину, не моргая. — Я все сказал Песне… Я свободен. Будь моей. Я хочу быть с тобой… всегда…

Медленно она опустила руки к столу, провела ладонями по салфетке, будто разглаживая ее. Не поднимая глаз, взяла приборы и снова принялась за салат. Потом краешком салфетки неспешно промокнула губы, сложила ее вчетверо, положила на стол и со скепсисом бросила:

— Слишком много лука. Мало креветок и слишком много лука.

— Так что ты скажешь? — глухим голосом спросил Ванькович.

Полина скучным, неохотным жестом поправила волосы, снова поставила локти на стол, закрыла сомкнутыми ладонями почти половину лица. Болезненно улыбнулась:

— Ты очень хороший человек. Но не мой… не мой… Не для меня…

Ванькович смотрел на нее и будто бы не узнавал. На мгновенье ему показалось, что перед ним сидит другая женщина. Нервная, дерганая, злая. Стриженая блондинка, которая вдруг передумала заключать с предполагаемым контрагентом факторинговую сделку. Не царица, а уставшая, измученная, разочарованная самка…

В сердце его будто дротик вонзилась ее последняя фраза: «Ты очень хороший человек. Но не мой… Не для меня»…

Ванькович взглянул на часы.

— Мне пора.

— Мне тоже, — сказала она.

Ванькович рассчитался с официантом, и, когда они медленно молча пошли по небольшой дорожке к стоянке, увидел, что Полина время от времени немного виновато косилась на него, как будто оценивала, не слишком ли больно всадила ему этот самый последний дротик…

У ее машины они остановились. Полина осторожно тронула его за руку.

— Я тебя подвезу, Сережа…

— Нет, — отказался он.

— Сережа, перестань. Мне хочется тебя подвезти…

— Нет. Мне рядом.

Он простился и, стараясь не сутулиться, пошел прочь — от ее бездонных зеленых глаз, грязно-синей машины, от летнего ресторанчика с беседками, откуда летела и врывалась в его сознание песенная фраза из динамиков: «Хочешь быть разбойником — не люби принцессу!»

Ванькович шел и шел по старым улицам Минска, Верхнего города. Будто заблудившийся путник. Словно проигравший игрок. И строчки, которые он когда-то написал Полине, вернулись к нему, смешались, долго томились, терзали, пока, наконец, не легли в ряд по-другому, уже с иными оттенками, с новыми смыслами:

> Какая страстная жестокая история:
> Не думал я, что красота твоя,
> Улыбка глаз, твой стиль и…
> наконец, факторинг
> Наполнят чашу ядом бытия…

Дома, не снимая обуви, он хотел пройти в кухню, налить себе водки и уйти во временное забвение. Ванькович двинулся по коридору, свернул за угол и правее от себя увидел контур света по периметру двери из ванной. Нажимая ручку, он ожидал встретить упор, но дверь распахнулась.

В багряной, темнеющей от крови воде, лежала Песня. Ее руки безжизненно проступали вдоль линии тела, и от них, словно мутный дым из трубы, поднимались редкие бурые пятна.

В этот момент откуда-то с нижнего этажа отчетливо зазвучала «Hotel California»: в перебор гитарного соло закрался треск гремучей змеи.

Вскрикнув, Ванькович бросился к ванне, неловко подсовывая руки под холодное тело Песни, поднял ее из воды и, на ходу срывая с вешалки полотенца, отбросив ногой приоткрытую дверь, спешно понес ее в самую большую комнату, оставляя на коридоре кроваво-водяной разбрызганный след.

— Ну, что ты, девочка моя… Песня… — говорил он. — Риточка, что ты наделала… Не смей умирать, слышишь?! Не смей умирать!!!

Положив на диван ее потяжелевшее тело, он принялся щупать пульс на горле, заматывать ей запястья полотенцами — крепко, хаотично, судорожно. Потом кинулся к телефону, снял трубку, набрал 103, но услышал мертвый голос робота: «Уважаемый абонент, ваша линия отключена за неуплату».

Выругавшись, Ванькович достал сотовый, дозвонился до скорой и, срываясь, хрипло попросил о помощи.

В горле, в висках у него бешено стучала кровь. Он присел на корточки, стиснул голову руками, чтобы заглушить этот стук, этот грохот, эту нарастающую ужасную дробь. Но ничего не смог сделать. Всадники в черных плащах на гнедых поджарых конях с намертво привязанными к удилам руками, кроша лед и поднимая ледяную пыль, летели прямо на него…

И откуда-то снизу, будто с преисподней, доносились слова:

Добро пожаловать в отель «Калифорния»
Такое прекрасное место
Такое прекрасное место
Такое прелестное лицо…

Раскадровка

О, да, она обожала кино.

Кино поманило ее в призрачную даль в детстве, и с тех пор Маргарита не слишком хотела сниматься, но очень хотела снимать.

В третьем классе к ней в школу пришла ассистентка режиссера, отобрала двадцать девочек и мальчиков и привела на киностудию. Требовалась массовка к фильму «Приключения Буратино». Снимали самый конец, мизансцена была такой: папа Карло брал Буратино за руку и уводил из сказки. По замыслу режиссера маленькие зрители должны были присутствовать при этом — сидеть в бутафорском кинозале, радостно хлопать в ладоши и задорно отвечать на вопрос-припев фонограммы «Скажите, как его зовут?»

«Его» звали «Буратино», и дети по складам выкрикивали это странное имя во время короткой репетиции, а Маргарита с любопытством обошла павильон, внимательно рассматривая артистов, режиссера, осветителей…

— Девочка, а ты разве не хочешь сниматься? — подошла к ней ассистентка.

— Одну минуточку, — сказала она вежливо, — я немножко посмотрю, как тут все устроено. Ладно?

Оператор на кронштейне чуть не рухнул вниз. Кот Базилио и Лиса Алиса посмотрели на нее с умилением. А долговязый папа Карло, который надевал свои тяжелые деревянные башмаки, поднял голову и восхищенно бросил:

— Ого! Она не уступает нашему Буратино!

Так состоялась ее первая встреча с кинопроцессом. Ей было в то время девять. А в двенадцать дешевый фотоаппарат «Смена» стал ее лучшим другом — она таскала его везде, как любимую куклу.

Первый свой качественный кадр она сняла в тринадцать. Это было фото ее пса Чарлика. Рыжий шпиц Чарлик был не обычной собакой, а живым артистом, как любил повторять отец. Чарлик пел под баян. Сам. Без приглашений. Как только отец брал баян, Чарлик садился рядом, запрокидывал морду и, пригибая уши, старательно вытягивал ноты. За этим занятием она его и запечатлела, и фото получилось удачным, четким и характерным. Она назвала его: «Чарлик. Грустная песня», и получила на школьном фотоконкурсе первое место.

Когда ей было четырнадцать, Чарлик пропал, и в память о нем она сделала свою первую раскадровку и монтаж. Зарисовала последовательно весь сюжет, в определенном порядке склеила пятнадцать негативов, завершив его тем, где Чарлик пел свою грустную песню. Получилась мини-киноистория, которую она по вечерам смотрела на стареньком фильмоскопе.

В шестнадцать она два месяца летом отработала на киностудии помощницей по монтажу, и научилась клеить кинопленку ацетоном. Большого восторга это у нее не вызвало. Кинопленка попалась бездарная. Между кадрами не было энергии, а значит, ее не было и в самом кадре. Великий обман кинематографа пленял ее сердце только тогда, когда она ему безоговорочно верила. Мертвое кино ее не интересовало. Впервые ее мечта врезалась в медный лоб действительности. Лоб оказался крепким.

В семнадцать она поступила… в кулинарное училище. Очень боялась идти сразу после школы во ВГИК. Не без оснований считала, что у нее нет никакого жизненного опыта. Поехала завоевывать его только в девятнадцать, и не поступила. Три последующие года также не принесли ей удачи. Правда, в Москве Мар-

гарита познакомилась с интересными людьми, заразилась от них еще большей творческой лихорадкой и поняла, что она хочет учиться… в другом месте.

Нет, своей мечте она не изменила. Но произошло два события: началась перестройка в СССР, и она познакомилась с фильмами Эмира Кустурицы и Милоша Формана. Оба этих режиссера привели ее в шок и трепет. Свои выдуманные истории они делали настолько профессионально, что вымысел превращался в правду.

Кустурица и Форман стали ее духовными братьями. Во сне, мечтая о своем будущем, она с ними разговаривала.

— Помнишь ли ты Долли Белл, Эмир? — спрашивала она. — А ты, Милош, помнишь незабываемый полет над гнездом кукушки?*

В свое время и Кустурица и Форман закончили ФАМУ** в Праге, и Маргарите ничего не мешало уехать туда учиться. Ничего, кроме времени и денег. Время еще было советское, и куда-либо выехать было очень трудно, а денег просто не было.

Два года Маргарита проработала в ресторане официанткой, год в фотоателье. В свободное время читала, записывала впечатления, выезжала на пейзажные съемки. Ее интуиция подсказывала: режиссер должен не только уметь полностью выстроить логику развития характеров, продумать костюм для каждой сцены, но и чувствовать сценарий, иметь операторский вкус, в целом видеть будущую картину.

Когда-нибудь она мечтала поставить «Дары волхвов» О. Генри. Она любила этот короткий рассказ, где героиня продает свои чудесные волосы, чтобы купить любимому цепочку для часов, а герой продает свои часы, чтобы купить любимой гребень… Светлый, светлый рассказ! Кинематограф у женщин действительно единственное утешение в жизни. В глубине души Маргарита мечтала именно о такой любви.

Но жизнь распорядилась по-своему.

Любовь спутала ей все карты. Последнюю попытку завоевать ВГИК она предприняла в двадцать три, но — безуспешно. Похоже, ее ждали другие дороги — московский институт кинематографии так и не раскрыл ей своих дверей, и она поступила в Театрально-художественный институт в Минске. На втором курсе она и встретила Людмила. Он был болгарин с турецкими корнями, приехал по обмену, учился на актера на четвертом курсе. До этого она не обращала на мальчиков внимания, а здесь был случай, когда впервые не обратили внимания на нее. Это ее задело: мальчик ей очень понравился, был красивый, «тарзанистый», с мягким задумчивым взглядом.

Она подошла к нему во время репетиции студенческого театра, представилась. Быстро по деловому бросила:

— У тебя своеобразное лицо. Я хотела бы сделать твое фото. Как ты на это смотришь?

— Сейчас? — спросил он.

— Ну что ты, — улыбнулась она. — Сейчас ты не готов. У тебя есть черная рубашка?

— Черная рубашка?

— Да, черная рубашка.

— Есть. А что?

— Завтра в девять в этом зале. Надень черную рубашку и джинсы. Обязательно.

Он пришел в красной рубашке и джинсах. Маргарита разозлилась.

— Я же просила: черную рубашку!

---

* Речь идет о фильмах Эмира Кустурицы «Помнишь ли ты, Долли Белл?» и Милоша Формана «Полет над гнездом кукушки».

** Академия исполнительских искусств.

— Какая разница?

— Какая разница? Пошли! — Она отвела его на место запланированной съемки, выставила свет и сделала фото. — А теперь съезди, пожалуйста, к себе, надень черную рубашку, и я тебя сниму повторно!

Из нее просто била уверенность, и Людмил не стал возражать. Позже, когда фотографии были проявлены, он оценил ее одаренный глаз. На черно-белых снимках красная рубашка и синие джинсы сливались в грязный серый цвет. Они «выбивали» лицо, делали его невыразительным, растворялись с общим свинцовым фоном за спиной. А вот черный цвет… Да, черный оказался ему к лицу. Он контрастировал, подчеркивал все детали.

Фото вышло замечательное. Лицо вполоборота. Задумчивый мягкий взгляд. Черные вьющиеся волосы. Индеец. Людмил сидел на полу, с едва подогнутыми босыми ногами, сзади смутно виднелась кладка кирпичной стены. Ворот черной рубашки был расстегнут на несколько пуговиц. Рукава — не застегнуты, полы рубашки в джинсы не заправлены, и во всем этом чувствовалась какая-то продуманная небрежность. Красивые руки он держал на коленях с опущенными кистями, в одной из них между пальцев дымилась сигарета. Рядом на полу валялась черная зажигалка…

Так они познакомились

Маргарита влюбилась без памяти. Кинокамера взяла крупный план: ее большие глаза светились от счастья. Любовь вымыла из ее души многое, но мечта о кино сохранилась, и время от времени где-то далеко мерцала, как электрическая лампочка при сбоях в электросети… Дура. Позже она так и говорила: «Дура! Какая же я дура!» Но это было позже, а тогда… Тогда она родила от него дочку, вышла замуж и, прожив два года в Минске, уехала в Варну, а затем в Берлин.

На этом сказка закончилась, начались будни.

В качестве артиста Людмил оказался в Берлине никому ненужным. Его познания в немецком не оставляли ему возможности работать в профессии, и очень скоро он сменил свою артистическую надежду на спецодежду в мелкой фирме по производству окон. Правда, через несколько месяцев его оттуда тихо уволили. Он без большого энтузиазма перетасовал еще несколько фирм, пока вдруг не вспомнил о своих турецких корнях и не увлекся проблемами турецкой диаспоры. Увлечение это отнимало у него все время, и если он и был дома, то жил, как по анекдоту: шел в магазин «Все для футбола» и покупал пиво, сигареты и телевизионную программу…

У нее сложилось иначе.

Сначала она устроилась в русский ресторан «Gorki Park» уборщицей, а затем и официанткой. Как ни странно, посодействовал экс-президент СССР Михаил Горбачев. В немецкие города хлынули русские немцы из Казахстана и Поволжья, русские евреи из республик, оторвавшихся от СССР. Предприимчивые люди стали открывать рестораны для «русских».

Профессия была ей знакома. Опыт работы в минских ресторанах не особо ложился на берлинскую жизнь, но клиентов Маргарита видела и чувствовала сразу. Была внимательна, деликатна, сдержана, обходительна. Умела выслушать и исполнить, вкрадчиво войти в доверие. На стол подавала стильно, непременно улыбалась. Блузочку и юбку от униформы умела носить мягко, не броско. Присматривалась. Искала место, где лучше. «Gorki Park» сменила на «Samowar», «Samowar» на «Pasternak»…

Кухня была везде примерно одинаковая. Фантазией не блистала. Если Семен Семенович из ресторана «Samowar» подавал блинчики с икрой кеты или борщ с пампушками, то это делали и Петр Цезариевич из ресторана «Pasternak», и Иван Васильевич из ресторана «Gorki Park». Совпадали они и в финансовых вопросах: в смысле платили мало.

Маргарита затосковала. Дочка осталась в Минске. Муж искал себя и все меньше замечал ее. Почти не говорили. Виделись редко. Если сталкивались дома, задавал один и тот же вопрос по-немецки: «Wie geht es Ihnen meine geliebte Frau?»* Похоже, он долго зубрил эту фразу — она вклинилась в его речь и застряла занозой. С каждым днем совместной жизни звучала она все более вычурно, и, в конце концов, начала страшно раздражать… Задумчивый мягкий взгляд стал стеклянным. Черные вьющиеся волосы слипались на лбу от пота. Красивые руки не грели.

Однажды Маргарита проснулась и поняла, что живет с чужим человеком. Их общий корабль уже пробило на рифах, и она не знала только одного: кто же в их отношениях поставит точку.

За них это сделала случайность.

К тому времени Маргарита заменила ресторан «Pasternak» на музыкальное кафе «Voland». Ни единая душа об этом не знала, в том числе и муж. Это было странное кафе, с необычным для славянского уха меню, с дерзким музыкальным шоу, с чертовщиной совпадений.

Совпадения начались сразу же. Ее пригласил в свой кабинет управляющий, юркий человек с быстрой речью, тотальной сединой и ростом напоминавший Станиславского.

— У нас есть к вам предложение. В анкете вы написали, что умеете фотографировать. Это правда?

— Да.

— Почему бы вам не фотографировать клиентов? По их пожеланию, разумеется. Официантка делает фото на память. За сервированным столом мужчина и женщина. Или большая компания. Все в восторге, все в восхищении. Встречаются со знакомыми, друзьями, верещат: «А у них там, знаете, это… нестандартно. Просто именины сердца! Весело, вкусно и даже фото делают». А?

— Я не знаю… Можно попробовать.

— Не надо проб. Мы не на киностудии. Делайте.

— Но у меня нет фотоаппарата.

— Это не проблема. Выберете. Мы вам купим.

И понеслось! Маргарита, как чайка, подплывала к клиентам, внимательно выслушивала заказ, неизменно улыбалась и предлагала небольшую фотосессию. Кто-то соглашался, кто-то отказывался, но появился какой-то полет, волна, сладкое головокружение.

Возникали самые разные персонажи, оставляли самые разные чаевые.

Как-то подкатила компания из четырех человек. Две женщины в черных вечерних платьях. Двое мужчин в малиновых пиджаках. Широким жестом сделали заказ.

Толстый обаятельный бармен Бегемот попридержал Маргариту за руку, когда она катила сервировочную тележку:

— Буратины! Богатые и деревянные, Марго!

— Ну, почему же деревянные, Бегемот, — возразила она. — Убегать от будней всегда наслаждение. Это просто спортсмены. Они бегут от скуки.

«Спортсмены» были в ударе. Маргарита едва успевала подавать. С сервировочной тележки на стол перемещались тарелки со свежими устрицами и омарами, рыбой, морскими ежами и трюфелями. И исчезали в желудках. Туда же пошло и старое вино «Petrus», и молодое «Krug»…

Фотосессию на память компания восприняла как дополнение к меню. Одна из женщин чувственным жестом подвела губы, поправила волосы, мимолетно взглянула на мужчину, который обнимал ее подругу. И Маргарита сквозь камеру фотоаппарата отчетливо увидела глаза этой женщины. Фото запечатлело в них грусть и ревность. Уголки подведенных губ были слегка приспущены, но она улыбнулась и протянула кредитку.

---

* Как дела, моя любимая? (нем.).

Сумма в 10 тысяч 200 марок показалась аппарату нереальной, и он отказался ее считывать. Тогда женщина потянулась к сумочке, достала из нее наличные и, отсчитав 25 купюр по 500 марок, протянула Маргарите.

— Все было изумительно вкусно, спасибо. Сдачи не надо.

Когда они сели в черный Мерседес и уехали, Бегемот вздохнул и сказал:

— Они вернутся, обязательно вернутся. Такие за водкой всегда возвращаются.

Но они не вернулись. Ни через неделю, ни через месяц. Никогда. И Маргарита поняла, что 2 тысячи 300 марок чаевых предназначались не ей, а тому мужчине, который обнимал другую. Он не обращал внимания на женщину с грустными глазами, и она пыталась сделать так, чтобы он все-таки это сделал. Любой ценой...

Маргарите было знакомо это чувство, но за собственного мужа заплатить любую цену она была уже давно не готова. Людмил стал ей неприятен. Она мечтала расстаться, уйти, улететь от него хоть на половой щетке… Может быть, только жалость осталась к нему. Мужчины не понимают, что женская жалость — это последняя остановка прошлой любви, за ней начинаются другие остановки: презрение, ненависть, озлобленность… — а дальше развилка, разъезд. Маргарита еще жалела Людмила, и только поэтому оставила ему на столике 300 марок, а большую часть суммы отправила матери, для дочки.

На следующий день Людмил пришел в кафе «Voland» с женщиной. Эта была чертовская случайность. Непреднамеренная встреча переворачивала последнюю страницу их совместной жизни.

Маргарита стояла за ширмочкой и понимала, что вот сейчас она подойдет принимать заказ и разыграется мизансцена их прогоревшего чувства. Маргарита видела, как Людмил был обходителен со своей подругой, как нежно он за ней ухаживал, как, обнимая за плечи, целовал ее в шею. «Дура, — прошептала Маргарита. — Какая же я дура!»

Избитая фраза Людмила «Wie geht es Ihnen meine geliebte Frau?»* больно била ей в виски, и ей захотелось подойти и ласково спросить с расплавленной усмешкой: «Wie geht es Ihnen mein geliebter Mann?»**

Однако она осталась верна себе, и подплыла к их столику с улыбкой.

— Здравствуйте, приятно видеть вас в нашем кафе. Что бы вы желали заказать?

Людмил почти не отреагировал на ее появление. Только на мгновение от неожиданности вспыхнули его зрачки, и рука потянулась за салфеткой. Белорусская театральная школа — не самая последняя школа… Людмил мог бы стать неплохим артистом, если бы вернулся на родину и устроился работать в театр.

В лице он изменился позже.

Маргарита была не только породистой, но и умной женщиной. К жалкому счету в 195 марок она добавила сверху еще 300 и выставила общий счет: 495 марок.

Была ли эта месть? Ну, разумеется! Редкая из женщин хотя бы однажды не испытывала этого чувства. Месть, месть! За убитое чувство, за обманутые надежды, за оставленную дочку, за измену, за испорченную жизнь, за неустроенность, за притушенную мечту… Месть! Женщина, которая разочаровалась, не помнит своей недавней любви. Душа ее выжжена и пустынна.

С презрительной улыбкой Маргарита из-за ширмочки наблюдала за Людмилом. Вот он удивленно взглянул на счет, напряженно задумался. Засунул руку во внутренний карман пиджака, достал портмоне, открыл его, вынул деньги, пересчитал. Рассеянно улыбнулся своей подруге. Что-то долго пытался объяснить ей, и она, наконец, поняла, с явным недовольством взяла маленькую сумочку к себе на колени, открыла ее и через мгновение протянула ему несколько купюр.

Джаз-бэнд умопомрачительно играл фантастическую тему из Берлиоза.

Маргарита плавно подплыла к ним, приняла деньги и вежливо спросила:

— Может быть, вы хотели бы сфотографироваться? По желанию клиентов наше кафе оказывает такие услуги.

---

* Как дела, моя любимая? (нем.).

** Как дела, мой любимый? (нем.).

— Нет, спасибо, — сухо отказался Людмил.

— За счет заведения, — не унималась Маргарита. — Фото на память. Специально для вас и вашей единственной подруги... Fotografieren Sie bitte schőn. Warum nicht?*

Подруга Людмила взглянула на него вопросительно и недоуменно.

— Gut, — согласился он, и глаза его почернели от досады.

Так они расстались…

Маргарита сняла новую квартиру. Ничего в ее жизни особенно не изменилось: она работала, скучала по дочке и снова мечтала о кино. Но она была уже другой. Жизнь изменила ее. Она была уверена, что теперь обязательно поступила бы во ВГИК в Москве или в ФАМУ в Праге. Все так же она хотела когда-нибудь поставить «Дары волхвов» О. Генри — она видела этот рассказ уже глазами женщины, у которой была дочка, но не было мужа и определенного будущего.

Каждый день она приходила в кафе.

Обаятельный Бегемот приветствовал ее из-за стойки:

— О, несравненная Марго, я рад вас видеть! Публика в восхищении от вас! Все в восторге!

Она улыбалась.

— Бегемот, прекрати мелко льстить. Я накручу тебе уши.

— Я протестую, черная королева: я не льщу, а констатирую факты!

Маргарита огибала столики, быстро проскальзывала мимо кабинета администратора и шла переодеваться. Она стягивала потертые голубые джинсы, легкий свитер из хлопка, смотрела на себя в зеркало, подкрашивала губы и немножко жалела себя. Ей было уже за тридцать: время, словно вечный художник, наносило на ее лицо новые оттенки, морщинки. И она скрашивала, разглаживала их кремом.

Клиенты за столиками всегда ждали ее ровно столько, сколько требовалось для изучения меню. У Маргариты появились уже знакомые, которые приходили не только поужинать, но и взглянуть на нее, перекинуться парочкой фраз, ну, и, разумеется, сфотографироваться. В своих фотографиях она творила какое-то четвертое измерение. Они были вроде бы простенькие, но в них появлялся новый смысл, образность детали. Восхищенный шепот о ней полетел по улицам Берлина.

Внимание публики ей льстило. Ничто так не делает женщину неожиданно красивой, как вовремя сказанный комплимент. Но после расставания с Людмилом у Маргариты появилась одна небольшая шалость: в коммерческих целях она научилась мгновенно оценивать психологический портрет клиентов. Пожилых людей, одиноких женщин и мужчин Маргарита обслуживала сугубо по прейскуранту. Но если приходила холостая пара, и мужчина в ней играл соло, Маргарита без всякого страха набрасывала на каждое блюдо по две-три марки при итоговом расчете. Ни один мужчина, понимала она, не захочет выглядеть в глазах своей женщины скупердяем. Схема работала безукоризненно, и вместе с чаевыми позволяла Маргарите скромно существовать.

Ее скромное существование закончилось с появлением в кафе «Voland» одного клиента.

Это был человек лет сорока пяти, худощавый, стриженный аккуратно и в меру. Она запомнила его в сером отутюженном костюме, в бежевой сорочке с однотонным галстуком. Из всех мест в кафе он всегда выбирал самое дальнее и неприметное, всегда пил черный кофе и всегда с плохо скрываемым любопытством наблюдал за Маргаритой. Сначала она не придала этому никакого значения. После — придала этому слишком большое значение, потому что почувствовала легкое головокружительное притяжение.

---

* Сфотографируйтесь, пожалуйста. Почему нет? (нем.).

Когда он появился в первый раз, она не помнила. Может, в четверг, может в пятницу. Время, когда это случилось, было смазано, словно задний план на четком портрете.

Она обслуживала его несколько раз, однажды даже по его просьбе сфотографировала и отослала фото по указанному адресу.

— Какие хорошие фотографии вы делаете, — сказал он. — У вас талант.

— Да? — не поверила она.

— Да, — улыбнулся он. — Вам удается сочетать продуманность кадра с фантазией.

— Я вообще ужасная фантазерка, — призналась она.

— Не особо увлекайтесь.

— Почему?

Он пожал плечами и ничего не ответил, допил кофе и ушел.

В немом кино после этого могли бы сделать заставку:

Так она встретила другого

Маргарита стала скучать по его глубоко посаженным умным глазам, кратким беседам, мимолетным улыбкам, запаху хороших сигарет. Но он не приходил.

Прошла, неделя, вторая, третья, месяц. Приближалось Рождество. Неожиданно он появился с молодой женщиной. Всем своим видом показывал, что видит Маргариту в первый раз.

Но ей было уже наплевать, она обслужила их с неизменной улыбкой. Они много ели, много говорили, смеялись. Его спутница вела себя раскованно, что-то шептала ему на ухо, поправляла салфетку у его подбородка. Под конец он заказал коктейль «Маргарита».

— Это мой любимый коктейль, — пояснил он и выразительно посмотрел Маргарите в глаза. — Текила удачно подчеркивает его вкус. Пожалуйста, только мне. Моей спутнице — еще бокал шампанского.

— И фото на память? — бледная улыбка пробежала по подведенным губам Маргариты.

— Вы угадали. Только занесите фотографии ко мне на работу. Сами. Если вам не трудно, конечно.

— Это не входит в мои обязанности.

— Я вас очень прошу. Пожалуйста, — он протянул визитку, оставил двадцать марок чаевых и бросил на Маргариту быстрый взгляд. Маргарита скользнула по визитке глазами: Александр Лиходеевский…

Надо ли говорить, что она пошла к нему? Но зачем? Маргарита не знала. Ей одновременно и хотелось, и не хотелось этого. Странное, странное чувство! Словно твой парусник несет на прибрежные скалы, и ты ничего не можешь сделать, от тебя уже ничего не зависит…

Ее парусник несло на Kantstraße*, к отелю «Ottenthal».

Шел мелкий дождь. В Берлине было Рождество, и 1996 лет тому назад волхвы уже несли свои дары младенцу в яслях. Волхвы были действительно удивительно мудрые люди.

Маргарита плакала, когда шла по рождественским улицам Берлина. Ей казалось, что она самая одинокая и несчастная женщина на земле.

Недалеко от отеля она вытерла слезы тыльной стороной ладони и заставила себя улыбнуться. Огромные зеркала встретили ее в холле. Из ресторана бушевал вальс Иоганна Штрауса. Время от времени вальс как будто на мгновенье затухал, и тогда тревожно, сквозь него пробивался знаменитый прощальный полонез…

Полицейский, разговаривая с портье, безучастно взглянул на нее, когда она проходила мимо. Маргарита показала визитку, и лифтер в униформе, похожий на грача, поднял ее на необходимый этаж.

---

* Улица Канта (нем.).

В большой приемной за столом сидела секретарша. Она была в деловом костюме, и на лице у нее прочитывался запрограммированный минимум эмоций. Не без удивления Маргарита узнала в ней ту самую молодую женщину, которая сопровождала в кафе Александра. Секретарша сообщила о Маргарите по внутренней связи и молча открыла перед ней дверь.

Он сидел за столом, разговаривал по телефону и в то же время что-то быстро записывал.

— Ja, ja, danke. Natürlich… Ich gratuliere dir auch!* — донесся до нее обрывок немецкой фразы из дальнего конца просторного кабинета.

Их глаза встретились, и он показал взглядом, чтобы она присаживалась. Маргарита опустилась на стул и оглядела кабинет. На столе, на этажерке для книг и бумаг все было в идеальном порядке. По правую сторону от стола на разных уровнях раскинулся цветник, рядом на стенке висела небольшая прямоугольная фотография Анастасии Вертинской. Актриса стояла на старой лестничной клетке, в профиль, у изогнутого перила. Не покидало ощущение, что она внимательно вглядывалась своими черными глазами в огромное прямоугольное окно, за которым Берлин виднелся, как на ладони.

— Я принесла вам фотографии, — наконец сказала Маргарита. — Мне надо идти.

Лиходеевский внимательно посмотрел на нее, встал из-за стола, прошелся. Где-то сзади раздался его тихий голос.

— Я наблюдаю за вами дольше, чем вы думаете…

— Я не терплю, когда за мной следят, — сказала Маргарита и повернулась к нему холодным лицом.

— Это не то, о чем вы подумали.

— Вы знаете, о чем я думаю?

— В общих чертах, да, знаю. Но сейчас меня интересует другое. Три месяца назад…

— Три месяца назад? Вы хотите, чтобы сегодня мы обсуждали, что было три месяца назад?

— Да, три месяца назад один ваш клиент посоветовал мне посмотреть на вас. Ему очень понравилось, как вы работаете. Я не так давно стал соуправляющим этим австрийским отелем, и в мои задачи входило подобрать несколько русскоязычных официанток для ресторана.

— Зачем?

— В Берлин стало много приезжать тех, кто говорит по-русски. Они все чаще предпочитают оставлять свои деньги в немецких ресторанах. Мы пришли к выводу, что «русских» должны обслуживать «русские». Но на очень высоком уровне.

— И вы для этого три месяца ходили и подглядывали за мной?

— Нет. Дважды вы обслуживали моих людей. Я приходил к вам всего несколько раз, в том числе и один раз со своей секретаршей…

— Она удивительно умеет перевоплощаться, — язвительно заметила Маргарита.

— Да, она знает свое дело. Но, уверяю вас, вы ее превосходите.

— Я — не секретарша.

— Даже если бы вы были трижды секретаршей, она бы никогда не смогла сравняться с вами. У вас профессиональное чутье на людей. Вы их сканируете за долю секунды. За сотую долю располагаете к себе. Обслуживаете по высшему разряду. Но я в вас разочаровался…

— А я вами и не очаровывалась.

Он приблизился к ней на расстояние вытянутой руки и посмотрел сверху вниз.

— Послушай, зачем ты нас обсчитывала? Ты мечтаешь посидеть в немецкой тюрьме? Тебе не хватает драйва? Ты хочешь иметь дело с полицией?

---

* Да, да, спасибо. Конечно… Я поздравляю тебя также (нем.).

Маргарита вдруг встала из-за стола, со всего размаха хлестнула своим уставшим злым взглядом по его глазам и пошла к выходу.

— Стой! — не двигаясь, твердо сказал он ей в спину. Маргарита обернулась и бросила:

— Да пошел ты к чертовой матери со своей полицией!

— Стой! — снова повторил он.

Маргарита опустошенно остановилась.

— Да пошел ты… — тихо сказала она и заплакала.

— Зачем ты это делала?

— Деньги… — проговорила она. — Проклятые деньги! У меня маленькая дочь в Минске… Я четыре года ее не видела! Живу одна, от мужа ушла. И эта мелкая сволочь, администратор, меня за коленки лапает!

— Почему мелкая?

Маргарита всхлипнула.

— А какая? Крупная сволочь занимается серьезным делом, а не лапает официанток…

— Логично. И это все?

— Нет, не все. И еще я хотела учиться…

— Учиться?

— Да, в Праге… На кинорежиссера.

Его реакция удивила Маргариту. Он рассмеялся.

— В ФАМУ?

— Да.

— Я хотел туда поступать, но потом пошел во ВГИК.

— А я туда не поступила.

— Вот это кино… — Он быстро заходил по кабинету. — Надо было закончить ВГИК, стать продюсером, заняться риэлтерским бизнесом, уехать в Берлин и найти русскую официантку, которая тебя обсчитала и оказалась совсем не официанткой! Хороший сюжет!

Маргарита улыбнулась.

— Я не русская — я белоруска.

Александр остановился и взглянул на нее с откровенным интересом.

— Это, конечно, меняет дело, но вопросы крови — самые сложные вопросы в мире.

— А ты в самом деле во мне разочаровался? — спросила она.

— Да, я в тебе очень сильно разочаровался. Такая женщина как ты могла бы выдумать что-нибудь получше, чем обсчитывать клиентов в кафе. Ты стоишь больше. Как ты смотришь, чтобы поработать у нас в ресторане? Возможно, тебе придется повысить свою квалификацию, сдать экзамен и получить «мастер-бриф»*. Все-таки в нашем ресторане 250 марок вин из 16 провинций Австрии… Есть тут и другие особенности…

— А с кино ты предлагаешь мне расстаться?

Лиходеевский лукаво улыбнулся.

— И не надейся. Придется познакомить тебя с Кустурицей. Сейчас я веду переговоры о продюсировании его будущего фильма.

Маргарита решила, что она ослышалась.

— С Кустурицей?

— Да.

— Я буду подавать ему по утрам бифштекс с яичницей? — предположила она.

— Нет, ты понаблюдаешь, как он снимает кино. Это очень большой мастер. Каждый его кадр — шедевр. 2000 кадров в фильме — 2000 шедевров на выходе. После Кустурицы я не могу снимать кино. А когда-то мечтал снять «Дары данайцев» О. Генри.

---

* Der Meisterbrief (нем.), свидетельство о присвоении звания мастера.



Маргарита взглянула на него удивленно.

— Ты что-то путаешь. У О. Генри нет такого рассказа.

Лиходеевский встрепенулся, вздохнул.

— Что я несу? Ну, конечно, нет. Я хотел сказать «Дары волхвов». Знаешь такой рассказ?

— Она все делает для него, а он все для нее…

— Точно.

— А разве так бывает?

— В кино бывает.

— Хотелось бы и в жизни…

Он подошел к ней, обнял и долго целовал в губы. Ее губы были податливые, мягкие и влажные.



Неожиданно Маргарита слегка отстранилась, взглянула ему в глаза и вкрадчиво спросила:

— А ты знаешь, кого бы я взяла на роль Деллы?

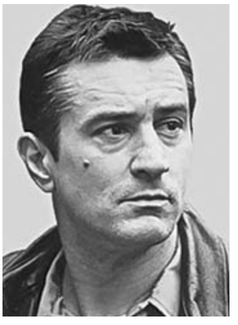
— На роль Деллы? — не понял он.

— Ну, в этом рассказе О. Генри, помнишь, Делла?

— А-а, — сообразил он. — Я бы взял молодую Джулию Ормонд.

— А мне кажется, лучше Энди Макдауэлл никто не смог бы сыграть эту роль.

— Да, — согласился он. — Может, это было бы лучше. Но на роль Джима я бы однозначно взял молодого Де Ниро.



— С этим я не спорю, — сказала она и, как котенок к молоку, снова потянулась к его губам.

Они взялись за руки, и, казалось, летели по небу. Говорили долго, не умолкая. Хотели рассказать друг другу о себе все. Все мелочи, все переживания, всю свою жизнь. Им было очень интересно друг с другом. Беспечно, легко и спокойно. На рояле им аккомпанировал Иоганн Штраус. Маэстро неповторимо вел вальс.

Кинокамера пятилась, возникал общий план. Вдали за прямоугольным окном виднелся Берлин, размытый мелкими дождевыми каплями. Но небо уже светлело, свет осторожно касался улиц и крыш домов, медленно превращая их в Троицкое предместье Минска. Там, на мощеной грубым камнем мостовой, сидел ее отец и играл на баяне. Рыжий шпиц Чарлик запрокинул морду и, пригибая уши, старательно вытягивал ноты. Девочка смотрела в зрачок дешевого фотоаппарата «Смена» и медленно спускала затвор.

Маргарита повернулась, чтобы посмотреть в окно, и камера надвинулась, взяла крупный план. Еще одна камера отъехала, прямоугольное окно раздвинулось до огромного плазменного экрана в кинотеатре, и на нем отразились ее глаза, которые светились и блестели от слез. Мелкий бисер дождя едва заметно бил в окно, медленно оплывал вниз, и ей показалось, что по стеклу ползут титры.



ВИКТОР ШНИП

Горит опавшая листва…

* * *

Целую вечность у мамы я не был,
Целую вечность как будто и не жил,
И одиночеством, словно водой,
Был окружен, плыл куда-то вперед.
Солнце на небе, как лист золотой,
Ветер подует — оно опадет
Мне на дорогу, которой идти,
Словно траве сквозь асфальт прорасти.
Целую вечность у мамы я не был,
Целую вечность как будто и не жил,
И ничего не воротишь назад.
А над землею шумит листопад.
Лист, что в ладони мои упадет,
К маме, домой, мне дорогу найдет.

* * *

А наши девушки, они красивы все,
Как розы белые в предутренней росе.
Но всех на свете для меня прекрасней ты,
Мир не видал такой небесной красоты.
Но я молчу, с тобой мне трудно говорить,
Я буду молча красоту твою любить,
И знать, что ты красивей всех и всюду,
И все красивое на свете, словно — ты.
Ни другом я, ни мужем я не буду,
Но никогда не буду и святым
С тобою рядом, где красивы все,
А ты, как роза в утренней росе…

* * *

Сижу с тобою в баре
И кофе молча пью.
Ты любишь тары-бары,
А я тебя люблю.

Ты весело смеешься.
Наш столик на двоих.
Моя рука боится
Открытых плеч твоих.

В твои глаза-озера
Смотрю я, не дыша.
Как душно в этом баре,
Когда поет душа!

И хочется простора,
Да тесноту терплю.
Ты бар, веселье любишь,
А я тебя люблю.

* * *

Я ничего не обещаю,
Ты ничего не обещай.
Что будет завтра — я не знаю,
Тебя люблю я — вечно, знай.

И бывшим дням не повториться,
Как теплых слов не повторить…
Хоть и захочется забыться,
Да не получится забыть.

* * *

Горит опавшая листва,
В дым ветви яблонь одевает.
Сухая желтая трава
С холодным ветерком играет.

Тропинка дремлет у огня —
За лето столько натрудилась.
И тишь ноябрьского денька
На плечи яблонь
взгромоздилась…

Дымит опавшая листва,
Густеют тучи к непогоде.
И что-то шепчет мне трава,
И слишком быстро
дни проходят.

Элегия снегу

Засыпается снегом, как белым песком,
Желто-мертвая осень у нас за окном,
И мы оба у осени этой в плену.

А за стенкою вновь горлопанит сосед,
Он бы нас застрелил, если б был пистолет,
Ведь мы любим на улицах серых весну.

Ну, а снег из-под туч все летит и летит,
И его, словно сон, кто-то будет любить,
И на улицу выйдем печальные мы.

И засыплется снегом, как белым песком,
Желто-мертвая осень, и сквер, и наш дом,
И весь город, застывший в ладонях зимы.

* * *

С прошедшим невозможно повстречаться,
И не вернуться хоть на день назад,
Туда, где ветер кружит листопад,
Где наши души снова к свету мчатся,
Как бабочки на блеск костра ночного…
И я теперь один, и ты одна,
И памяти зола… да ведь она
Не сможет осветить для нас дорогу,
Чтобы на ней нам встретиться с тобою.
Найду твой телефон и позвоню,
Как бабочку, летящую к огню,
Спасу. Но в тот же миг порой ночною
Ты будешь вновь на свет далекий мчаться,
Туда, где нам вовек не повстречаться…

* * *

Еще один повесился поэт,
Словно петлей на нем сошелся свет,
Где он кричал о боли невпопад…
Повесился, как провалился в ад
По горло, и теперь наш грустный свет
Жалеет, что повесился поэт,
Как будто он сказал в печальный час
Что думает о времени, о нас.
Не всяк услышал, что поэт сказал.
Сказал, как всех нас из петли достал,
А сам остался, словно пал в бою,
Нам завещая жизнь прожить свою,

И не стихами, жизнью — вновь и вновь…
Как тот сосуд, наполненный вином,
Разбился день, когда ушел поэт,
С собой забрав, словно улыбку, свет…

Баллада Рогнеды

За монастырскою стеною травы
Шумят о воле на семи ветрах.
И хоть Рогнеда стала Гориславой,
Рогнедою останется в веках.

Ей снятся по ночам Отчизны дали,
Оставленные в Киеве сыны.
Проходят дни в молитве и печали
И исчезают в холоде стены.

За монастырскою стеной — былое,
Но прочные запоры у ворот…
Рогнеда — имя вечное, святое,
Как вечен белорусский наш народ.

Перевод с белорусского
Геннадия АВЛАСЕНКО.



АНАТОЛИЙ ШПАРТОВ

Предчувствие

Рассказ

1

Валентин Николаевич Русланов двадцать лет не был на своей родине, в Подмосковье. С тех пор, как умерла мама, у него ни разу не возникало желания туда съездить. Несмотря на то, что он был человеком сентиментальным — мог и на книжную страницу слезой капнуть, но здесь, как отрезало. Родительский дом он продал в тот же год и словно отсек ветку в своем генеалогическом древе, ведь родных братьев и сестер у него не было, а своих детей им с женой Бог не дал. Чужого же ребенка взять не решились. Так и жили. И жили, надо сказать, неплохо: был у них старенький «Москвич», был и небольшой дом, сколоченный из подножного материала, с участком за городом, где они, уже на пенсии, проводили большую часть времени, радуясь тишине и покою. Но был в жизни Валентина Николаевича один вопрос, который долгие годы мучил его, занозой сидел в душе, отдавая тупой, тянущей болью, иногда затихающий на какое-то время, а то вдруг острым приступом поднимающий его среди ночи, вынуждающий, как лунатика, бродить по дачному участку или однокомнатной хрущевке. Парадокс заключался в том, что ответ на этот вопрос он давно знал, или почти знал, но точку поставить в конце ответа не мог. Не получалось. Возможно, с его стороны требовалось не просто молчаливое признание чьей-то вины или невиновности, но и ответное действие — реакция. Но какая?! Вот это и мучило его бессонными ночами. Благо, Ленка всегда крепко спала, но если бы и проснулась, он бы что-нибудь придумал.

А тут на днях приснился ему сон. Отец — таким он запомнился Валентину Николаевичу — вел его, как ребенка, за руку по бескрайнему, свежевспаханному полю. Дул очень сильный ветер, и было такое чувство, словно небо к земле прижалось. Пока шли, отец не проронил ни слова, а он не осмеливался о чем-либо спросить. По уверенной поступи было понятно, что хорошо знает, куда идет, хотя никаких ориентиров или дорог вокруг видно не было. Неожиданно, как это бывает в снах, они оказались возле деревянного дома. Отец подвел его к нему, а сам куда-то исчез. Дом вначале чем-то напомнил родительский, но, разглядев его получше, Валентин Николаевич пришел к выводу, что вовсе это не дом, а большой сарай. Огромные двери, как ворота, были открыты настежь. Он подошел ближе и в глубине строения увидел маму. Она была одета в длинную темную, как ему показалось, тяжелую юбку и черную суконную кофту. «Морщины на лице уж очень глубокие, а глаза — молодые!» — отметил Валентин Николаевич. Мать не удивилась его появлению, будто заранее знала, что он должен прийти. Так, изредка поглядывала на него, и при этом вилами счищала с каких-то полозьев грязь. А потом вдруг тоном, будто придавала этому особую важность, рассказала ему историю, как один оперный певец — даже назвала фамилию — нарвал в поле колосьев, сделал из них подиум в виде своего профиля, взобрался на него и спел арию. Проснувшись, Валентин Николаевич пытался вспомнить фамилию

певца и название арии, но так и не вспомнил. «Чепуха какая-то», — подумал он, но, поразмышляв день-другой, объявил жене, что хочет съездить на родину. Та удивилась: с чего бы это, столько лет не вспоминал, а здесь — на тебе? Тогда он попытался объяснить ей, что, мол, родители стали сниться, и что хотел бы еще раз посмотреть на те места и повидать приятелей… Видимо, сказано это было как-то не убедительно.

— Да какие у тебя там приятели? Может, приятельницы? — то ли в шутку, то ли всерьез ввернула супруга.

В ответ Валентин Николаевич вспылил, замахал руками: «Глупости-то не говори!» А потом, как это всегда бывало, тут же успокоился, улыбнулся жене, обнял ее и сказал: «А заодно и сестренку двоюродную навещу в Москве».

У сестры Валентин Николаевич пробыл почти сутки. В подробности своей поездки не вдавался — сказал сестре, как бы в шутку, что в последний раз хочет взглянуть на отчий дом. Переночевав, он рано утром отправился на Казанский вокзал, и вот уже около часа из окна электрички его сопровождал однообразный подмосковный пейзаж. Предстоящая встреча с прошлым начала волновать его еще в Минске, когда он так неожиданно не только для жены, но и для себя, засобирался в дорогу. Дорога и встреча с родственниками его не успокоили, и по мере приближения к родным местам он чувствовал, как волнение нарастает. Небрежным движением, будто смахивая пыль, он проверил наличие в нагрудном кармане упаковки валидола, и чтобы как-то переключиться, отвлечься от тревожных мыслей, достал книгу, которую приготовил еще в Минске.

Он всегда любил читать и читал много. Особых пристрастий не имел — был всеяден, как и в еде. Причем любил совмещать оба эти процесса. Без особых раздумий он мог на бутерброд с колбасой положить варенье и в свои шестьдесят пять с неподдельным интересом читать Гайдара.

Валентин Николаевич слегка поерзал на сиденье — сел поудобней и открыл книгу. Но не прошло и пяти минут, как он ее громко захлопнул и даже слегка чертыхнулся. Попутчица — полная круглолицая женщина лет сорока — дремавшая напротив, вздрогнула и испуганно посмотрела на соседа. Перед ней сидел седой как лунь старик, с гладковыбритым красноватым лицом, в роговых очках на носу. Одет он был в офицерскую рубашку. Закатанные рукава оголяли сильные загорелые руки не рабочего, но мастеровитого человека. Часы крепились на коричневом широком кожаном ремешке — таких сейчас днем с огнем не найдешь. Из расстегнутого ворота рубахи выглядывала тельняшка. Старик смотрел на испуганную соседку и виновато улыбался, поблескивая белым металлическим рядом зубов.

— Вот, — кивнул он на книжку в руках, — специально ходил в библиотеку, выбирал, а оказывается уже читал. И не в первый раз так попадаюсь.

Женщина скривила рот в гигиенической улыбке и сочувственно закивала головой. Ее пальцы цепко держали ручки туго набитой челночной сумки, прижатой ногами к сиденью. Другой рукой она прикрывала полиэтиленовые пакеты, стоящие вплотную к ней сбоку. Оценив скромные пожитки Валентина Николаевича — с ним была лишь небольшая заплечная сумка, — она спросила:

— А вы, вроде, как на экскурсию собрались?

— Скорее экскурс в прошлое. А вы до Шатуры?

— Да, мы шатурские. Вот, тоже на экскурсии в Москву ездим, — кивнула она на свой багаж.

— Раз вы из Шатуры, может, и Степана Пантелеева знаете. Он мой ровесник.

— Может и знаю. Шатура — городок небольшой. А кем он вам приходится?

— Знакомый, можно сказать, приятель. На одной улице жили?

— Так вы тоже из Шатуры?

— Ну, да! Я же сказал — экскурс в прошлое…

— А на какой улице жили?

— На Калинина.

— Это теперь Тверская.

— Пусть Тверская. Так знаете Пантелеева? Жив он?

— Вроде, есть такой.

— Жив значит, — тихо, про себя сказал Валентин Николаевич.

— Что? — переспросила женщина.

— Это хорошо, что есть, что жив, — вдруг оживился Валентин Николаевич. — А то, знаете, в нашем возрасте всякое бывает: живет себе человек, живет… Сегодня он есть, а завтра, смотришь, уже нет. Группа риска.

— Не говорите! Сейчас и молодых много помирает. Старики — они, хоть свое пожили, повидали что-то. А вот молодых жалко.

— Жалко, конечно. Но посмотрим, что вы скажете, когда вам под семьдесят стукнет, — парировал Валентин Николаевич.

Оба, как по команде, они повернули головы к окну.

— Подъезжаем, — примирительно сказала женщина и зашуршала своими мешками.

Валентин Николаевич по-джентльменски предложил даме свою помощь, но та отказалась, мотивируя тем, что ее встречают, да и привыкшая она к тяжелым ношам.

2

Странные вещи творит с людьми одиночество. Вы наверняка когда-нибудь видели на улице человека, который что-то бормотал себе под нос. Поверьте, это глубоко одинокий человек. Вы можете возразить, что он душевно нездоров. Не буду спорить. Но, как говорил Ницше, одиночество у одного — это бегство больного, а у другого — бегство от больных.

В то утро Степан Степанович Пантелеев проснулся засветло. Случались дни, когда ему особенно было тревожно. Тогда он спал плохо и почти ничего не ел. Его мучил страх, от которого он никак не мог избавиться. Ему представлялось, что он вдруг умрет, не успев никого позвать на помощь и будет лежать здесь, пока соседи не почувствуют что-то неладное. Он представлял, как его обнаружат через несколько дней после смерти, а, может, и неделю. Наблюдая себя со стороны, Степан Степанович испытывал помимо тихого ужаса и невыносимый стыд. Да, да! В этом было что-то постыдное, а что, он толком не понимал. Становилось не по себе. Где тут заснешь?! Потом все само собой проходило. Поскольку друзей у него не было, а приятелей-ровесников почти не осталось, то и разделить свои тревоги было не с кем. Гасить страх горькой он не привык, да и никогда пристрастия к этому делу не имел.

Сегодня он лежал в темноте до тех пор, пока в зеркале трюмо, стоящего напротив изголовья, четко не проявилось отражение перекрестия окна. Всю жизнь неверующий, он, неожиданно для себя, после смерти жены, стал молиться. Однажды в почтовом ящике он обнаружил брошюрку о вечной жизни. Обычно он такое выбрасывал сразу, а здесь унес в дом и даже выучил «Отче наш». Правда, когда хотел что-то попросить у Бога, пожаловаться ему или просто поговорить, язык будто костенел. Тогда он усмехался своей беспомощности, задвигал маленькую иконку, сделанную в виде календаря, обратно в книги, и, словно чего-то стыдясь, поспешно отходил от молитвенного места. В церковь он так ни разу и не сходил. Не привык. Воспитан был по-другому. Даже чувствовал какую-то брезгливость к религиозной жизни. Но крестик носил с собой: нашел его среди немногочисленных и дешевых украшений покойной жены.

Пролепетав молитву и перекрестившись — опять как-то неловко получилось, — Степан Степанович встал с постели. Походил босым по комнате. Поставил чайник на огонь. Зашел в бывшую детскую. Потоптался там, провел рукой по книжной полке. Сдул с руки пыль. Вышел и направился к стене с черно-белыми

фотокарточками. Постоял возле нее, чему-то удивился, с чем-то согласился. Тут о себе напомнил чайник. Степан Степанович махнул рукой, мол, ну, что тут стоять-то, и заспешил на кухню.

Без десяти восемь он закрыл за собой калитку и бодрой, но не очень уверенной походкой, отправился в путь.

Посмотрите внимательно как-нибудь вслед идущим мимо вас старикам. Когда-то они были молоды, здоровы, и, наконец, они были влюблены. И даже, возможно, любили. Маркес заметил, что мы перестаем любить не потому, что стареем, а стареем, потому что перестаем любить. Вглядываясь в их спины, вы заметите в основном печаль, отстраненность и неучастие в этой жизни, которая в своем ярмарочном обрамлении непочтительно проносится мимо. С упорством ломовой лошади они тянут за собой груз прошлого. И лишь немногие своим трансцендентальным спокойствием напоминают китов, плывущих в безбрежном океане жизни к месту своего последнего пристанища.

Степану Степановичу хватило и десяти минут, чтобы успеть к открытию почтового отделения. Там он уже не столь решительно подошел к стойке, за которой сидела еще сонная почтальонша, и положил перед ней заранее приготовленную и аккуратно расправленную десятку.

— Здравствуй, — сказал он, не глядя на женщину.

— Здравствуйте, — откликнулась та, накрывая купюру необычно маленькой для такой крупной женщины ладошкой, — первая кабинка.

Внимательный наблюдатель уловил бы в ее голосе легкую иронию и догадался бы, что Степан Степанович здесь гость не редкий. А он как будто и ждал этой интонации: насупился, отвернулся и зашагал упрямо к кабинке. А там, уже присев на стул, проворчал что-то себе под нос, затем снял трубку и стал набирать знакомый номер.

3

Природа часто вносит путаницу в человеческий календарь: в апреле может вдруг почудиться октябрь, а в сентябре бывают такие дни, когда вообще не понимаешь, что происходит и с тобой и с окружающим тебя миром. Иногда все вокруг затихает и как бы замедляется: природа, как атлет, готовится к прыжку в непогоду и холод. Солнце выплескивает на землю остаток нерастраченного за лето тепла. Откуда ни возьмись, навстречу вдруг выпорхнет шоколадница, а тяжелый шмель, так и не долетев до газона, шлепнется на асфальт прямо вам под ноги. Вы, конечно, с помощью листа подорожника поднимите его и отнесете к ближайшему цветку. Возможно, этим самым вы продлите на чуть-чуть его жизнь. Мимолетность — это летящие мимо вас листья, бабочки, шмели, птицы, время… Мимолетность — слово, объединяющее пространство и время…

Выйдя из вагона, Валентин Николаевич отошел в сторонку и присел на скамейку. Им неожиданно овладели сомнения, ему вдруг показалось глупостью его затея приехать сюда, за тысячу километров. Ведь жил он все это время как-то. А сон? Так они разные бывают. Если сонникам верить, жизнь в кошмар превратить можно. А та скрытая душевная боль? Так, может, он себе все придумал? Нет, нет и нет. Надо разобраться и поставить точку в этой истории. Но как?! Когда болит, значит есть причина, и значит ты жив. А когда ничего не болит — ты мертв, тебя нет. С душой точно также. «Ладно, — решил Валентин Николаевич, — главное ввязаться в бой, а там посмотрим».

Подъем ни свет ни заря, дальняя дорога и ласковое обволакивающее сентябрьское солнце сделали свое дело, и Валентин Николаевич задремал прямо на скамейке. Его разбудил женский голос. Открыв глаза, он увидел перед собой молодую женщину в форменной синей юбке и голубой рубашке. Она, слегка наклонившись, внимательно смотрела на него:

— Вам плохо? — спросила она.

— Нет, напротив, — выпрямился Валентин Николаевич, — так, знаете, задремал. По-стариковски.

— А я, грешным делом, подумала, что… не дай Бог… — с облегчением выдохнула женщина.

— Ну, что вы! Это в мои планы не входило. Спасибо вам! Нас, стариков чаще стараются не замечать…

Женщина в ответ улыбнулась, пожала плечами, мол, для нее это пустяки, ничего особенного, и пошла вдоль перрона. Валентин Николаевич оценивающе посмотрел ей вслед — эх, не по Сеньке шапка — и, кряхтя, поднялся со скамейки.

Прошло не более пятнадцати минут, как он приехал. Из них десять минут он проспал. «Ну, Штирлиц, ты даешь», — Валентин Николаевич зорким глазом бывшего военного окинул перрон, здание вокзала и прилегающую к нему территорию. Он прикинул то место на перроне, где они стояли с матерью, когда он уходил в армию. Тогда, переполненный юношеским максимализмом, как и большинство его сверстников, он рвался в бой, обивая пороги военкомата, не замечая переполненных мольбой и отчаянием глаз матери. А, может, просто боялся заглянуть в них, потому что, если бы посмотрел, то, скорее всего, остался бы — война на Западе почти закончилась. Но он сразу исключил эту возможность, отшвырнул ее, как что-то грязное и липкое, и, в конце концов, добился своей цели — его направили в Иркутское военное авиатехническое училище. Повоевать ему все-таки удалось, но только на Дальнем Востоке. А что же мама? Возможно, она надеялась на чудо, что его не возьмут — слишком молод, война на исходе, он один у нее. От отца уже четвертый год не было известий. Когда ему, наконец, вручили повестку, она сразу поникла, а душа ее, будто осенний листок, свернулась. Он сразу уловил это по ее глазам — печаль пожизненной печатью легла на них и с тех пор никогда уже не покидала.

4

Приблизительно в это же время Степан Степанович вышел из почтового отделения на улицу. Задержавшись на крыльце, он глянул в небо, на котором не было ни единого облачка, затем, не спеша, вынул аккуратно сложенный носовой платок (жена приучила), снял кепку, тщательно вытер испарину на лбу и произнес:

— Будет дождь.

В это время мимо него брел невзрачный мужичок, с тощей авоськой в руке, на дне которой просматривался предмет весьма конкретной продолговатой формы. Весь жалкий вид этого человечка говорил о непреодолимой жажде, которую он испытывал этим утром. Услышав голос сверху — Степан Степанович стоял на крыльце, — мужичок встрепенулся и остановился, глянул вверх и, заметив Степана Степановича, с каким-то нездоровым интересом спросил:

— Что?

Степан Степанович кинул строгий взгляд на чужака и повторил:

— Дождь, говорю, будет.

— А-а…, — разочарованно протянул мужичок и, тихо добавив: — А я подумал, выпить хочешь, — пошел своей дорогой.

5

Было уже около девяти утра, но город, казалось, еще спал. Валентин Николаевич шел по прямой длинной улице, названия которой пока нигде не обнаружил, но память и интуиция подсказывали ему, что идет он в верном направлении. За разнокалиберными заборами обретался частный сектор. Валентин Николае-

вич отметил для себя запустение и общий упадок. Хотя нет-нет, да и прошелестит мимо задастая иномарка с тонированными стеклами. Наверняка, хозяева города. Прохожие почти не попадались: так, промелькнет где-нибудь за забором человеческая фигура и все.

Ан, нет! Вон мужичонка, с виду неказистый, с длиннющей, чуть ли не до земли, авоськой навстречу идет. Валентин Николаевич еще за несколько метров углядел на себе его заинтересованный взгляд. «Ну вот, — подумал он, — сейчас денег просить будет, а начнет с какого-нибудь дурацкого вопроса». Тот действительно замедлил шаг и, когда они поравнялись, мужичок, заприметив в нем приезжего, с легким вызовом спросил:

— Огонька не будет?

Валентин Николаевич, уже готовый к такому развитию событий, на ходу хлопнул себя по карману:

— Не курю, — и уже продвинулся вперед, как за спиной отчетливо услышал чуть ли ни глас вопиющего в пустыне:

— Выпить хочешь?

— Что? — не ожидавший такого предложения побеседовать, он остановился и оглянулся.

— Выпить, говорю, хочешь! Не могу один пить, понимаешь, — обреченно произнес мужичок.

— Понимаю, — дошло до Валентина Николаевича — некогда мне, да и не пью я почти.

В ответ мужичок лишь сплюнул себе под ноги и то ли с жалобой, то ли со злостью в голосе процедил:

— Вот народ пошел? Сгибнешь здесь с вами!

Пройдя мимо почты, а затем, повернув направо, Валентин Николаевич вышел на знакомую улицу. Хотя и прошло около двадцати лет, но он, конечно же, узнал ее. Да и сердце подсказывало. Валентин Николаевич поставил сумку на землю, достал старую армейскую флягу и сделал глоток. Для верности взял под язык еще и таблетку.

Родительский дом располагался в конце улицы. Дальше, в полукилометре, начинался лес. Отец, любитель всякой живности, часто брал его туда с познавательной целью: рассказывал, где какое дерево или куст растет, учил по голосу определять птиц, а по следам — разных зверей. Крупных, конечно, в лесу не было, но мелких — до войны хватало. Так что первые уроки по биологии преподнес ему отец. Но все это выглядело пустяком по сравнению с тем, что отец знал о лошадях, и главное, как он их понимал! Это была особая страсть, и предан он был ей беспредельно. Городок, где они жили, вырос из поселка, построенного для рабочих и их семей, работающих на торфоразработках. Отцу — крепкому физически, казалось, в самый раз было трудиться там, тем более что и заработки на торфе были выше, но он предпочел пойти работать на конюшню. Мать, зная о его страсти, как умная женщина, никогда его в этом не упрекнула: меньше денег, зато в семье мир и любовь. Так они и жили втроем. Счастливо. Вплоть до лета сорок первого года.

6

Этот дом Валентин Николаевич узнал сразу. Он подошел к калитке и уже собрался открыть ее, как вдруг заметил приколоченную и неприметную на вид фанерку с потускневшей от времени надписью, которая гласила, что во дворе злая собака. Валентин Николаевич отошел от калитки и заглянул поверх забора во двор. Забор оказался высоковат, и для этого ему пришлось приподняться на носки. Двор, как двор. Никаких собак он не увидел. Правда, возле яблони он заметил высокого, худощавого старика. Что он там делал, было не совсем понятно: то ли листья сгребал, то ли паданцы собирал.

— Степан? — неуверенно позвал Валентин Николаевич.

Старик резко оглянулся. «Со слухом у него все в порядке», — отметил Валентин Николаевич. Старик пристально всматривался в его сторону. «А вот со зрением, ерунда…»

— Здорово, Степан! — снова окликнул его Валентин Николаевич. Тому, видимо, надоело играть в прятки. Он подошел к калитке, резко открыл ее, выглянул и сердито посмотрел на пришельца. В руках у него действительно оказались яблоки.

— Собака на цепи? — с иронией спросил его Валентин Николаевич. Выражение лица у старика поменялось.

— Валентин! Ну, кого не ждал, так это тебя!

— Говорят, незваный гость хуже татарина, а?

— А может и лучше. Какими судьбами?

— Да вот, потянуло еще разок на родные места взглянуть.

— Это хорошо. Сколько ж лет мы с тобой не виделись? Поди, лет пятнадцать?

— Почти двадцать, Степан.

— Да ты проходи, проходи в дом, а то я от неожиданности оторопел. Чего стоять-то столбом на пороге?

— Не сейчас. Позже зайду. Хочу к своему сходить. Дом стоит еще?

— Стоит, стоит. Все уже, конечно, растащили. Сносить его вроде собираются. То ли стоянку строить будут, то ли детский сад. Так что ты вовремя приехал.

— Детский сад — это хорошо… Послушай, душновато как-то стало или мне кажется?

— Так дождь же будет!

— Какой дождь? Небо-то чистое.

— А ты на небо не смотри. У меня вот здесь, — Степан Степанович постучал себя по голове, — барометр. Лучше всяких синоптиков определяет погоду. Людям за день прогноз выдаю — не верят. А потом удивляются. Так что поторопись.

Валентин Николаевич посмотрел на небо. И правда, горизонт слегка потемнел, и ветерок поднялся. Надо успеть.

7

Во двор Валентин Николаевич сразу входить не стал. Он остановился там, где когда-то была калитка. Действительно, от дома остались лишь крыша и стены, в которых чернотой зияли глазницы окон. Двери тоже не было. Покинутые дома пугают своей пустотой. С одной стороны заходи, кто хочет и бери, что хочешь, а с другой — жутковато, все равно как подойти к мертвецу. А вдруг зашевелится?

Валентин Николаевич прошел во двор и встал напротив дверей. «Интересно, — вдруг подумал он, — а что, если бы сейчас оттуда вышли родители? Как бы он отреагировал? Что сказал?» Валентин Николаевич вспомнил недавний сон. От нахлынувших разом на него чувств он, словно ребенок, хлюпнул носом, а навернувшиеся слезы, как линзы, исказили и размыли все видимое пространство. И тут перед его глазами, как наяву, предстала совершенно четкая картина. Валентин Николаевич застыл на месте, чтобы не дай Бог не потерять изображение. При этом он нисколько не удивился этой картине, а, наоборот, с интересом наблюдал за происходящим. Все шло, как в черно-белом немом кино: во дворе дома стояли трое. Это был солдат, женщина и мальчишка лет четырнадцати. А еще он увидел собаку на цепи — породистую немецкую овчарку, которая чуть ли не стелилась по земле и рвалась к этим троим, показывая всем своим видом: «Ну, вот же я, вот я, посмотрите на меня!» Солдат, не выпуская винтовку из руки, обнимал женщину и мальчонку, а те, приникнув к нему всем телом, утопили свои лица в грубых складках солдатской шинели. Валентин Николаевич даже разглядел детали: мужской кулак, крепко сжимающий цевье винтовки, обмотки и грязные солдатские ботинки, а рядом женские резиновые сапожки, стоящие на носочках,

мальчишеские руки, вцепившиеся в сукно шинели… Все втроем стояли, не шелохнувшись, и даже овчарка, словно почувствовав торжественность момента, замерла… Видение исчезло так же внезапно, как и появилось, уступив место реальности.

Валентин Николаевич, вступив на подворье, в дом по-прежнему войти не решался, а прошел дальше, туда, где раньше был сад. Побродив немного в саду, он вернулся на двор. Вот здесь стояла раньше будка, даже след остался. А там… Вдруг он услышал странный едва уловимый шорох. Валентин Николаевич огляделся, посмотрел вниз. На земле лежал обрывок газеты. Он как-то странно шевелился. Находясь еще под впечатлением увиденного, Валентин Николаевич никак не мог оторвать глаз от грязного клочка бумаги, на котором почему-то сами по себе появлялись крупные серые пятна. «Дождь», — дошло до него. Он поднял лицо к небу, снял шляпу и принял на лицо несколько капель. Теперь он стоял и смотрел в небо, будто искал там чего-то. Валентин Николаевич на мгновение испытал восторг, как в детстве. Дождь усиливался, и он раскрыл зонт: никуда уходить не захотел, повернулся к одному из окон и, о чудо! Оно оказалось застеклено, и оттуда исходил свет. Из окна на него смотрел мальчишка. Он узнал его.

8

Стоял сентябрь 1941 года. Была суббота, уроки в школе закончились, и впереди был выходной, а на улице, как назло, уже несколько дней моросил дождь. Ладно, когда ты еще в классе сидишь, то можно с этим смириться и даже развлечься, например, так: поспорить с соседом по парте, какая капля быстрее скатится вниз по оконному стеклу? Или просто послушать монотонный дробный шум дождя, и представить, как там хмуро, холодно, ветрено, а здесь светло и уютно. Но вот просидеть дома из-за ненастья весь выходной — это уже слишком! Хотя четырнадцатилетний Валька слыл домоседом. Больше любил с книжкой поваляться. Не зря же родители его Валькой назвали. Или с отцом на конюшню сходить. А то брался что-нибудь мастерить во дворе. Но все равно, оттого, что нельзя погулять на улице, было грустно, и Валька слонялся по дому из угла в угол: то книжку полистает, то просто ляжет и глядит в потолок, а то подойдет к окошку, да так и засмотрится на рябые от дождя и ветра лужи. Или неожиданно найдет себе забаву — подпихивать спичкой вяло передвигающуюся по стеклу сонную муху. Во дворе стоит будка. Оттуда торчит морда Тумана — породистой немецкой овчарки. С полным безразличием он следит за воробьем, подъедающим крошки из его миски. Валька барабанит пальцами по стеклу. Туман отрывает взгляд от воробья и с тоской смотрит на Вальку, а тот корчит ему рожицы. Туман внимательно, чуть склонив морду, смотрит на него: что он там задумал?

Мама к приходу Вальки из школы растопила печь, сварила борщ. Дома хорошо, но все равно ему неймется, а уже вечер. «Ну, чего маешься? Поздно уже, давай укладывайся», — говорит она. По стеклу тукают капли дождя.

9

Утром Вальку будит неистовый, с визгом, лай Тумана. Что-то случилось! Хорошее. Иначе бы Туман лаял по-другому. Валька открывает глаза и первое, что он видит — чистое синее небо в окошке. «Дождя нет… Нет дождя!», — ликует он и одним рывком срывается с кровати, на ходу хватает шаровары, спотыкаясь, надевает их, устремляется к двери, выскакивает на крыльцо и тут же попадает в поток ослепляющих солнечных лучей. Он жмурится. Наконец, глаза привыкают, и он открывает их во всю ширь. Посреди двора стоят мать и отец. Отец в длинной серой шинели, стриженный, без шапки. Одной рукой он обнимает

приникшую к нему мать, в другой сжимает винтовку. «Папа! Папа!» — кричит во все горло Валька и кидается к родителям. Они молча принимают его в свои объятия. Так, втроем они стоят долго-долго, и не понятно, то ли это встреча, то ли прощание. Никто не решается первым разомкнуть объятия. Никто никогда не сможет разрушить их связь.

Отец подходит к уже охрипшему от лая Туману и одной рукой — в другой у него винтовка — снимает овчарку с цепи. Туман вначале юлой вертится возле его ног, а потом стрелой несется в сад. Отец поднимается на крыльцо, открывает дверь и останавливается. Валька следует за ним. Вдруг, размахнувшись, отец с силой швыряет винтовку в темный проем дверей: «Они на нас с танками, а мы… вот с этими палками!»

10

Дождь давно закончился. Валентин Николаевич сидел на колоде и продолжал держать зонт над головой, все еще находясь под впечатлением внезапно обрушившегося на него прошлого.

— Валентин, Валентин! — услышал он за спиной знакомый голос.

— Вот, черт принес, — с досадой подумал Валентин Николаевич и обернулся. Степан стоял в метрах десяти.

— Ты что, заснул? Я тут подумал, чего тебе сегодня ехать. У меня переночуешь, а утречком поезжай себе. А?

— Не могу. Дел много, — буркнул Валентин Николаевич.

— Да какие могут быть дела у пенсионера? — не унимался Степан Степанович.

— Разные, — огрызнулся Валентин Николаевич, — Я на печке не лежу. Ты думаешь, раз пенсионер, то и делать нечего?! Помирать прикажешь, что ли?!

— Да ладно, — обиделся Степан Степанович, — я ведь как лучше хотел.

Он как-то неловко развернулся, будто хотел что-то еще сказать, и заковылял по дороге. Валентин Николаевич проводил его взглядом и вдруг ощутил такую щемящую жалость к этому одинокому старику, что даже прослезился. «Еще чего, — приказал он себе строго, смахивая слезу, и добавил, обращаясь то ли к себе, то ли к Степану: — Вот, пенек старый!»

Валентин Николаевич встал, размял онемевшие конечности, глянул на колоду, на которой сидел. «А пенек-то действительно старый… знакомый», — он нагнулся к нему и провел рукой по темному отполированному временем краю.

11

Мать суетилась, собирая на стол все, что было в доме съестного. Валька же не отходил от отца, но держался на расстоянии: поведение отца не располагало пока к более близкому общению. С самого начала отец был немногословен. Его что-то угнетало, и было заметно, что и он сам мучается непроизвольно установленной дистанцией. Сняв гимнастерку и на ходу потрепав Вальку за волосы, он вышел во двор. Валька в нерешительности двинулся за ним.

Отец не просто колол дрова. То, что щепки перелетали забор, было еще не все. Отец вел бой с невидимым противником, бой не на жизнь, а на смерть. Валька, загипнотизированный этим зрелищем, лишь отмечал, как наливаются кровью мышцы плеч, спины и шеи. И как постепенно растет горка наколотых дров. Даже Туман притих и залез в будку, наблюдая оттуда за происходящим. На крыльцо тихонько вышла мама.

И вдруг отец резко остановился. «Все, хватит», — тихо произнес он, а затем повернулся к жене и сыну, широко им улыбнулся — так, как улыбался только он — и, озорно подмигнув Вальке, сказал:

— Растопи-ка, сынок, баньку!

Жизнь закипела. Валька, как ошпаренный, метался по двору: надо было и воды натаскать и дров. Он слышал голос отца. Все было как прежде. Иногда, правда, казалось, что это сон, и тогда Валька щипал себя за руку или живот и без конца повторял: «Это не сон, это не сон!»

— Валентин! — кликнула его мать, — остановись. Носишься, как угорелый. Вот деньги, сбегай лучше в магазин. Купи хлеба, муки, сахара, консервы… что будет.

Он бежал по родной улице.

— Валька! Валька! — услышал он за спиной надтреснутый мальчишеский голос. Он обернулся. На крыльце одного из домов стоял худой, как щепка, слегка сутулый подросток и махал ему рукой.

— Степка! Привет. К нам отец приехал! — на бегу крикнул Валька.

— Ты кому кричал, сынок? — на крыльцо из дома вышел мужчина в пижаме с газетой в руке.

— К Вальке отец вернулся! С фронта!

— Какому Вальке?

— Русланову. Ты что, не знаешь?

12

Отец стоял на крыльце. На нем были широкие брюки, которые он до войны надевал на выход или по праздникам и его любимая белая полотняная рубаха. На улице было по-летнему тепло.

— Фу, фу, — Валька подбежал к овчарке с листком подорожника в руке и, оттеснив любопытного Тумана, осторожно подобрал шмеля.

— Это тебе, — отец протянул Вальке армейскую флягу, — ну, что, пошли?.

Он крепко взял Вальку за руку, и они вошли в сад. Тот год был урожайным: ветки яблонь, чтобы не сломались под тяжестью плодов, пришлось подпирать специальными рогатинами. Валька сам их выстругивал, уже без отца.

— Молодец, — похвалил его отец, — руки на месте.

Он сорвал яблоко и дал его Вальке, второе положил в карман брюк, третье надкусил сам.

— Здравствуй, Николай? — чей-то голос нарушил их счастливое существование. Отец от неожиданности резко обернулся.

— А, Степан! — выдавил он из себя.

— Ты что, испугался? — с легкой насмешкой спросил его мужчина в цивильном костюме и шляпе.

— А чего мне бояться, я у себя дома, на своей земле, — было заметно, что желания говорить с соседом у него нет.

— Надолго ли? — продолжил тот, как ни в чем не бывало.

— Завтра в часть возвращаюсь, — нехотя ответил отец, сжимая Валькину руку.

— Как там, на фронте?

— А ты съезди, посмотри, — давая понять, что разговор закончен, бросил отец.

— Зачем ты так! В тылу тоже люди нужны. Все для фронта, как говорят, все для победы. Я к тебе по-доброму, а ты…Зря, зря.

Последние слова Степана были сказаны уже им в спину. Они продолжили свой путь. Напряжение после разговора стало спадать: Валька почувствовал это на своей руке.

— Послушай, — вдруг оживился отец, — давай сходим лошадей посмотрим!

После яркого солнца в конюшне показалось темно. Пришлось немного постоять, чтобы привыкли глаза. Из стойл доносился шорох, и где-то из глубины послышался тихий лошадиный храп.

— Это он. Меня почуял, — прошептал отец. Они подошли к вороному жеребцу. Тот дернулся, захрапел, замотал головой. И тогда отец впервые отпу-

стил Валькину руку, чтобы обнять друга. Затем он что-то шепнул жеребцу на ухо, вынул яблоко и дал ему.

Потом они долго сидели в траве. Отец был в своих мыслях, но крепко держал Вальку за руку, то ослабляя, то напрягая свою. Валька незаметно наблюдал за ним, пытаясь догадаться, о чем он думает. И вдруг он со всей очевидностью понял, что больше отца никогда не увидит. Мысль была столь неожиданной и пронзительной, что у Вальки перехватило дыхание, а когда отпустило, слезы ручьем покатились из его глаз.

13

Шум мотора за спиной возвратил Валентина Николаевича из прошлого. Он еще раз окинул взглядом то, что осталось от родительского дома, и вышел на улицу. На дороге стоял трактор. Валентин Николаевич подошел ближе и увидел в кабине рабочего. Тот курил, облокотившись на баранку.

— Под кого копаем?

— А вы что, прораб?

— Нет, я здесь жил, когда тебя еще и в проекте не было?

Тракторист, видимо, не ожидал такого ответа от старичка, выпрямился и поменял тон:

— Детский сад на этом месте будем строить.

— Если детский сад, это хорошо, — Валентин Николаевич развернулся и пошел прочь. Не оборачиваясь.

14

Степан Степанович при появлении гостя засуетился. Сначала не знал, где посадить, потом решил провести по комнатам — показать, как живет. Подвел к стене с фотографиями, что-то говорил сумбурно, потом внезапно успокоился и, наконец, усадил Валентина Николаевича в гостиной в кресло, а сам стал сервировать стол.

— Так значит один живешь, — подвел итог Валентин Николаевич.

— Один, один. А ты?

— Я с женой.

— А дети где?

— Детей нет.

— Чего так? Для себя решили пожить? — в голосе Степана Валентин Николаевич уловил ехидные нотки.

— Дурак ты, Степан. Ленка, жена моя, после ранения рожать не могла.

— У меня сын, — как бы извиняясь, начал Степан Степанович, — а толку-то что? Может, оно так даже и обидней, когда родные дети про тебя забывают.

— У меня в Минске племяшки есть. Так я их тоже раз в год вижу, осенью, когда урожай на даче снимаю.

— Ты ведь в армии так и остался? — сменил тему после первой рюмки Степан Степанович.

— Да. В Иркутске училище авиатехников закончил, потом в Монголии с япошками воевал.

— Значит, и повоевать успел?

— Успел. Когда в Иркутск ехали, чуть ли не весь эшелон дизентерию подхватил. Вот картина, скажу тебе, была! Представь: зима, состав вынужденно останавливается в поле, а из него пулей вылетают сотни человек. Страшное дело. В Иркутск приехали тощие, зеленые. Уже в Монголии нам один доктор каждый день давал по стакану марганцовки. Там уже дизентерии не было. А ты помнишь, как мы уезжали?

— Не помню, — встрепенулся Степан Степанович.

— Как не помнишь?! Мы же всем классом в военкомат ходили!

— Меня отец не пустил.

— А у меня к тому времени отца уже не было, но мы с матерью еще об этом не знали. Хоть помнишь, как он приезжал в сентябре сорок первого?»

— Помню, конечно. Ты тогда в магазин бегал.

— Точно. Он из окружения вышел. Попал на формирование. А поскольку часть рядом была, его на сутки отпустили семью повидать.

15

Валька проснулся от истеричного лая Тумана. Первая мысль — чужие. За окном еще было темно. В сенях зашумели, затем открылись двери, включился свет. Он услышал незнакомые мужские голоса, хотел было встать, но вдруг занавеска откинулась, и к нему стремительно подошла мама. Тут же следом, за ее спиной возникло незнакомое скуластое лицо. Эти внимательные и колючие глазки, запрятанные под белесые пушистые брови, и торчащие щеткой такие же белесые усы, он запомнил на всю жизнь.

— Это кто? — осведомилось лицо.

— Это сын, — громко сказала мама.

Полчаса спустя они сидели с мамой рядом, обнявшись, не понимая, что произошло и, главное, почему?

16

— Ты любил своего отца? — неожиданно спросил Валентин Николаевич.

— Наверно… Он был обыкновенным, незаметным, что ли. Мальчишки часто гордятся своими отцами. У меня этого не было. Подростком, я однажды поймал себя на мысли, что не хочу быть на него похожим. А сейчас смотрю на себя и вижу его…

— Он тогда заходил к нам и видел отца.

— И что? О чем они говорили?

— Ни о чем. У отца было мало времени.

— Тебе отец что-нибудь рассказывал о той встрече?

— Нет.

— Как он умер.

— Да что ты к отцу прицепился? Тихий, незаметный был человек… Умирал тяжело.

— Ты прости меня, Степан, что вот так в твою жизнь лезу. Просто вспомнилось все. Давай на посошок. Пойду я.

— И чего вспоминать? Надо уже о другом думать. Тут проснешься иной раз среди ночи, и такой страх разбирает. Не знаешь куда деться.

— Собаку заведи.

— С собакой не поговоришь.

— Еще как можно!

— Слова человеческого услышать хочется, а не лая.

— Тогда табличку на калитке поменяй — здесь, мол, живет старый одинокий пес.

— А тебе все шутки. Как был пацаном, так пацаном и остался.

— Ты не обижайся. Я не со зла, — Валентин Николаевич встал из-за стола и потянулся к сумке.

— А, может, заночуешь? Куда на ночь глядя-то?

— Я как раз успеваю к электричке.

— Ну, прости, если что не так.

Они вышли на крыльцо. Валентин Николаевич остановил жестом Степана, чтобы тот его дальше не провожал, а сам спустился со ступенек, дошел до калитки, только тогда обернулся и махнул на прощание рукой.

17

Валентин Николаевич сидел в зале ожидания железнодорожного вокзала и вспоминал события минувшего дня. Сюда он ехал с тяжелым чувством и даже страхом. Сейчас же, к своему удивлению, он ощущал необыкновенную легкость. Вроде бы ничего и не делал, а словно камень с сердца свалился. Значит, не зря приехал, значит можно поставить точку.

Как-то незаметно Валентин Николаевич задремал. И снова он оказался на том же поле, но теперь они шли втроем: отец, мать и он. Опять дул сильный пронзительный ветер, и поле простиралось до горизонта. Теперь он мог видеть себя со стороны. Его немного удивило то, что он в таком же возрасте, как и сейчас, а отец и мать — молодые. Родители переглядывались между собой и улыбались, а ему было тревожно. Он украдкой посматривал на них и тоже стал понемногу успокаиваться. Они подвели его к тому же сараю. Он узнал его. Он остановился в нерешительности у двери, взглянул на родителей. Они улыбались ему и приглашали войти. Их спокойствие передалось ему, он шагнул внутрь и оказался в пустой, просторной, светлой комнате. Все это не вязалось с тем полем, по которому они шли, завывающим ветром и ветхим с виду сараем. Как будто он попал в другой мир — мир тишины и покоя. Он даже не слышал шума собственных шагов. Родителей здесь не было. Он огляделся и увидел на одной из стен огромное зеркало. Приблизился к нему. Это оказалось не зеркало, а большой экран, как в кинотеатре. В нем он увидел себя, как бы сверху, сидящим на скамейке в большом пустом зале. Он никак не мог взять в толк, как это могло случиться, что он и здесь и там одновременно. Пока он размышлял над этим обстоятельством, на экране появилась другая фигура. Раньше он ее не замечал. Это был мужчина. В руках у него была бутылка и стакан. Он подошел к сидящему Валентину Николаевичу и, видимо, что-то спросил. Не добившись ответа, тронул его за плечо. Потом еще раз. Валентин Николаевич, наблюдающий за происходящим, почувствовал его прикосновение. Сначала слабо, потом сильнее. А мужик наклонился над спящим Валентином Николаевичем и во всю тормошил его. Вдруг разом все исчезло: и экран, и комната, и сарай. И тишина. «Мужик, тебе говорю, пить будешь!?» — отчетливо услышал Валентин Николаевич, глубоко вздохнул и открыл глаза. Дыша перегаром, на него почти в упор смотрело знакомое лицо.

18

Степан Степанович прибрал со стола и вышел во двор. Ночь была необычайно звездная. Он глянул в небо, и показалось, что одна звезда ему подмигивает. «Как будто привет передает», — подумав так, он поплелся к калитке. ВороВато бросив взгляд на улицу — она была пуста — он сорвал с калитки фанерку.

Дома, усевшись в кресло возле телефона, он включил автоответчик. В динамике сначала кто-то по-стариковски прокашлялся, а затем заговорил: «Ну, в общем, ты, это, особо не горюй… Сходи на могилки, к отцу, матери, прибери их, а то скоро холода…» И после недолгого молчания: «Ну, и все, наверно… Пока».



ГЕОРГИЙ БАРТОШ

Вид из окна

Я больше никогда не буду горевать

Я больше никогда не буду горевать
Пускай моя любовь, как прежде, безнадежна,
Но ночь моя тиха, мне есть с кем ночевать,
Мне есть с кем песни петь и грезить осторожно.
Мне звезды с высоты мигают в полусне,
Мне травы шелестят приятные секреты,
И грустные стихи, как дань моей весне,
Уходят навсегда. Забыты? — Нет, пропеты.
Не дай мне бог опять тобой переболеть,
Отрочество мое, подвалы, голубятни.
Чем ближе мой предел, чем вероятней смерть,
Тем проще и ясней, тем легче и понятней.

Я привыкну и к дому, и к хлебу

Я привыкну и к дому, и к хлебу,
Я привыкну и к Богу, и к небу,
Я привыкну и к плачу, и к лаю.
Но одно мне никак не принять:
Я лишь в грезах тобой обладаю,
А на деле — не смею обнять.
Буду слушать тебя до рассвета.
Буду мерить все мерой поэта.
Рассуждать о томленье и беге,
Но подай мне прерывистый знак.
Я тебя растворю в своей неге,
Я тебя унесу на руках.

…У родных могилок посидели

…У родных могилок посидели,
на родные лица поглядели.
Кто там знает, год или неделя,
мы и сами в дальний край пойдем.

Но пока над нами светит солнце,
ветка яблоком стучит в оконце,
в рюмке не просвечивает донце,
согласимся — все в порядке, все путем.

Кто-то счет ведет своим печалям,
кто-то люльку детскую качает,
кто-то за сокровищем отчалит,
лишь меня минует этот гнет.

Знаю, что когда тоски в избытке
и конец ясней во мраке зыбком,
чья-то пусть случайная улыбка
к жизни, словно добрый врач, вернет.

Зима прошла зря

Зима прошла зря,
Я ни разу не увидел снегиря!

Когда я был маленьким
и, как положено интеллигентному мальчику,
был отдан в музыкальную школу,
то специально ходил на занятия дальней,
через частный сектор, дорогой —
только бы увидеть снегирей.
Задрав голову,
я замирал перед заснеженным деревом,
разглядывая пылающие грудки пичуг,
перепрыгивающих
с ветки на ветку…

И всегда опаздывал на урок.
Вечером училка звонила моей маме
и закладывала меня с тайным,
до сих пор мне непонятным,
сладострастием…

Как тяжело далась мне нынешняя зима!
Сколько здоровья потеряно,
Сколько не заработано денег,
Сколько недополучено и недодано любви!

А я,
Словно глупый, однажды и навсегда
завороженный мальчик,
Жалею о снегире.

08—09.05.2008

Мимо моего балкона

Мимо моего балкона
разъяренная мамаша
тащит сбежавшего из стоматологической поликлиники
упитанного десятилетнего сынишку.

Мальчик кричит:
«Мама, я умоляю, я умоляю тебя!»

Остановившись прямо напротив меня,
молодая женщина указывает сыну
на измазанные носки своих белоснежных сапожек
и говорит:
«А вот это ты слижешь языком!»

Я совершенно иначе взглянул
на отношения с моей собственной матерью.
Оказывается,
у меня было безмятежное детство:
у моей мамы не было демисезонной обуви белого цвета,
и к зубному врачу я ходил с папой.

16.04.2012

У нас во дворе снимали кино

У нас во дворе снимали кино.
У нас во дворе чего только не происходит,
теперь вот снимали кино.

Но не это главное.

Оказывается,
это очень шумный процесс.
Двор был забит фургонами,
издававшими бесконечные стоны и завывания,
между ними сновали люди,
громко и ожесточенно что-то друг другу выговаривавшие.

Но не это главное.

Героиня в светлом плащике нараспашку,
известное (мне, по крайней мере)
кинематографическое лицо,
пять раз пробегала двадцать метров до крыльца,
неуверенно (кокетливо, своенравно)
оборачиваясь на полпути.

Но не это главное.

Главное вот что:
во время перерыва
девушка с хлопушкой

маленьким платочком
вытирала пот со лба оператора
и нежно перебирала пальчиками его волосы.
И это было настолько настоящее,
что мне совершенно не хочется знать,
какое-такое кино
получится у них в результате.

28.04.2012

Пять часов утра

Пять часов утра.
Молодая женщина выходит из машины
и идет к своему дому
по тропинке, наискосок пересекающей двор.

Походка ее тяжела,
волосы растрепаны,
роза на длинном стебле опущена вниз
и едва не волочится по земле.

Но она улыбается,
или мне показалось?
По затылку человека трудно определить
улыбается он, или плачет.

Что он крикнул ей вслед —
мужик, поленившийся довезти
даму до самого подъезда?
Наверное, не хотел разворачиваться в чужом дворе
в утренних сумерках.

Что это было?
Грубая шутка в адрес женщины,
которая досталась ему безо всякого труда?
Ничего не значащее обещание перезвонить?
Или неуклюжая попытка выразить благодарность
предпринятая мужчиной,
который никогда не станет джентльменом?

20.07.2012

Над Вилейкой сейчас гроза

Над Вилейкой сейчас гроза,
Он оттуда — тревожный ветер,
Я не против и не за,
Я за ветер не в ответе.

Лишь свидетель того, как дождь
Через час сокрушит жару,
Смоет чад, смоет пот, смоет ложь
И утихнет поутру.

07.08.2012



СЕРГЕЙ ТРАХИМЕНОК

Уехать в Париж…

Киноповесть

Черный аист летел над взорвавшимся энергоблоком. И что удивительно, хотя солнце было за облаками, тень птицы стремительно двигалась по земле, словно символизируя время, которое не остановить и не замедлить…

Затем кадр сменился, и над энергоблоком вновь засияло солнце. Но уже в следующий момент оно стараниями оператора превратилось в черное пятно, из-за которого, похожие на множество рук, торчали золотистые лучи…

— События октября прошлого года, — произнес ведущий, — невозможно оценить однозначно…

Елена оторвала свой взгляд от видеоплеера и взглянула на экран телевизора, где на одном из русских каналов шла передача о событиях 3 октября 1993 года в Москве.

— Разумеется, — ответил ведущему оппонент, — все это крайне амбивалентно…

Елена тихо выругалась.

«Амбивалентность» самое модное слово начала девяностых годов двадцатого века. Кто его только не употреблял. Ученые говорили о глобальных переменах, причем один и тот же факт одни оценивали как катастрофу, а другие как вселенское благо, — необходимое разрушение старых связей, которые мешают человечеству развиваться. Третьи пытались примирить первых и вторых, ссылаясь на то, что жизнь и ранее была амбивалентна, и приводили слова Антуана де Сент-Экзюпери о том, что мавру колодец в пустыне, в котором вода вперемешку с верблюжьей мочой милей, чем фонтан в Париже.

В Париже…Почему именно в Париже? Только ли потому, что Экзюпери был француз, или Париж по каким-то причинам стал для эстетствующих интеллектуалов неким мерилом всего прекрасного…

Эта мысль на какое-то время отвлекла Елену от просмотра видеоплеера, но потом она снова вернулась к видеозаписи фильма «Звезда Полынь», где в конце восьмидесятых снялась в главной роли. Однако телевизор, а точнее полемика, происходившая в нем, мешали, и Елена выключила его, полностью сосредоточившись на видеозаписи.

А запись была некачественная, на экране все время тянулись продольные полосы, что создавало иллюзию старого пленочного кино. Но Елена так же, как мавр Экзюпери, не обращала на это внимания. Для нее скудный пейзаж Чернобыля был милей, чем набережная Брайнли, на которой она жила вот уже три года.

Елена нажала на кнопку пульта, остановив действие на эпизоде, в котором ее героиня отказывалась эвакуироваться из зоны радиационного заражения, поднялась с дивана и подошла к открытому окну.

Перед ней, как на рекламе, расстилался ночной Париж, матово-черный, поделенный на кварталы, освещенный миллионами электрических фонарей, со своим

фирменным знаком посередине — Эйфелевой башней, так же расцвеченной огромным количеством электрических огней.

Елена поймала себя на мысли, что три года в Париже не прибавили ей знаний о городе. Конечно, она посетила все, что предписывали туристические каталоги. Но и до приезда в Париж она знала, что Фонтенбло, проектировал и строил Бенвенуто Челлини, а в Лувр легче попасть через подземный торговый центр «Carrousel du Louvre», непосредственно со станции «Palais-Royal — Musee du Louvre» или же через вход, расположенный неподалеку от Арки Карузель. Если же идти обычным для туристов путем к «пирамиде», то можно настояться в таких очередях, которые даже у приезжих из стран бывшего соцлагеря вызывали оторопь.

И она не хуже любого гида могла рассказать о том, как проехать на остров-Сите и чем знаменита возвышающаяся там жемчужина французской готической архитектуры — кафедральный собор Нотр-Дам де Пари. А также поведать, почему писатель Ги де Мопассан, ненавидевший Эйфелеву башню, предпочитал обедать в одном из ее ресторанов.

— Это единственное место в Париже, — якобы говорил он, — с которого невозможно увидеть столь бесполезное и чудовищное сооружение, уродующее Париж.

Из окна четырнадцатого этажа почти не слышен гул автомобилей, и панорама Парижа выглядела рекламной и даже сказочной. Хотя, если спуститься вниз, то обаяние сказочности мгновенно улетучится, и ты попадешь в запахи чеснока, стоялой воды, бензиновой гари и собачьих экскрементов.

Об этом ей не раз говорил сын Павел, когда приезжал в Париж. Павел учился в радиотехническом институте в Минске и имел возможность приезжать к ней только на летних каникулах.

Елена вернулась к дивану, посмотрела на часы. На циферблате было два часа ночи. Значит в Минске двенадцать. Павел уже должен быть дома. Она набрала номер телефона. Но телефон на квартире Павла молчал.

— И где может быть этот несносный мальчишка? — произнесла Елена вслух.

* * *

А несносный мальчишка в это время «оттягивался» в дискобаре комплекса «Олимпийский» в Минске в доброй тысячи километров от Парижа. Именно в тот момент он пригласил на танец свою подружку по имени Жанет. Они поднялись из-за столика и стали проталкиваться сквозь толпу танцующих в центр зала.

Тут только стало видно, что Павел на голову выше своей партнерши и вполне соответствует своему возрасту и третьему курсу вуза, а его ровесница Жанет больше походила на маленькую девчонку-подростка. Причем подростка-задиру. Об этом свидетельствовало не только ее выражение лица, взгляд чуть исподлобья, демонстративное отсутствие косметики, но и черные не глаженные брюки и коричневая трикотажная кофточка без рукавов, больше похожая на майку.

Когда они достигли середины танцпола, дискжокей сменил пластинку, и голос Юры Шатунова запел про дикие розы.

— Боже, какие рифмы, — произнес Павел, — розы — морозы.

— Нормальные рифмы, — ответила Жанет, — мне нравится.

— В свое время Пушкин поиздевался над читателями, которые опускались до таких рифм или ждали такие рифмы.

— Огласи, — лениво, в такт движениям, произнесла Жанет.

— И вот уже трещат морозы, и серебрится средь полей, — начал Павел и сделал паузу.

— Ну… а дальше?

— Читатель ждет уж рифмы розы, на вот, возьми ее скорей…

— И что?

— Здорово, тебя не впечатляет?

— Не-а.

Музыка закончилась, и Павел с Жанет стали проталкиваться обратно к своему столику.

— Возьми два коктейля, — сказала Жанет и вытащила из кармана брюк несколько смятых бумажных купюр.

Павел взял их и направился к бару.

* * *

Елена снова набрала номер. Результат тот же самый. Тогда она позвонила мужу.

— Бонжур, — произнесла она после того как произошло соединение, — Гаетан, я третий день не могу дозвониться ему домой,

Мужской голос, говорящий по-французски, стал успокаивать ее.

— Сегодня мне приснился страшный сон, — перебила его Елена.

— Не всем снам надо верить, — произнес мужской голос, уже на плохом русском.

— А тут еще тебя нет…

— Дорогая, — ответил мужчина, — у меня дела… за пределами Франции.

— А у меня проблемы…за ее пределами, — капризно произнесла Елена.

— Ну, ну, больше оптимизма, пока нет повода для беспокойства. Павел молодой человек, он мог уехать на пикник с товарищами.

— Он не ездит на пикники с товарищами. Он кроме своих компьютеров ничем не интересуется.

— Ну почему же, у него есть подружка. Возможно, он проводит время с ней или у нее.

— Глаза б ее не видели. Тебе надо было уговорить его остаться в Париже во время последнего приезда.

— И как бы я это все сделал?

— Поговорил бы по-мужски.

— Я с ним говорил.

— Значит, не так говорил.

— Так, так. И могу сказать совершенно серьезно, он не хочет жить в Париже.

— Да, — согласилась Елена… — Ты как всегда прав. Он действительно не хочет жить в Париже. Извини за тон. Я постараюсь найти Ирину, она как раз на съемках в Минске.

— Кто есть Ирина?

— Ирина — моя подруга и сокурсница по ВГИКу. Она известная российская актриса, снималась у Бондарчука-старшего.

— А что есть еще и Бондарчук-младший?

— Есть и младший.

— Поступай, как считаешь нужным.

— А ты как бы поступил на моем месте?

— Мне трудно быть на твоем месте, точнее я не могу быть на твоем месте. Но если все так серьезно, ты можешь слетать в Минск на неделю-другую, — сказал Гаетан и положил трубку.

* * *

Расплачиваясь за коктейли, Павел краем глаза заметил, как за их столик подсел нагловатый парень и что-то сказал Жанет. Однако, увидев, что Павел возвращается к столику, парень вскочил со стула и, напевая: «Ви олл лыв ин зе йеллоу субмарин!» — исчез.

— Кто это был? — спросил Павел.

— Валет, — ответила Жанет.

— И кто такой Валет?

— Шестерка Кривого.

— Странное сочетание, Валет — шестерка Кривого. И что ему надо?

— А то ты не знаешь?

— Не знаю, — с оттенком ревности произнес Павел.

— Ну, так знай. Он напомнил о твоем долге Кривому.

— Как они нас нашли?

— А мы что, скрывались что ли?

— Нет, но все-таки. Дома я не появляюсь…

— Нашел тоже способ скрыться, — произнесла Жанет, опуская соломинку в стакан.

В это время к их столику подошел бритый парень в белой футболке, на которой сверхкрупными буквами было написано «СССР».

Он по-хозяйски сел на свободный стул.

— А это кто? — спросил Павел у Жанет.

— А это Боб, — ответила Жанет с некоторой иронией, — он тут самый крутой.

— Точно, — подтвердил Боб, — а знакомы мы с твоей подругой по клубу «Кик файтер», куда она одно время ходила тренироваться…

— Да? — удивился Павел и посмотрел на Жанет.

— Да, да, — ответила Жанет и с неприязнью взглянула на Боба. Но тот не обратил на это внимания.

— Я могу решить твои проблемы, — сказал Боб, обратившись к Павлу.

— Он сам их решит, — ответила за Павла Жанет.

— А с тобой, крошка, базара нет.

— Шел бы ты, дядя… лесом, — произнесла Жанет.

— Да ты стала шустрой, — заметил парень.

— Я ей и была, — тут же отреагировала Жанет

— Я сам разберусь, — прервал их перепалку Павел.

— Ну, разбирайся, — произнес Боб,— но учти, с каждым днем цена моей помощи будет возрастать.

Боб поднялся со стула и враскачку пошел к бару.

— Он действительно что-то может? — спросил Павел у Жанет.

— Да, — ответила та, — он может кирпичи головой бить, этого у него не отнимешь.

* * *

Минск. Комплекс «Олимпийский». Из дверей вышел парень в белой футболке с надписью на спине «СССР». Он пытался поймать такси. Но машины, не останавливаясь, проезжали мимо.

Неподалеку от входа в «Олимпийский» стояли «Жигули» шестой модели, а возле них Валет.

— Позвони Коляну на пейджер, — сказал одному из сидящих в салоне.

— Я на мобилу еще не собрал, — ответил тот.

— Позвони из автомата, — сказал Валет, не прекращая наблюдать за парнем в белой футболке.

— Не надо звонить, — раздался голос из салона, — он уже подъезжает.

И действительно, к крыльцу «Олимпийского» подкатила старенькая «Ауди».

— Тебе куда, мужик? — спросил ее водитель парня в белой футболке.

— На Юго-запад, — ответил тот.

— Садись, нам почти по пути.

— Это че, — сказал парень в белой футболке, — такси че ли?

— Такси, — ответил водитель.

— А где шашечки?

— Слушай Боб, не выеживайся, тебе нужны шашечки или ехать?

— Да ты меня знаешь? — делано удивился Боб.

— Да кто же тебя не знает, — польстил ему водитель.

— А… тогда едем, — сказал Боб, влезая на место возле водителя.

Как только Боб сел в машину, она сразу тронулась с места, а за ней тут же устремилась «Жигули-шестерка». Однако на перекрестке за Главпочтамтом, «Жигули» обогнали «Ауди».

— Мы не потеряем его? — спросил один из сидящих в салоне Валета.

— Потеряем сегодня, достанем завтра…

— Цезя сказал, что нужно сегодня.

— Почему сегодня?

— Здесь все как в дрессировке, зверь сделал не то, его щелк по носу… в назиданье другим.

— Ну-ну, — Валет, — дрессировщики.

— А ты против? — с некоторой угрозой произнес кто-то в салоне.

— Да нет,— ответил Валет — раз Цезя сказал.

— Не упоминал имя Цези всуе, — ответил тот, кто только что угрожал собеседнику, и все в салоне заржали.

А в «Ауди», который значительно отстал от «Копейки», тоже шел разговор.

— Тебе куда на Юго-западе, — спросил водитель, — к Таллину?

— Ты че, пацан, — ответил пассажир, — Таллин на Западе, а я тебе про Юго-запад базарил.

— Я дальше Таллина не поеду.

— А я тебе не заплачу.

— Твои дела, — ответил водитель и остановил машину.

Боб, какое-то время думал, что ему сделать со строптивым водителем: щелкнуть по лбу или будет достаточно, что он не оплатит проезд. Наконец, он остановился на втором варианте и стал выбираться из машины, нарочито хрипло напевая:

> Уходим под воду, в нейтральной воде,
> Мы можем по году, плевать на погоду…

«Ауди» рванула с места и скрылась в темноте. Вдалеке слева от Боба просматривался силуэт кинотеатра «Таллинн», справа через дорогу — капустное поле.

Боб перешел дорогу и поплелся вдоль нее, продолжая хрипеть под Высоцкого.

> А если накроют,
> локаторы взвоют
> О на-а-шей,
> беде-е-е…

Неожиданно, как будто выросшие из под земли, перед ним возникли трое подростков в странной черной одежде, шерстяных спецназовских масках на головах и рифленых шнурованных ботинках. В руке у каждого арматурный прут.

Мистики утверждают, что в последние минуты жизни перед человеком открывается то, что называется истиной. Все, что произошло в последний час этого вечера, сложилось в цепь связанных друг с другом событий, Боб все понял.

И все его бойцовское нутро возмутилось этим.

— Щенки, — зарычал он, — да я вас… как Тузик грелку…

Он первым бросился на подростков. Но тут произошло то, чего он никак не ожидал. Один из подростков ловко упал ему в ноги. Боб споткнулся и оказался на четвереньках. А подростки начали бить его прутами по основанию черепа.

Все закончилось в несколько секунд. Уже после первого удара Боб захрипел, втянулся и затих.

— Хорош, — сказал один из нападавших, — уходим.

— Уходим, — согласился тот, который падал в ноги Бобу.

Он отряхнул с колен дорожную пыль и демонстративно наступил рифленым ботинком на белую футболку Боба.

— Привет от Цези, — произнес он, и троица покинула место разборки.

* * *

На улице Янки Купалы, одна сторона которой является краем парка имени Горького, стояли уже знакомые читателю «Жигули».

Возле автомобиля, дверца которого была открыта, прохаживался Валет. Он время от времени посматривал на часы, а потом произнес:

— Пора, — и пошел прочь от машины.

А в это время Павел и Жанет спускались по лестнице, ведущей от Центрального дома офицеров к парку Горького.

— Тебя твоя мамаша не зовет жить в Париж? — спросила Жанет.

— Зовет, — ответил Павел.

— А ты?

— Мне и здесь хорошо.

— Ни хрена, хорошо, — произносит Жанет, — тебя прессуют со всех сторон.

— А, — беззаботно ответил Павел, — все рассосется, уж больно все наиграно и рассчитано на дураков… Ты так не считаешь?

Жанет пожала плечами и перевела разговор в другое русло.

— А как твоя мамаша попала туда?

— По интернету.

— Как?

— По интернету.

— А кто ее с интернетом познакомил?

— Я, кто же еще…

— А я бы тоже уехала в Париж, — сказала Жанет. — Я про Париж много читала. Я в детстве хотела, чтобы меня звали Пиаф.

— Кто звал? Подруги?

— Подруги? — передразнила его девушка, — я дружила исключительно с мальчишками.

— Точнее, командовала ими?

— Они сами хотели этого.

— И они стали звать тебя Жанет?

— Нет, они звали меня Цезарь.

— Почему Цезарь?
— Потому, что Юлия.
— Да я не про то, почему как мужчину?
Жанет пропустила вопрос мимо ушей и продолжила.
— Я даже пиццу училась готовить…
— Пицца это блюдо итальянцев, — сказал Павел.
— В Париже ее тоже едят, — безапелляционно произнесла Жанет.
— Наверное, — ответил Павел, пытаясь найти компромисс.
— Увидеть Париж… — мечтательно произнесла Жанет.
— И умереть?
— Почему умереть? — настороженно спросила девушка.
— Роман такой есть детективный, — ответил Павел.
— А…
— А ты что подумала?
— Да так, ничего.

Неожиданно перед ними возникла фигура долговязого пьяного парня. Он, не обращая внимания на Павла, раскинув руки, загородил дорогу Жанет. Жанет остановилась перед ним, быстро и технично, будто всю жизнь занималась этим, ударила парня ногой в пах, а потом нанесла боковой удар в челюсть.

Все это произошло настолько стремительно, что звук от удара кулаком по челюсти еще висел в воздухе, а парень уже мешком лежал на земле.

Жанет переступила через него и, как ни в чем ни бывало, продолжила путь.

— Ему надо помочь, — сказал Павел, оглядываясь на лежащего на асфальте парня.

— Обойдется, — зло произнесла Жанет, — он сам хотел этого.

Молодые люди спустились к парку, а затем свернули направо и поравнялись с автомобилем, от которого только что отошел Валет.

— Пахнет больницей, — сказал Павел.
— С чего бы это? — произнесла Жанет.
— Паренек, — спросил кто-то из темноты, — не подскажешь, который час?

Павел посмотрел на часы. В это время кто-то сзади зажал ему рот полотенцем с хлороформом.

* * *

Съемки фильма с рабочим названием «На рубеже девяностых» проходили на острове Любви неподалеку от санатория «Юность» в окрестностях Минска. Двенадцатиэтажный корпус санатория был виден издалека, и операторам приходилось изворачиваться, чтобы он не попадал в кадр, поскольку экранным местом действия фильма была Россия, а снимался он для удешевления сметы на белорусской площадке, точнее на площадке «Беларусьфильма».

Ирина Скринкина играла в фильме роль матери главной героини, взбалмошной девицы по прозвищу Саке. Почему девица имела такое прозвище из той части сценария, которую читала Ирина, было непонятно. Впрочем, и самого сценария с точки зрения классического образца не было. Был какой-то набросок, который группа молодых сценаристов-рабов переделывала под идеи, возникавшие у главного режиссера.

Согласно уже отснятому материалу девица по прозвищу Саке постоянно попадала в какие-то неприятные истории, но судьба благоволила ей и она выбиралась из них без больших потерь. Зато ее мать постоянно находилась на грани нервного срыва, поскольку переживала за свою беспутную дочь.

Вот и сейчас она сидела в кресле в садике своей дачи, умело выгороженном художниками возле каких-то кустов, и ждала звонка припозднившейся дочери. Рядом с креслом стоял белый пластмассовый столик, на котором располагался телефонный аппарат, не то стилизованный под старину, не то действительно настолько старый, что мог бы быть реквизитом в клипе о прекрасной маркизе, у которой «Все хорошо, все хорошо».

В трех метрах от столика была камера, вокруг нее хлопотал оператор и стоял режиссер фильма, которого все за глаза звали Светиком, поскольку он был молод и имел имя Святослав.

Светик не имел кинематографического образования, но очень хотел снять «забойное» кино. Впрочем, имея папу российского олигарха, снять кино было делом не трудным. Вот только будет ли оно «забойным».

Дубль за дублем повторялась пытка под названием: что-то не так.

После каждого дубля Ирине хотелось взорваться и сказать:

— А что же не так? В конце концов, я всего лишь актриса, а вы режиссер. Дайте мне подсказку, что бы вы хотели видеть в кадре или наоборот, чего бы не хотели видеть.

Но все в жизни приходит к концу. Закончились и съемки этого эпизода.

И тут Светик, сама мягкость, хоть к ране прикладывай, предложил:

— Ирина Васильевна, чувствуется, что вас что-то беспокоит?

— Вы хороший психолог, — польстила ему Ирина, — подруга звонила вчера из Парижа, просила поговорить с ее сыном.

— Возьмите мою машину, — ответил на это режиссер, — а потом отдохните в гостинице, завтра у вас ответственные эпизоды.

Водитель машины был минчанин, мало того — он уже много лет работал на киностудии и знал в лицо и по имени многих российских актеров.

— Прошу, Ирина Васильевна, — сказал он распахивая дверцу машины, — вам куда?

— Проспект Шевченко, — ответила Ирина.

— Бульвар, — поправил водитель, — домчу как на кочерге.

* * *

Виктор Ходкевич — следователь городского управления внутренних дел, осматривал место происшествия. Впрочем, осматривал он его ни шатко ни валко, понимая, что перед ним чистое убийство, и дело придется передавать в прокуратуру.

В свое время Ходкевич окончил юрфак БГУ, попал по распределению в милицию, но прижился там только наполовину, как специалист был ценен, но своим среди следователей так и не стал. И, наверное, в качестве компенсации этого, он имел множество друзей в оперативных подразделениях, которые часто выручали его в ситуациях почти безвыходных.

Вот и сейчас рядом с ним был Валерий Толстуха — оперуполномоченный угрозыска, малый быстрый, пронырливый, со стальным взглядом настоящего опера, который видит не два, а на все три метра под землей, а уж сидящих перед ним подозреваемых может просвечивать насквозь без рентгеновского аппарата.

Ходкевич только что сделал снимки трупа парня в белой футболке и ждал возвращения Толстухи, который ходил кругами возле места происшествия, осуществляя осмотр по принципу от центра к периферии.

Наконец Толстуха закончил «круговые» движения и вернулся к Ходкевичу.

— Слушай, а ты знаешь, почему на тебе все ездят? — сказал он.

— Очень хочу узнать, — не без иронии ответил Ходкевич.

— Потому, что ты все можешь. Вот сейчас согласился ехать без эксперта, почему?

— Потому что он здесь не нужен, — ответил Ходкевич.

— А где он может быть нужен?

— На происшествии более сложном, — ответил Ходкевич.

— А ты мыслишь сразу за начальника следотдела.

— Я мыслю как государственник, а не как местечковый дознаватель, — ответил Ходкевич.

— Ну-ну, — ответил опер, — продолжай мыслить. Но только скажи, кто будет делать слепки следов?

— Я, — ответил следователь. — У меня следственный портфель, где есть все необходимое.

— И гипс у тебя там есть?

— А как же. И даже плошка, в которой все это нужно размешать. Вот только палочки нет. Но это не беда.

— Почему не беда?

— Потому что со мной на осмотре места происшествия опер Толстуха, который добудет мне эту палочку.

— Ловко, — ответил Толстуха, но тут же нашелся.

Он пошел к дороге, остановил несколько автомобилей и вернулся обратно с большой дранкой в руках.

— На твое счастье водила вез стройматериал на дачу, — сказал он и протянул Ходкевичу дранку.

Ходкевич стал размешивать гипс в плошке, а опер принялся расхаживать вокруг трупа.

— На след не наступи, — проворчал Ходкевич,

— Учи ученого, — ответил ему Толстуха, — но ходить вокруг трупа перестал и вернулся к следователю.

— Ученый, криминалистику сдавал? — спросил его следователь.

— Учил, — ответил тот.

— Какой консистенции должен быть гипс пред заливкой в след.

— Консистенция густой сметаны, — ответил Толстуха.

— Кто у тебя принимал экзамен?

— Порубов.

— Нужно подсказать ему, что он зря тебе поставил положительную оценку.

— А что, неужели жидкой? — с каким-то испугом произнес опер.

— Все зависит от того, какова среда, в которую необходимо залить состав.

Залив след разведенным гипсом, оба встали и, ожидая, когда гипс застынет, закурили.

В это время приехала труповозка. Санитары после недолгого разговора с Ходкевичем погрузили труп парня в белой футболке и уехали.

Стоящие в стороне и выполняющие роль понятых, два рабочих из продмага облегченно вздохнули. За все время осмотра ни один из них не решился посмотреть на труп.

Выкурили еще по одной сигарете, и следователь вывернул слепок из земли и стал рассматривать на свет.

— Ну что? — спросил опер.

— Тот же самый, — ответил следователь.

— И отпечаток, и почерк?

— Да, это опять банда Цези.

* * *

Подвал частной дачи. В углу тускло горела маленькая лампочка. Посередине подвала находились два больших стула с высокими спинками. К одному из них веревкой привязан Павел. Рот его заклеен скотчем. Павел только что очнулся после наркоза. Он тряс головой, пытаясь взбодриться и прийти в себя.

В это время дверь подвала открылась, вошел мужчина с шерстяной маской на лице.

Некоторое время он смотрел на Павла, затем сделал снимок фотоаппаратом, отодрал со рта Павла скотч и сел на стул напротив.

— Привет, герой, — произнес он.

— Почему герой? — спросил Павел.

— Хорошо держишься, — ответил мужчина.

— Это лесть, чтобы расслабить меня? — спросил Павел.

— Тебе не нужно расслабляться, — сказал мужчина, — тебе нужно собраться.

— Хорошо, — сказал Павел, — я соберусь. Где Жанет?

— Не спеши путник, — сказал мужчина, — а то ботинки порвутся, дойдем и до Жанет. Но сначала познакомимся, меня зовут, ну скажем, Виктор Петрович.

— А меня — Павел.

— Прекрасно, я пришел поговорить с тобой. Через минуту я тебя развяжу. Но это будет через минуту. А сейчас я удовлетворю твое любопытство, с твоей подругой все в порядке.

Мужчина бросил на пол письмо.

— Потом почитаешь…

После этого мужчина развязал Павла.

— Что вам нужно?— спросил его Павел, — когда веревки не только упали на пол, но и были отброшены мужчиной в угол подвала.

— Не все сразу, — ответил мужчина, все эти проблемы мы решим с тобой после заключения некоего соглашения.

— Какого соглашения?

— Взаимовыгодного, от которого все будут в выигрыше, а в особенности ты…

— Я ничего не буду делать…

— Совершенно верно… Ты ничего не будешь делать…А я — почти ничего, только позвоню Кривому, которому ты задолжал две косых зелеными, и подскажу, где тебя найти… Звонить?

— Звони…те…

— Или еще один вариант: сообщу, где находится твоя подружка.

— Звонить?

— Нет…

— Вот это правильно… А теперь к делу и короче…

— Мы сегодня же звоним твоей мамаше в Париж и сообщаем, что ты попал в скверную ситуацию. Она приезжает сюда и выручает тебя, ну скажем, за десяток тысяч зеленых…

— У нее нет таких денег.

— Это ее проблемы. Точнее ее мужа миллионера.

— Он не миллионер.

— Это тоже не так важно. Мы не будем обсуждать этот факт. Грешно считать деньги в чужих карманах. Мы просто получаем их, отстегиваем тебе две тысячи — долг Кривому и отпускаем тебя… Но до этого ты все время проведешь здесь. Гальюн за углом, пожрать тебе будут давать пару раз в день… разносолов не обещаю, но с голоду не умрешь…

— И это все?

— Разумеется. Будешь хорошо себя вести, подбросим литературы, чтоб было не скучно. Детективчиков с десяток. Почитаешь что-нибудь о киднеппинге.

— А где Жанет?

— Она в другом месте…

— Пусть она будет здесь.

— Э, нет, Жанет у нас что-то вроде дополнительного якоря. Будешь кочевряжиться, мы тебя кормить не будем, ну, а начнешь вола крутить… в общем ей будет плохо. Идет?

— Идет.

— Вот и ладненько, а сейчас возьми ручку и черкни несколько слов матери…

* * *

Париж. Набережная Брайнли. Квартира Елены Потаповой. Елена собирает сумку в дорогу. Короткие звонки телефона. Елена некоторое время стоит в оцепенении, затем снимает трубку аппарата.

— Але, это Елена Потапова?

— Да, а вы… из милиции?

— Да, нет, что вы. Мы такие же люди, как и вы.

— Тогда, кто вы?

— Это из Минска, говорят друзья вашего сына, — произнес голос в трубке.

— Кто вы?

— Я же сказал, я друг вашего сына.

— Что с ним?

— Не волнуйтесь, с ним все в порядке, он жив и здоров. Попал в неприятную историю, но ему еще можно помочь. Срочно выезжайте в Минск.

— Что с Павлом?

— Я же сказал, он жив и здоров и ждет вашего приезда, во всяком случае, пока.

— Что значит, пока?

— Все течет, все изменяется, сегодня он ждет, а завтра пошлет вас подальше, если вы не проявите некую оперативность.

— Как я его найду?

— Мы сами вас найдем.

— Куда мне позвонить?

— Остановитесь у него в квартире, и с восемнадцати до двадцати каждый день ждите моего звонка.

— А…

В трубке раздались короткие гудки. Елена положила трубку на рычаг и без сил опустилась в кресло. Однако скоро вскочила и стала звонить мужу.

* * *

Та же натурная площадка на острове Любви возле санатория «Юность».

Группа готовится к съемкам эпизода, в котором Саке попадает в очередную неприятную историю. Свободные от съемок актеры стоят в стороне. Среди них — Ирина Скринкина и водитель машины режиссера.

— Небольшая репетиция, — кричит в мегафон режиссер, — начали.

Молодая актриса, играющая роль Саке, сходит с платформы понтонного моста на землю.

Двое парней загораживают дорогу Саке. Убежать девушке не удается.

— Помогите, — кричит она.

— Стоп, — произносит в мегафон режиссер, — что это за крик о помощи?

— Святослав Юрьевич, — ответила актриса, — я все это вытяну на озвучке.

— Ладно, пусть будет так. Еще одна репетиция. Героиня пошла… хулиганы пошли…

Все повторяется. Девушка зовет на помощь.

В кадре появляется третий парень. Между хулиганами и им завязывается драка.

— Стоп, — говорит режиссер, — герой, в конце мизансцены не поворачивайся спиной к камере. Первый хулиган… более агрессивно… — Обращается к оператору:

— Его возьмем крупняком.

— Крупняком лучше взять второго хулигана, — отвечает оператор.

— Почему?

— У него лицо специфичное, оно о многом без слов говорит.

— Хорошо, — соглашается режиссер, — первый дубль.

— Откуда каскадеры? — спросила Ирина водителя режиссерской машины.

— Выписные…из Прибалтики.

— Когда-то в Минске была своя группа актеров-каскадеров, — сказала Ирина, — с ними Елена Потапова на одном курсе во ВГИКе училась.

— Когда-то у нас все было, — неопределенно ответил водитель.

— Где они сейчас?

— Кто где, — усмехнувшись, ответил водитель. — Борода занимается автосервисом, Влад — ушел в цирк, Юрась вообще стал вольным художником…

— Художником? — удивилась Ирина.

— Ну да, — ответил водитель, — вольным.

И щелкнул себя средним пальцем по кадыку.

— Разговоры на площадке, — прервал их диалог режиссер и обратился к оператору, — у нас второй хулиган вываливается из кадра после падения?

— Нет, — ответил оператор, — глядя в видоискатель, там все в порядке.

— Тогда снимаем. Дубль два.

* * *

Мастерская по ремонту автомобилей в боксе бывшей воинской части в поселке Степянка.

Из конторки выходит Борода. На нем клетчатая рубашка с закатанными рукавами. Поверх нее надет комбинезон из джинсовой ткани. Он подходит к черному БМВ, поднимает капот и проверяет уровень масла.

Из двери той же конторки появляется собственник автосервиса Борис.

— Хозяин сказал, что он только что залил масло, — произнес он, видя, манипуляции Бороды.

— В шестидесятые годы на экраны страны, — сказал Борода, — вышел фильм «Тишина». В нем был такой эпизод. Проходит партийное собрание, и один из героев обвиняет другого в трусости на фронте, хотя все, о чем он говорил, на самом деле было наоборот.

— Ну да, — согласился Борис, — это же понятно, язык нам дан, чтобы лгать.

— И все присутствующие согласны с обвинителем, потому что он аргументирует свои слова. Все, кроме одного. И вот этот один вдруг заявляет:

— Я не верю тихоням с плечами боксеров.

— А при чем тут наш БМВ?

— Ну, во-первых, он не наш, а клиента, а во-вторых, я не верю хозяевам БМВ, даже если они говорят, что только что залили в систему масло.

— Почему, они не заинтересованы в хорошем состоянии двигателя?

— Нет, здесь все как с боксерскими плечами. Я еще ни разу не видел, чтобы крутые выбрали себе «Вольво» или «Фольксваген», это, как правило, спортивные машины, тяжелые джипы и, конечно, БМВ.

— Все ясно, ты уже составил перечень неисправностей?

— Да.

— И там нет замены свечей?

— Да здесь не в свечах дело, — ответил Борода.

— А ты все равно поменяй. Раз владельцу кто-то втемяшил, что виноваты свечи, значит причина именно в них, а уж потом во всем остальном... И так должно быть всегда, иначе мы потеряем клиента... Клиент всегда прав, так?

— Так, тем более, что стоимость свечей оплачивает тот же клиент.

— Вот видишь, ты постепенно осваиваешь азы автобизнеса.

— А как насчет финского воздуха в колеса, у нас его только что завезли контрабандой из Одессы?

— Если клиент закажет, накачаем ему и финского воздуха.

* * *

Цирк. Идет представление. Высоко под куполом работает воздушный акробат. Вот он спускается вниз, и становится видно, что это парень лет двадцати. Он раскланивается и убегает с арены. Но затем снова возвращается на поклон, неловко зацепив ногой опилки. Когда парень вновь убегает с арены, появляется униформист с метлой в руках. Он ловко сметает опилки с ковра и уходит в проход.

Пока арена готовится к следующему номеру, на ней появляются два клоуна и начинают дурачиться, заполняя перерыв.

Один из них, явно пожилой, подходит ко второму, молодому, и показывает ему на лысого мужчину, сидящего в первом ряду зрителей.

Молодой клоун согласно кивает головой и бросается к мужчине. Он вытаскивает из-за пазухи огромную расческу и протягивает ее своей жертве.

— Возьмите, это приз от руководства цирка самому волосатому посетителю.

Мужчина отнекивается.

— Возьмите, возьмите, — говорит клоун, — это приз, он дается бесплатно, то есть даром.

Публика хохочет.

— Да берите же, — говорит клоун.

И тут происходит то, чего клоун никак не ожидал. Мужчина выхватывает у него из рук расческу и сует ее во внутренний карман пиджака.

Теперь наступает очередь растеряться молодому клоуну.

— Отдай…те расческу, — говорит он.

— Ты же сказал, что это приз, — искренне говорит зритель, — не отдам.

На помощь молодому клоуну спешит клоун пожилой, но он так неловко цепляет одной ногой за другую, что падает, ударившись головой о край барьера, отделяющего арену от зрителей.

Вздох ужаса раздается в цирке, молодой, воспользовавшись замешательством, выхватывает у зрителя расческу и бросается убегать, но тоже неловко падает.

— Влад, — раздался мужской голос, обращенный к униформисту, — тебя распорядитель ищет.

— Иду, — ответил униформист и пошел внутрь огромного брюха цирка, где стояли клетки с тиграми. К одной из них была прислонена длинная лестница, на вершине которой находился электрик, меняющий сгоревшую лампочку.

«Нашел время, — подумал Влад, — такие вещи никогда по цирковым правилам не делаются во время представления».

И только он подумал об этом, как один из тигров вдруг бросился на прутья клетки. От толчка лестница начала падать, а электрик успел ухватится за висящий канат. Но это только усугубило дело. Лестница, став гораздо легче, стремительно падала на одного из служителей, который к тому же стоял спиной и не видел опасности. Влад одним прыжком оказался рядом с ним, оттолкнул его, но, поскользнувшись, упал на пол. И когда уже казалось, что гибель его неизбежна, ловко перекатился в сторону. Лестница упала на то место, где он только что находился.

* * *

У магазина в ожидании, когда собутыльник принесет выпить, стоял третий бывший каскадер Юрась.

Собутыльник, наконец, появился и почему-то потащил Юрася в сквер, что находился рядом с магазином.

Там он заговорщицки оглянулся, вытащил руку из кармана, в которой было несколько смятых «зайчиков».

— Ну и че? — спросил его Юрась.

— Дык это… не хватило.

— Как не хватило, вчера хватало…

— Дык это… инфляция.

Молодой парень шел мимо них. Видя «соображающих» мужиков, обошел их стороной. Но остановился, узнав Юрася.

— Вы Юрась? — произнес он.

— Ну…— не слишком любезно ответил каскадер

— Вы снимались в…

— Ну…

Молодой человек смотрел на Юрася, словно сомневаясь, что это он.

— Он, он, — затараторил собутыльник, раньше Юрася понимая, что с этого гуся-поклонника можно слупить несколько десятков рублей… — Где он только не снимался… Слушай, мужик, он тебе автограф, а ты это, нам … у нас совсем немного на бутылку не хватает.

— Нет проблем, — ответил парень и вытащил кошелек.

— Все, кина не будет, — произнес Юрась, осмыслив ситуацию, — я за бутылку автографы не даю.

— Ты че, Юрась, — бросился к нему собутыльник, — он со всей душой, а ты его обидеть хочешь. Да и не за бутылку, за деньги…

Неожиданно для всех из-за кустов появляется еще один мужик в сильном подпитии.

— Че выеживаешься, — деловито говорит он Юрасю, — дай парню автограф, будет на что похмелиться.

— Пошел ты, — отвечает Юрась и пытается уйти.

Но мужик настроен серьезно. Он заслоняет путь бывшему каскадеру. Однако просчитался. Юрась ударил его подъемом стопы под колено, «сложил» на землю и продолжил свой путь.

— Да ты не обращай на него внимания, — суетился вокруг парня собутыльник, — ты деньги мне дай, а я его не обижу, все будет… как у корешей…

Парень дает собутыльнику деньги. Тот бросается к магазину.

* * *

Салон самолета. В одном из кресел сидит Елена.

Рядом средних лет мужчина, пытающийся заговорить с ней по-французски.

Елена, занятая своими мыслями, не отвечает.

— Мадам ничего не желает, — спросила стюардесса, толкая впереди себя тележку с напитками.

— Нет, — ответила Елена по-русски.

— Дак ты русская, — произнес мужчина, — бери, все это входит в стоимость билета. Я, когда первый раз летел, не знал этого. Ты первый раз летишь?

— Второй, — ответила Елена.

— А… — разочарованно произнес сосед по креслу и обратился к стюардессе, — а мне виски и пепси.

Пока сосед манипулировал с напитками, смешивая их в разных пропорциях, повторяя время от времени, что все это вставляет не хуже экстэзи, Елена закрыла глаза и предалась мыслям о том, как она будет выручать Павла.

«Может быть, сразу поехать в милицию?»

Но она и до отъезда в Париж плохо ориентировалась в иерархии государственных органов и не могла отличить милицию от суда, а суд от прокуратуры. Что было говорить о сегодняшнем времени. Ведь она уехала в Париж в девяносто втором, в момент разрухи и утраты всех ориентиров.

— А в Париже ты была по туру? — спросил ее сосед, расправившись, наконец, с напитками.

— Я там живу.

— И давно?

— Давно.

— Тогда тебе нужно пройти курс адаптации к нашей действительности.

— Обойдусь, — ответила Елена так, чтобы у собеседника пропало желание продолжать разговор.

Но собеседник даже не почувствовал этого.

— Не обойдешься, — сказал он, — ты даже представить себе не можешь, что произошло здесь, после распада СССР. Это другая страна. Точнее другие страны. Здесь другие люди и другие отношения между ними.

— Но рождаются они также как и в советское время? — зло спросила Елена.

— Рождаются также, — заржал мужчина, — но это единственное, что осталось прежним.

* * *

В аэропорту Елена взяла такси и поехала в город. На бульваре Шевченко она попросила остановиться и до нужного дома пошла пешком, хотя с тяжелой сумкой это было неудобно.

«А вдруг действительно мне нужна адаптация к жизни в Минске?»

Елена внимательно смотрела на встречных прохожих, не столько оценивая их, сколько наблюдая за реакцией на себя.

Но прохожие были заняты своими делами, своими мыслями и не обращали на Елену внимания. Это ее успокоило.

Она поднялась на третий этаж и позвонила в квартиру, в надежде, что сын окажется дома, а все предыдущее было лишь дурацкой шуткой.

Но на звонок никто не ответил. Тогда Елена позвонила в квартиру напротив.

Дверь открыла баба Валя, впрочем, бабой ее звал Павел, а для Елены она была тетей Валей.

Тетя Валя, увидев Елену, всплеснула руками и стала плакать, заплакала и Елена.

— А я теперь каждый день квартиру открываю, — говорила она причитая, цветы поливаю, и все жду, может объявится… ты надолго? Давай я тебя покормлю…

Отказавшись от завтрака, Елена взяла ключи и открыла дверь в квартире Павла. Впрочем, это была ее квартира, в которой она оставила сына три года назад, уехав в Париж.

В квартире было чисто, видимо, тетя Валя кроме поливки цветов сделала уборку.

Елена переоделась, перекусила йогуртом и стала ждать звонка.

В самом начале назначенного времени телефон зазвонил.

Елена сняла трубку.

— Как долетели? — спросил мужской голос.

— У вас уже не принято здороваться?

— Принято, принято, — пошел на попятную голос.

— Где мой сын?

— Я же сказал, что он в безопасности. Впрочем, вы сами можете убедиться в этом.

— Как?

— Спуститесь к почтовому ящику, возьмите послание от него. А потом мы продолжим наш разговор.

Елена спустилась на первый этаж, открыла почтовый ящик, там действительно лежал конверт. Она взяла его и поднялась на третий этаж в свою квартиру.

Елена еще не дочитала письмо до конца, как вновь зазвонил телефон.

— Как видите, мы держим свое слово, — сообщил ей тот же голос. — Что вы решили?

— У меня нет таких денег.

— Сейчас у вас их действительно нет, но их нужно достать. Я думаю, сутки-другие вам хватит, чтобы что-то придумать, связаться с вашим мужем…

— У мужа тоже нет таких денег.

— Елена, не знаю как вас по батюшке, этого не может быть, для иностранца это небольшая сумма…

— Это не так, просто у вас сложился миф о том, что все иностранцы либо миллионеры, либо безработные, на самом же деле…

— Ну, ну, не надо так горячиться. Вспомните шпионский фильм «Семнадцать мгновений весны». Там одна очаровательная блондинка по имени Барбара говорит радистке Кэт: «У вашего шефа нет запасного передатчика». Так вот я говорю вам, что у вашего мужа… Короче ваш муж достаточно состоятельный человек, чтобы помочь вам выручить из беды вашего сына.

— Хорошо, я попытаюсь что-нибудь предпринять.

— Попытайтесь, но все о чем мы говорили, должно остаться между нами… Я думаю, это-то вы хоть понимаете?

— А-а, так вы не всемогущи, вы боитесь…

— Елена, мне нечего бояться, бояться нужно вам и вашему сыну. Понятно?

— Да.

— Вот и отлично, я позвоню вам завтра в это же время.

* * *

Минск. Кабинет следователя Ходкевича.

Ходкевич только что закончил говорить по телефону, как вдруг раздался осторожный стук в дверь. Стук был очень робкий, так никогда не стучит человек,

вызванный к следователю повесткой, так мог стучать только человек, который сомневается в правильности принятого им решения пойти к следователю.

Ходкевич поморщился, из этого следовало, что сейчас в кабинет войдет тот, кого он не планировал принимать. А значит, он потеряет время на пустые разговоры или не нужные консультации.

— Входите, входите, — произнес Ходкевич и замер на полуслове, потому что в кабинет к нему вошла Елена Потапова…

— Здравствуйте, — произнесла Елена, — меня послали к вам.

— Очень хорошо, что послали, — нашелся Ходкевич

— Я вчера прилетела из Франции… — продолжала Елена.

— Позвольте ваши документы, — сказал следователь.

Елена протянула ему паспорт.

— Боже мой, — сказал Ходкевич, — а я думаю, почему мне кажется, что где-то уже видел вас. Вы играли в «Черном аисте», «Звезде Полынь», а потом неожиданно куда-то исчезли. Так?

— Так. Но я хочу…

— Кстати, как вы оказались в Париже? Вас перестали снимать, и вы получили статус преследуемой режимом?

— Нет, — едва сдерживаясь, ответила Елена. — Электронная сваха нашла мне там мужа.

— Везет же людям, — произнес следователь…— Моя жена всю жизнь мечтала побывать в Париже…

— Я тоже, — сказала Елена, — и как видите, мое желание сбылось. Возможно, оно сбудется и у вашей жены. Но мы сейчас в Минске, и я хочу заявить о том, что у меня пропал сын, и меня шантажируют…

— Хорошо, — сказал следователь, продолжая изучать паспорт Елены, — а вы гражданка Беларуси?

— Да, но какое это имеет значение?

— Да, действительно, никакого…

— Вот видите…

— Так кто же вас шантажирует?

— Мне трудно сказать, но какой-то мужчина позвонил мне в Париж и сказал, что с Павлом случилась беда.

— Откуда он знает ваш телефон?

— Не знаю, наверное, они выбили его у Павла…

— Выбили… Я бы на вашем месте не делал столь скоропалительных заявлений.

— Но мне кажется, что это действительно так, — произнесла Елена,заметно волнуясь.

* * *

Дверь, которая вела из подвала наверх дома, оказалась не столь основательной, как это показалось Павлу вначале. И он стал время от времени колотить в нее каблуками туфель.

Однако прошел час, второй, но никто не отзывался. В конце концов, Павел устал и присел на один из стульев. И тут послышались шаги, дверь отворилась, и появился мужик в шерстяной маске.

— В чем дело? — спросил он Павла.

— Я хочу видеть Жанет.

— Мне бы твои заботы…

— Я хочу видеть Жанет!

— Почему ты хочешь видеть Жанет?

— Мне кажется, что с ней плохо обращаются.

— Тебе, как и мамочке приснился страшный сон?

— Это не имеет значения…

— Это как раз и имеет значение. Мы с тобой договорились о том, что ты ведешь себя прилично. Так?

— Я с вами не договаривался.

— Ты че, парень, или мы начнем базар с тобой сначала. Ты сам хочешь подставить свою подружку. Так, пожалуйста, я только свистну, и желающих найдется целый взвод. Или ты этого не понял?

— Я хочу видеть Жанет.

— Слушай, а почему ты не уехал к мамаше в Париж?

— Я не хочу жить в Париже.

— А где ты хочешь жить?

— В Минске.

— Впервые вижу идиота, которому предлагают Париж, а он предпочитает Минск.

— Я хочу видеть Жанет.

— Слушай, чтобы у тебя не сложилось впечатление, что ты тут мной командуешь, я тебе помогу последний раз.

— Я хочу видеть Жанет.

— Хорошо, — ответил мужик, — схожу за мобильником.

* * *

Кабинет следователя.

— Ну что ж, — сказал Елене Ходкевич, — пусть будет так.

И протянул ей лист бумаги.

— Пожалуйста, собственноручно, обо всем, что вы мне рассказали.

Елена взяла бумагу и начала писать. Следователь стал ходить рядом, время от времени заглядывая ей через плечо и удовлетворенно хмыкая.

— Так, — сказал он, когда Елена закончила, — укажите примерный возраст звонившего.

— Я его не видела.

— А зачем вам его видеть. Пусть вам это подскажет женская интуиция. Хотя…

— Что хотя?

— Не будем продолжать. Я думаю, через день другой вы сами мне это скажите.

— Что я могу сказать вам, кроме того, что сказала?

— Ну, наверное, что-то еще, — немного стушевавшись, сказал следователь. Он взял лист из рук Елены, и попросил расписаться под текстом.

— Вы найдете похитителей?

— Мы будем искать, но в моей практике такие дела никогда не заканчивались поимкой похитителей.

— Почему?

— Как правило, в течение нескольких дней выяснялось, что все это либо шутка, либо похищенный находился сам, либо…

— Что «либо»?

— ... Либо заявитель отказывается от своего заявления.

— Почему?

— Мне, как вы говорите, трудно объяснить мотивы поведения заявителей…

— Я не возьму своего заявления назад, не надейтесь.

— Дай-то бог, Елена…Как вас по батюшке? — следователь заглянул в заявление, — Леонидовна.

* * *

Снова за дверью подвала послышались шаги, поворот ключа, и в подвале вновь оказался мужик в шерстяной маске. В руках он держал большой мобильный телефон.

— Почему так долго? — подозрительно спросил Павел.

— А ты что, стал уже моим боссом? Не много ли послаблений, юноша?

— Почему так долго? — упрямо повторил Павел.

— Питание село, — уклончиво ответил мужик и протянул трубку Павлу так, что у того сложилось впечатление: похититель только что получил некие инструкции, как себя вести с Павлом в дальнейшем.

— Жанет, — сказал Павел в трубку, — с тобой хорошо обращаются?

— Да.

— Ты где?

— Вопрос снимается, — произнес мужик и потянулся к Павлу, чтобы забрать трубку.

Но Павел увернулся и продолжил разговор.

— Почему ты молчишь? — спросил он Жанет.

— Со мной все в порядке, со мной хорошо обращаются…

В трубке слышатся гудки. Мужик забрал у Павла трубку:

— Как ты мог слышать, с ней все в порядке, — сказал он.

— Как вас зовут? — спросил вдруг Павел, надеясь зацепить мужика и выведать информацию о месте пребывания Жанет.

— У тебя плохо с памятью? — спросил мужик. — Я ведь тебе говорил, что меня зовут Виктор Петрович. Но если тебе этого мало, зови меня посредником, можешь с большой буквы. Это, во-первых, а во-вторых, не пытайся запудрить мне мозги. Я все твои заморочки и хитрости за версту вижу и чую.

Посредник направился к входной двери.

— Послушайте, — спросил Павел, — что за странный у вас телефон?

— Телефон как телефон, — ответил мужик, запирая за собой дверь.

* * *

Как только Елена покинула кабинет Ходкевича, тот сразу стал набирать номер телефона своего начальника. Но начальника на месте не оказалось. Тогда Ходкевич связался с Толстухой и рассказал ему о заявительнице.

— Сходи к боссу, — отреагировал на рассказ следователя Толстуха, доложи ему все и внимательно проследи за реакцией.

— Лады, — ответил Ходкевич.

Работа не шла на ум, и Ходкевич направился к кабинету начальника.

Тот оказался на месте.

— Не мог до вас дозвониться, — сказал Ходкевич.

— Да, я отключил телефон, — ответил начальник, — не дают работать, что у тебя?

— Снова щемящая душу история с похищением, — ответил Ходкевич.

— Щемящая, говоришь? Излагай.

И следователь рассказал начальнику о посещении его Еленой Потаповой.

— И все это не бред любвеобильной мамаши, которая сначала уехала за границу, затем начала видеть кошмарные сны и теперь пытается весь свет поставить на уши? — спросил начальник, крутя в руках острозаточенный карандаш.

— Чтобы не оказаться в плену женских фантазий, я попросил написать заявление собственноручно, — сказал следователь.

— Растешь на глазах, — заметил на это начальник. — Напечатай постановление о возбуждении уголовного дела, но хода не давай. Возможно, завтра она откажется от заявления…

— Я сказал ей то же самое.

— А она?

— Она ответила: не надейтесь.

— Не надейтесь, не надейтесь…— произнес начальник, задумчиво постукивая по столу пальцами.

— Тогда я приступаю к подготовке постановления о возбуждении уголовного дела?

— Приступай, но оставь мне на часок ее заявление, а потом можешь забрать, — произнес начальник.

* * *

Елена, волнуясь, ждала телефонного звонка в квартире Павла. Часы показывали двадцать ноль-ноль, Елена смотрела на телефонный диск, как кролик в глаза удава. Прошло еще полчаса. Она совсем извелась. И тут только телефон зазвонил.

— Добрый вечер, Елена Леонидовна, — произнес уже знакомый голос, — как провели день на родной земле?

— Нормально, — ответила она чужим голосом, потому что тональность говорившего не сулила ей ничего хорошего.

— А я так не думаю, — произнес голос, — я же просил вас не сообщать о нашей беседе никому. А вы меня не послу-у-шались…

— Я не сделала ничего… — начала Елена.

— Хватит болтать, — оборвал ее голос, — сделали, сделали, и мне пришлось много усилий потратить, чтобы убедить коллег по бизнесу, не предпринимать ничего, что могло бы причинить вред Павлу.

— А что ему могло грозить? Он ведь не преступник.

— Конечно, нет. Это всего лишь мальчишка, который залез в долги и не хочет, а точнее не может их отдать. И мы в свою очередь, тоже не садисты, мы люди бизнеса. Но мне действительно пришлось много сделать… Я очень сожалею о том, что поверил вам. Сказать, что вы там, в Париже, оторвались от реалий нашей жизни, значит, ничего не сказать. Хотите маленький парижский анекдот? В Париже из окна четырнадцатого этажа выбросился русский турист.

Елена вздрогнула, но не на слово русский, а на номер этажа.

— Так вот, — продолжал голос, — допрашивают свидетельницу-француженку. А она и говорит: этот мужчина пришел ко мне в гости, как это принято у них, то есть у нас, без подарка. А я, как это принято у нас, приняла его.

«Господи, — подумала Елена, — и этот дебил считает, что это французский анекдот».

Но она никак не отреагировала на ту пошлость, которую пытался поведать ей собеседник. Она молчала, понимая, что своими действиями может причинить вред Павлу.

— Он, как это принято у них, вылакал все шампанское, а я, как это принято у нас, пошла принять ванну. В это время в дверь позвонил мой муж. Я, как это

принято у нас, подошла к двери и сказала: Жан, у меня в гостях мой друг, погуляй где-нибудь пару часов. А он, как это принято у них, выпрыгнул в окно. Как вам анекдот?

— Честно говоря, никак.

— Вот видите, никак. И это потому, что мы уже по-разному смотрим на все, что происходит. Вам понятно к чему я?

— Нет.

— О, Елена Леонидовна, какая вы непонятливая. Вы всего лишь пошли в полицейский участок, как это принято в Париже, а туда не нужно было ходить, как это принято у нас. Ясно?

— Ясно. Что я должна сделать…

— Вот это другой разговор.

— Так что вы от меня хотите?

— Пока немногого, завтра вы пойдете в милицию, и заявите, что сын нашелся. Он позвонил, скажем, из Барановичей и сообщил, что находится у друга…

— Хорошо, я сделаю это…

— Уж сделайте, пожалуйста…Да, не забудьте еще, что после совершенного, названная сумма удваивается…

— Но…

— Никаких но. За все надо платить. В том числе за собственную глупость. И не надейтесь на то, что вам кто-нибудь поможет. Тем более, лимит вольностей закончился… Хотя, о чем это я, вы же умная женщина и прекрасно понимаете, что у нас везде свои глаза и уши… В подтверждение этого, вы помните вашего соседа по креслу в салоне самолета? Ведь он вас предупреждал, что к нашим условиям нужна а-дап-та-ция. Он вам советовал как лучше, а вы ему «Обойдусь…» А как вы думаете, откуда у меня ваше отчество? То-то. Я позвоню вам завтра в это же время…

* * *

Утром следующего дня Елена была у следователя.

— Добрый день Елена Леонидовна, — сказал Ходкевич, увидев актрису в дверях своего кабинета, — что привело?

— Я прошу меня извинить, но мне хотелось бы взять свое заявление обратно.

— Почему?

— Мне кажется, что вы не справитесь с этой задачей.

— Вот как?

— И что же подвигло вас к такому выводу? Мой внешний вид или наш с вами разговор.

— Ни то, ни другое. Хотя я могу вам сказать следующее. Вообще-то, я Львовна по отчеству. Во всяком случае, все мои друзья знают это, но вчера я в волнении сказала вам, что я Леонидовна.

— Но это не существенный факт для дела.

— Для дела может быть и не существенный, а вот для меня очень даже существенный.

— Елена Леонидовна, — произнес следователь, — у нас государственное учреждение. Вчера вы сделали заявление, а сегодня собираетесь взять его обратно.

— Ну почему же. Вы сами уговаривали меня вчера забрать заявление.

— Я уговаривал?

— Вы.

— Нет, я мог вчера сказать, чтобы вы хорошо подумали, прежде чем писать заявление, но уговаривать забрать его я не мог. Это не в моих правилах.

— Хорошо, пусть будет вашему. Я забираю свое заявление.

— Елена Леонидовна, похищение людей — преступление, относящееся к так называемым делам публичного обвинения. И они не прекращаются от того, что заявитель собирается забрать свое заявление. Вам этопонятно?

— Да.

— Тогда в чем дело?

— Я хотела сказать, что мне позвонил Павел из Барановичей и сообщил, что с ним все в порядке.

— А если он позвонит завтра из тех же Барановичей и скажет, что теперь с ним не все в порядке. Вы опять напишите заявление…

— Нет, на этот раз я поняла, что действительно поторопилась…

— Хорошо, я доложу руководству.

— Большое вам спасибо.

* * *

Такси выехало за кольцевую дорогу и помчалось по шоссе в сторону санатория «Юность».

Елена села в такси на заднее сиденье. Водитель оказался парнем словоохотливым.

— Мадам любит сидеть сзади? — спросил он.

— Мадам любит сидеть сзади, — ответила Елена.

— Я где-то вас видел, — сказал водитель, — мадам не работала в технологическом?

— Мадам не работала в технологическом, — ответила Елена.

— Мадам подвезти к санаторию?

— Нет, — ответила Елена, — к острову Любви.

— А-а, — почти закричал водитель, — теперь я понял, где вас видел, вы актриса и едете на съемки.

— Да, я актриса, — сказала Елена, — но еду не на съемки.

Водитель остановил машину возле понтонного моста.

— Все, — сказал он, — дальше можно только на лодке.

Елена вышла из машины, перешла по понтонному мосту на остров и оказалась рядом со съемочной площадкой, на которой шли съемки очередного эпизода фильма.

Елена остановилась в отдалении, так чтобы не помешать работе оператора, но и слышать все, что происходит на площадке.

А на площадке, на импровизированной скамейке сидела Ирина. Камера «наезжала» на нее. Затем следовала пауза и Ирина произносила.

— Осень еще не наступила, а листья на деревьях уже желтеют…

— Стоп, — произнес режиссер, — менее драматично. Вот если бы героиня знала, что они желтеют в последний раз, тогда такая тональность имела бы смысл. Еще раз и ближе к прозе. Меньше пафоса.

— Камера, мотор…

Ирина повторила фразу.

— Снято, — констатировал режиссер.

Ирина поднялась со скамейки и направилась к Елене.

— Ты давно прилетела? — спросила она.

— Позавчера.

— Пойдем, у нас есть трейлер для отдыха… заграничных артистов.

Подруги вошли в трейлер. Елена устало опустилась на стул.

— Его похитили, — сказала она.

— Ты сообщила в милицию?

— Да, но они тут же об этом узнали…У них везде свои люди. Что мне делать? Они даже знают, о чем я говорила в самолете.

— А вот это обычный психологический трюк, — произнесла Ирина, — ты же актриса и должна чувствовать фальшь утверждения «у нас везде свои глаза и уши». Они просто встречали твой самолет и «разговорили» позже твоего соседа по салону.

— Зачем им это?

— Чтобы сломать тебя психологически.

— Чем?

— Своей осведомленностью.

— Ты так считаешь?

— Да, я так считаю.

— Что же мне делать?

— Честно говоря, я не знаю, что тебе делать. Тем более, что я у вас в гостях, то есть на съемках. Слушай, а если обратиться к вашим ребятам. Они местные, может, чем и помогут.

— Где их искать? Да и смогут ли они помочь?

— Что ты меня об этом спрашиваешь? Попытка не пытка.

— Может, ты и права.

— Тогда подожди немного. Здесь работают минские светляки*. Я спрошу, каких найти.

* * *

В кабинет следователя вошел Толстуха.

— Ну, брат, — сказал он, — докладывай обстановку.

— А че ее докладывать, — отозвался Ходкевич.

— Опять? — опередил его Толстуха.

— Опять, — сказал следователь.

— И как это случилось на этот раз?

— Тривиально, — сказал следователь, — как и все предыдущие разы. Отказалась от своего заявления.

— Это подтверждает наше предположение об утечке информации? — спросил опер.

— Совершенно верно, подтверждает, но нам ничего не дает. Главное, мы не знаем, откуда она может утекать?

— Слушай, а если нам подключиться к ее телефону.

— Основание? Она забрала заявление, шеф был вне себя от ярости. Хорошо, хоть второй экземпляр не отправили в наблюдательное производство. Шеф говорит, что накануне пенсии ему такие выверты ни к чему.

— Стоп, стоп, — сказал Толстуха, передразнивая Ходкевича, — шеф был вне себя от ярости?

— Не верю.

— Твоему шефу по барабану, что кто-то забрал назад заявление. И очень странно, что он проявляет такую эмоциональность.

— Ты намекаешь…

---

* Светляками на киностудии называли осветителей.

— Я высказываю версию…

— Версия принимается.

— Хорошо, принимается, а дальше что. Я-то тебе зачем понадобился? Чего ты хочешь?

— Знать откуда идет утечка.

— А вдруг она действительно нашла похищенного?

— Нет, это невозможно. Все эти похищения осуществляются по очень простой, если не сказать примитивной, схеме. К нам приходит заявитель и приносит бумагу о похищении родственника. На следующий день он забирает это заявление. Значит, кто-то либо следит за заявителями, либо утечка информации происходит…

— Правильно, происходит отсюда.

— Следовательно, есть два способа подтвердить это. Установить за Потаповой наблюдение, разумеется неофициально. Или в нашей конторе вычислить того, кто мог информировать похитителей.

— Возьмись за свою контору, — сказал опер, — а я… понаблюдаю за француженкой. Правда, плотности не гарантирую. У меня работы полон рот. Да и наблюдение без санкции …

* * *

— Все хорошо, — сказала Ирина, возвращаясь в вагончик. — Вот тебе номер Саши Бороды. Он сейчас в автобизнесе трудится.

— А если телефон устарел?

— Тогда спроси Влада или Бороду в летнем кафе у Немиги… Или, того лучше, смотайся в мастерскую, что находится в какой-то Степянке..

— А я как на грех такси отпустила.

— Ничего я попрошу директора, он по старой памяти поможет.

Водитель знал Минск и домчал Елену к мастерской, где работал Борода, менее чем за сорок минут.

Елена вышла из машины и тут же увидела бывшего каскадера, который был в комбинезоне и колдовал, склонившись над мотором какой-то иномарки. Ей показалось, что он играет очередную роль в кино.

— Здесь работает звезда советского кинематографа Саша Борода?— спросила она, подойдя к машине.

— Ленка, — ответил Борода, — ты чего это к нам из-за моря? На съемки что ли?

— Почти, — сказала Елена, и на глаза ее навернулись слезы.

— Нам надо конфиденциально поговорить? — видя это, спросил Борода.

— Да, Саша, — всхлипывая, ответила Елена, — ты всегда был проницателен.

— Садись в машину…

Борода наскоро вытер руки и сел в старый «Вольво», краем глаза заметив, что Елена «на хвосте» привела к мастерской опера, который сидел в машине Ходкевича и наблюдал за контактом Елены и Бороды.

Понимая, что попал под колпак, он сказал Елене.

— Не пугайся, мы сейчас поедем и поговорим по дороге. Так будет правильней.

— Ты полагаешь, что они могут…

— Я попытаюсь проверить, нет ли за тобой хвоста…

Борода завел двигатель и медленно выехал с площадки мастерской.

— Ты совершенно права, — сказал Борода, когда они выбрались на проспект, — на милицию надежды нет. Но в городе есть крутые ребята, которые могут тебе помочь.

— Бандиты?

— Да, но я думаю не грешно использовать одних бандитов против других. Я сегодня свяжусь кое с кем, выясню, возьмутся ли они за это дело.

— Они потребуют за это деньги?

— Разумеется… Но это будет гораздо меньше, чем требуют с тебя похитители. Тут дело принципа. Кто-то занимается на их территории. И, следовательно, подвергает их опасности. Понятно?

— Не очень.

— Да зачем тебе все это понимать… Жди моего звонка вечером.

— Но мне должны позвонить до восьми.

— Значит, я позвоню раньше. Ты говорила, что у Павла была подружка?

— Да, ее зовут Жанет, но вообще-то она Юлия. Ты подозреваешь ее?

— Нет, но шерше ля фам…

Высадив Елену, Борода сделал крутой разворот и еще раз убедился, что за ним следует тот же автомобиль, который он заметил рядом с мастерской. Неожиданно для преследователя Борода свернул к узкому проезду, перегороженному огромным бетонным блоком. На глазах изумленного опера машина Бороды, качнувшись, вдруг начала двигаться на двух колесах и миновала проезд. Опер остановился перед преградой. Чертыхаясь, он пытался развернуть машину, однако мотор начал чихать, а потом и совсем заглох. Опер, ругаясь, вышел из машины и поднял капот.

А Борода тем временем доехал до улицы Янки Купалы, поставил машину на стоянку и вошел в здание цирка.

* * *

Около семи вечера в квартире Елены зазвонил телефон. Елена сняла трубку.

— Лена, это я, — прозвучал в трубке баритон Бороды, — не волнуйся.

— Все нормально?

— Да. И стоить это будет в пределах разумного.

— Сколько?

— Сейчас не об этом. Сегодня ты должна напроситься на встречу с тем, кто тебе звонит.

— А если он откажется?

— Не откажется, скажи ему, что ты не доверяешь телефону и хочешь обсудить некоторые детали лично. Договорись встретиться с ним где-нибудь у парка Челюскинцев.

— А если он не поедет туда?

— Скажи, что плохо знаешь город в других местах. Ясно? И сразу же перезвони мне. На встречу поедешь на моей машине. Хотя, нет. Сделаем иначе. Я подвезу тебя туда сам. Все. Отбой.

Последующие полчаса до звонка посредника Елена провела как на иголках. Она повторяла слова, которые должна была произнести, поймав себя на мысли, что делает это, как много лет назад, готовясь к той или иной роли в кино. Она ходила по комнате и с различными интонациями произносила.

— Я согласна на ваши условия… Я согласна на ваши условия…

Снимая трубку зазвонившего телефона, она еле сдерживалась, чтобы не выпалить весь подготовленный текст сразу.

— Здравствуйте, Елена Леонидовна, — сказал посредник, — как вы?

— Не тяните кота за хвост, я все сделала, как вы просили. Я согласна на ваши условия. У меня просто нет другого выхода… — тут она остановилась, интуитивно понимая, что нужна пауза.

— Вот и отлично…

— Но детали по телефону я обсуждать не буду. Давайте встретимся.

— Это так неожиданно.

— Вы боитесь?

— Я ничего не боюсь…

— Тогда давайте встречаться, и как можно скорее, чем раньше вы получите то, что вас интересует, тем раньше я увижу сына, так?

— Так-то оно так, но вы ведь еще не имеете на руках нужной суммы?

— Сумма не ваши проблемы, — разошлась Елена, — а мои… Давайте встречаться. Мне было бы удобным сделать это где-нибудь за парком Челюскинцев.

— Почему именно там?

— Я давно не была в Минске и плохо ориентируюсь вечером в других местах.

— Ну, пусть будет так.

* * *

Елена доехала с Бородой до поворота с проспекта Скорины на улицу Макаенка. Здесь Борода остановил машину, оставил Елене ключи и исчез в темноте аллеи.

Оставшись одна в автомобиле, Елена попыталась тронуться с места, но мотор заглох. Вторая попытка была более удачной, и к переезду детской железной дороги она уже освоилась с управлением незнакомого автомобиля.

Остановила она свою машину с тыльной стороны парка Челюскинцев.

Машин вдоль дороги было немного, а обогнала ее только одна. За рулем ее сидел молодой парень. Елена подумала, что он не мог быть посредником, поскольку тот явно старше.

Елена не догадывалась, что это был автомобиль следователя Ходкевича, за рулем которого сидел опер Толстуха. Он проехал к зданию спортивной школы, остановил машину и поднял капот, делая вид, что пытается разобраться в причинах неисправности мотора.

Елена, открыв зачем-то все дверцы, сидела в машине уже минут пятнадцать. И вдруг мужской голос произнес.

— Не оборачиваться, выйти из салона, повернуться лицом к машине.

— Господи, — подумала она, — как в кино. Вот сейчас или такой фразой должна была закончиться серия… И чего только не придет в голову от волнения…

Она испугано и почти механически выполнила команды невидимого ей человека.

— Хотели меня надуть?

— Нет, у меня и в мыслях не было…

— А вам не приходило в голову, что ваш телефон прослушивается?

— Приходило, — сказала Елена, лихорадочно соображая, действительно ли похитители прослушивали телефон или это опять психологический прием. Поэтому я попросила вас встретиться и поговорить без телефона.

— И правильно, такую возможность надо было предполагать, прежде чем вы даете использовать себя в качестве приманки ментам.

— Ментам? — повторила последнее слово Елена и поняла, что это проверка. Ее пытаются взять на пушку.

— Не ломайте дурака, — сказала она, — я приехала сюда, для того чтобы обсудить все, что меня интересует без телефона. Я приехала одна, а не в сопровождении бригады милиционеров. Это вы мне звонили?

— Да, — сказал мужчина, — это я вам звонил.

— Мне можно повернуться к вам лицом или вы еще боитесь меня? — произнесла Елена уже с легкой иронией.

— Разумеется, можно. Мне нужно было убедиться, что вы не ведете двойную игру.

— Нет, — произнесла Елена, — я веду только одну игру… что с Павлом?

— С ним все в порядке, только не пытайтесь у меня узнать что-нибудь еще. Я всего лишь человек, который отрабатывает долги ребятам, занимающимся похищением людей…

— Как мне вас называть?

— Зовите меня переговорщик. И о чем же мы будем говорить, если вы не похититель?

— Меня послали оговорить условия передачи денег.

— А условия передачи Павла?

— Одно предполагает другое.

— Где он сейчас?

— Ответ на этот вопрос не входит в мою компетенцию.

Вдалеке появились огни автомобиля. Мужчина умолк и стал ждать, пока автомобиль проедет мимо. Но именно в это время из-за кустов появились две мужские фигуры. Они набросили пришельцу мешок на голову и подтащили его к приближающейся машине. Мгновение — «переговорщик» и его похитители скрылись в салоне, и автомобиль, развернувшись, удалился от места, где стояла Елена, ошеломленная случившимся.

Опер находился слишком далеко, чтобы как-то отреагировать на все, что произошло. Однако он все же бросился в машину, но впопыхах забыл опустить крышку капота. Ругаясь, он вышел, опустил капот и вновь сел за руль, продолжая наблюдать за автомобилем Елены. Увидев, что машина актрисы развернулась и поехала вдоль парка, тронулся и поехал вслед за ней.

* * *

Утром следующего дня Толстуха ввалился в кабинет Ходкевича.

— На проспекте Скорины у ресторана «Витязь» стоит припаркованный Опель-кадет госномер 32-74. Его хозяин некто Дражнин Николай Федорович. По непроверенным пока данным это он подъехал на автомобиле к ресторану «Витязь», оставил его там, а сам пешком пересек парк и встретился с Еленой Леонидовной.

— А где он сейчас?

— Хороший вопрос, но у меня нет ответа.

— И что из всего этого следует?

— Ясно одно. Елена Леонидовна заключила союз с некоей криминальной группировкой, которая обещала ей помочь лучше, чем ты со своей милицией. Только у нее это может не получиться.

— Почему?

— Видишь ли, преступный мир пошел опытный и осторожный. Они в качестве переговорщиков используют должников, но не своих, а тех, кто должен другим фирмам и фирмочкам. Так что, если в их лапы и попался Дражнин…

— Этот Дражнин когда-то работал у нас, но ушел в бизнес. А там действительно прогорел и многим задолжал.

— Что будем делать? О визите Елены Леонидовны знали трое: я, мой начальник и секретарша отдела.

— Постарайся узнать, не ушла ли информация о заявлении к кому-либо от секретарши или твоего начальника.

— Как?

— Разумеется, оперативным путем.

— Это не свойственный мне путь, я следователь…

— А я…занимаюсь не свойственной мне деятельностью и это ничего?

— Почему, не свойственной. Как раз именно операм и свойственной, только вот немного незаконной.

— Ну, хватит, — передразнил его опер и ехидно произнес, — немного незаконной… Немного незаконно, — это как слегка беременная женщина…

* * *

Дражнин сидел в каком-то подвале, привязанный веревками к спинке стула. В подвале было темно, так как источник света — электрическая лампочка, была где-то за стеной, и лучи света пробивались в подвал через вентиляционную шахту.

Но вдруг вспыхнул свет, да такой яркий, что Дражнин закрыл глаза. А когда открыл, увидел перед собой высокого мужчинус шерстяной маской на голове.

— Как самочувствие, Николай Федорович? — произнес мужчина, и голос его показался Дражнину до боли знакомым.

— Нормально, — ответил Дражнин, — кто вы?

— Разумеется, разбойники, и, разумеется, с большой дороги.

— Что вам нужно?

— Хороший вопрос. Нам нужно знать местонахождение сына Елены Леонидовны, которую вы уже несколько дней шантажируете.

— Я не знаю, где он находится. Видите ли, я всего лишь посредник, который…

— Я это уже слышал и хочу вас предупредить, что в этом подвале одну фразу несколько раз не повторяют. Впрочем, я поступил некорректно, не сообщив вам правила игры этого подвала… В отличие от вас, любителей, мы действительно иногда похищаем людей… Но страшно не любим, когда это делают другие, причем рядом с нами.

— Я ни причем, я…

— Сейчас я покажу вам пленку. На ней вы увидите этот же подвал и одного из ваших предшественников… Внимательно посмотрите этот ролик, а потом я отвечу на ваши вопросы.

И тут только Дражнин заметил, что напротив него стоит стол, на котором расположился видеомагнитофон.

Мужчина в маске включил его и вышел из подвала. Было слышно, как он поднимается по ступеням, а потом все стихло.

* * *

Борода вошел в одно из подсобных помещений мастерской, где его ждали Влад и Юрась. Впрочем, ждал, то есть ничего не делал, только Юрась. Влад стоял у тисков и что-то подтачивал личным напильником.

— Ну что, бандит? — спросил его Юрась. — Как успехи?

— Пока никак, нужно чтобы клиент созрел, — ответил Борода, снимая маску.

— Он зреет уже…

— Нам некуда торопиться, — не дал ему договорить Борода, — как ваши успехи?

— Нормально, — ответил Юрась, — наш рукастый Влад сделал слепки ключей и осуществляет доводку дубликатов.

— Тебе еще долго? — спросил Борода Влада.

— Почти закончил, хорошо бы проверить их на скважинах, но скважины далеко.

— А ты сравни с подлинниками.

— Уже сравнил, — ответил Влад, — на мой взгляд, все в порядке.

— Ну, тогда давай их мне, а подлинники будут у вас.

— Как знаешь, — ответил Влад и передал набор дубликатов ключей Бороде.

— А где цепочка? — спросил Борода.

— Какая цепочка? — не понял Влад.

— Которая связывает ключи.

— Ну, ты наглец, где же я тебе среди ночи цепочку возьму.

— Возьми шпагат, — вмешался в разговор Юрась, — он вполне заменит цепочку.

— Ну, все, я двинулся к клиенту, — сказал Борода.

— Не торопись, — съехидничал Юрась, — в образ войди.

— Пошел ты, — ответил Борода, — ты лучше замотай палец, вон кровь капает.

— Уже не капает, — ответил Юрась, — а поначалу действительно капала. Укусил меня клиент за палец, и я вправе потребовать сатисфакции.

— Да, — ответил Борода,— вызови его на дуэль.

— Я с тебя потребую сатисфакции, — сказал Юрась, — ты меня втянул в эту картинку.

— Если с меня, то это называется компенсацией, — ответил Борода, надел маску и вышел из помещения.

* * *

Когда Борода в маске вошел в подвал, где находился привязанный к стулу Дражнин, на экране видеоплеера уже шла рябь, означало это, что ролик уже закончился.

— Ну как картинка? — спросил Борода Дражнина.

Тот молчал.

Борода подошел к плееру и произнес:

— А, наверное, я не включил звук, тогда сейчас сделаем маленький повтор, да и комментарий небольшой понадобится.

Он отмотал пленку назад и снова включил «воспроизведение».

На экране плеера возник знакомый уже Дражнину подвал. Посредине его на стуле сидел парень.

— Это представитель конкурирующей фирмы, — пояснил Борода, — ему объяснили правила этого подвала, но он ничего не понял…

К человеку приближаются трое в масках.

— Заметьте, Николай Федорович, — произнес борода, — все участники этого действия в масках. Это значит, они надеются на то, что гость правильно воспримет все, что происходит и уйдет отсюда живым, а, следовательно, он не должен видеть их лица. Если же парни снимут маски, то ничто уже ему помочь не сможет.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, что в этой игре есть два тайма — сейчас вы будете видеть первый.

Парни в масках начинают избивать «гостя». Они бьют его руками и ногами, до тех пор, пока тот не произносит фразу:

— Я все скажу…

Изображение на экране исчезает…

— Это первый тайм, — произнес Борода. — А сейчас я покажу вам второй. Недавно нам попался весьма оригинальный экземпляр, который посчитал, что мы устраиваем здесь некий балаган. Он выдержал первый тайм, и тогда нам ничего не оставалось делать, как снять маски. Это сейчас вы тоже увидите.

На экране вновь появляется изображение. Хорошо видны две руки, которые вставляют магазин в рукоять пистолета.

Слышен характерный щелчок. Затем следует передергивание затвора. Поскольку изображение дается крупным планом, видна входящая в патронник желтоватая гильза.

— Нет, — закричал Дражнин и закрыл глаза.

— Ну что вы, Николай Федорович, — произнес Борода, я ведь только рассказал вам правила поведения… у нас. А играть по ним вам… Я могу пригласить сюда моих помощников. Впрочем, можно и не приглашать… а сыграть сразу второй тайм вдвоем…

Борода приблизился к Дражнину и начал стягивать с лица маску.

— Нет, — вновь закричал Дражнин, — я скажу…

— Да уж, пожалуйста, — вежливо произнес Борода. — Вопрос первый: где сейчас находится Павел?

— На даче моего знакомого.

— Ну, вот и прекрасно. Вы не переживайте особенно, — успокаивающе произнес Борода, — за все надо платить, и это не самая дорогая плата… Вопрос второй… Где находится эта дача?

* * *

Автомобиль, в салоне которого на заднем сиденье сидел Дражнин, медленно ехал по ночному городу.

Рядом с Дражниным был Юрась с шерстяной маской на голове, а за рулем Влад в огромных темных очках, наполовину закрывающих лицо.

Юрась демонстративно играл ключами Дражнина. Дражнина это раздражало, но он не хотел конфликта с похитителями и сдерживался.

— Куда дальше? — спросил Влад, когда они миновали огромное, похожее на многопалубный корабль здание архитектурного института.

— К посту ГАИ на Логойке, — ответил Дражнин.

Влад, свернув вправо, выехал на кольцевую дорогу, и через пять минут они уже подъезжали к посту ГАИ. К удивлению сидящих в машине, один из гаишников стоял с жезлом на дороге. Юрась стиснул руку Дражину да так сильно, что он застонал.

— Не вздумай, — прошипел Юрась, — не вздумай.

А Дражнин в свою очередь удивился прозорливости похитителей. Он действительно чуть было не вздумал закричать, чтобы привлечь внимание гаишника.

Машина свернула направо, а затем повернула налево к поселку с названием Валерианово.

— За постом ГАИ направо, — запоздало произнес Дражнин. Потом поселок Валерианово, улица Пирогова. Перед КПП налево, а там я покажу…

— Хорошо, — ответил Влад.

Но тут что-то случилось с мотором, и Влад остановил машину, выбрался наружу, открыл капот и стал возиться с двигателем.

Этот капот не позволял сидящим в машине видеть его. На самом деле Влад только имитировал поиск неисправности, время от времени поглядывая на циферблат часов.

* * *

Борода шел к коттеджу на улице Пирогова.

Он открыл калитку, подошел к входу в здание и дубликатом ключа, изготовленного Владом, открыл входную дверь.

«Молодец Влад, — подумал он, — вот уж рукастый, так рукастый».

Он давно тянул Влада в мастерскую, все уши прожужжал хозяину. Да и хозяин был не прочь. Однако Влад после кино заболел цирком и не хотел уходить в автомеханики.

Борода за свои пятьдесят лет, благодаря фактуре, сыграл в кино более семидесяти больших и малых ролей. Был и геологом, и казаком, и директором дома культуры, и даже Владимиром Красное солнышко в каком-то историческом фильме названия которого не помнил. Но роль похитителя и домушника ему пришлось играть впервые.

Проникнув в дом, он кожей почувствовал, что, несмотря на отсутствие света и мнимую тишину, в доме кто-то был.

Поскольку все состоятельные минчане стали делать евроремонт, то, Борода без труда нашел внизу выключатели, включил один из них, готовый мгновенно отреагировать на появление кого-либо.

Но в прихожей было пусто. Однако в соседней комнате кто-то застонал.

Борода прошел туда и включил свет.

Там на полу, прикованная наручниками к батарее, сидела не то девушка, не то девочка.

— Ты Жанет? — спросил Борода.

Девочка мотнула ему в ответ, а потом кивнула на круглый стол.

— Там ключ от наручников, — сказала она.

Борода взял ключ и открыл замок наручников.

— Кто еще в доме? — спросил Борода.

— Не знаю, — ответила девушка и бросилась к крану с водой.

— Твою мать, — выругался Борода, — они что, тебе даже бутылки с водой не поставили?

Девушка не ответила, а только махнула рукой, мол, чего от них ждать.

— Тебе надо уходить, — сказал ей Борода, — и чем быстрее, тем лучше.

Девушка, так же не глядя на Бороду, вдоль стены пошла к выходу. И только у двери она оглянулась, и Борода уже не увидел в ее взгляде затравленности.

— Иди, там никого нет, но через минуту здесь будут менты, — сказал он, — чтобы девушка не приняла его за бандита, который пытается похитить Павла.

«Пусть думает, что я как-то связан с милицией».

Слово «менты» произвело на девушку магическое действие. Она тутже скрылась. А Борода направился в подвал.

Открыв третьим ключом дверь подвала, Борода произнес:

— Павел, не бойся, это дядя Саша, пошли со мной, тебя ждет мама, она приехала из Парижа.

Борода ожидал любой реакции, кроме той, что последовала.

— Я не поеду, — ответил Павел.

— Поедешь.

— Нет, они убьют Жанет.

— Успокойся, уже не убьют.

— Ее освободили?

— Да. Пойдем, там за домом стоит машина. Быстро в нее…

Павел вышел из дома, сел в машину. Он все время оглядывался, словно хотел запомнить внешний вид коттеджа, в котором провел несколько дней.

— А что с Жанет? — спросил он, когда машина тронулась.

— Ее освободили, — уклончиво ответил Борода. — Но вот что она делает в настоящий момент, я не знаю.

И действительно, откуда Борода мог знать, что Жанет вовсе не убежала подальше от дома, где ее содержали похитители, а как настоящий разведчик наблюдала за тем, что происходит из-за кустов садика соседнего коттеджа.

* * *

Влад еще раз посмотрел на часы, закрыл капот и тихо поехал по асфальтовой дороге, а затем свернул туда, куда указал ему Дражнин.

Коттедж на улице Пирогова был темен и мрачен.

— Ключи, — сказал Влад, — останавливая машину возле дома.

Юрась ловко кинул ключи Владу. Тот выбрался из машины и направился к коттеджу. Дражнин и Юрась напряглись, видя, как Влад неожиданно легко вошел в дом. И это напряжение продолжалось до тех пор, пока Влад не вернулся к машине.

— Его там нет, — сказал он.

— Ну как же нет, — засуетился Дражнин и выбрался из машины, — этого не может быть. Вы хорошо все посмотрели?

— Хорошо, — ответил Влад.

— И были в подвале?

— Да.

— А как вы его отрыли? Ключом?

— Нет, ключ не понадобился, — сказал Влад, — подвал уже был открыт.

— Этого не может быть, — истерически закричал Дражнин.

В это время выбрался из машины Юрась. Он придвинулся маской к лицу Дражнина и тихо произнес.

— А может, это вы нам, чего-то не договариваете, господин Дражнин?

— Нет, — закричал Дражнин и, пользуясь мнимой нерасторопностью «конвоя», бросился бежать в темноту.

Когда он скрылся, Влад снял очки, а Юрась маску, затем они оба подмигнули друг другу, сели в машину и покинули поселок Валерианово.

Но самое удивительное, что ни Дражнин, ни Юрась с Владом даже в мыслях не могли предположить, что разыгранная сцена была наблюдаема четвертым ее участником действия с похищением.

Цепкий взгляд Жанет фиксировал все, что происходило возле дома Дражнина. Фиксировал и делал выводы.

* * *

Влад выбрался на основную магистраль, ведущую к Минску. И так как дорога была почти свободна от машин, через десять минут был на улице Калиновского рядом с домом Бороды.

Но машины Бороды на стоянке возле дома не было.

— Будем ждать, — сказал Юрась.

— А что нам остается делать, — ответил Влад.

Они откинулись на сиденьях и стали кимарить.

Через полчаса послышался звук мотора, и по ветровому стеклу машины Влада полоснул свет фар автомобиля Бороды.

Влад открыл дверку и спросил:

— Чего так долго?

— Ну, пока Павла сдал на руки мамаше.

— Это было так трудно?

— Да, он рвался ехать разыскивать свою подружку.

— Серьезный хлопец, — иронически произнес Юрась.

— А-то, — в той же тональности подтвердил это Борода, — поднимайтесь ко мне.

В квартире Борода скомандовал гостям.

— Мойте руки и за стол.

— Да, пока ты приготовишь, — сказал Юрась, — мы поспим.

— Ага, поспите, — ответил Борода. — У меня уже все готово. Вот только мясо в микроволновке разогрею и все.

И действительно, на столе возвышалась огромная бутылка «Метаксы» в окружении нарезки из овощей, колбас и карбоната.

— Так ты что, заранее подготовился к банкету? — спросил Юрась.

— Конечно, — ответил Борода.

— И ты не сомневался, что это дело у нас выгорит? — спросил Влад.

— Ни капли.

— Ну, ты даешь.

— А здесь все как в жизни, идешь на трюк — не сомневайся, что у тебя получится.

— Ну, знаешь, не надо путать трюки, с реальной жизнью, — возразил рассудительный Влад, — трюк и жизнь имеют разные цели.

— Правильно, Володя, — произнес Борода, — помнишь, как мы снимали во ВГИКе свою дипломную работу «Сценическое столкновение». Мы четко вбивали в мозги всех, кто будет смотреть фильм: в реальной драке нужно поразить соперника, а в драке киношной нужно поразить… кого?

— Зрителя, — хором, как на уроке в первом классе, ответили Юрась и Влад.

— Кстати, — сказал Борода, — в отношении нашего фильма о трюках. Я както в Москве встретился с большим советским чиновником от кино. Он сказал, что с нашим фильмом он объездил весь мир.

— А в восемьдесят первом году, — добавил Влад, — он на конкурсе спортивных фильмов занял второе место после фильма о московской Олимпиаде.

— Да, было времечко, — ехидно произнес Юрась, — но нам-то от этого ничего не перепало.

Он взял в руки бутылку и стал открывать, продолжая разглагольствовать.

— Вы оба за рулем, значит все это мое.

— Размечтался, — ответил ему на это Борода, — здесь все как в коллективном трюке, а значит…

— Все поровну, — кисло отозвался Юрась.

Борода отобрал бутылку у Юрася, разлил коньяк в три стопки, достал из микроволновки блюдо с подогретым мясом и поставил на стол.

— Ну, — произнес он, взяв в руки стопку, — за успех нашего безнадежного дела.

Все выпили, и после некоторой паузы Влад произнес:

— Самопал.

— Но качественный, — съязвил Юрась.

— Испортил праздник, — вставил свои пять копеек Борода.

— И где ты его достал?

— Клиент привез в подарок за качественный ремонт.

— Вот видишь, как бывает, ремонт качественный, а презент не качественный, — заржал Юрась.

— Ладно, не отравимся, — сказал Борода, — давай по второй…

— За то, чтобы не сломать шею на трюке, — произнес Юрась.

— Угу, — ответили Влад с Бородой…

Закусили. По всему было видно, Бороду огорчило, что он выставил друзьям самопальную «Метаксу».

Влад понял это и сказал:

— Не бери в голову, сейчас все самопальное…

— Во-во, — вмешался больше всех захмелевший Юрась, и непонятно кого передразнивая, произнес, — качество ушло из нашей жизни…

Несмотря на некачественную выпивку, закуска со стола исчезала с невероятной быстротой. И Борода, видя это, сказал:

— Пожалуй, на один тост еще хватит.

— Во, жизнь пошла, — прокомментировал Юрась, — раньше тосты обеспечивались водярой, а теперь — закусью.

— Все течет, все изменяется, — глубокомысленно заметил Влад.

— Тогда третий тост, — сказал Борода.

— Ты уже говорил, — перебил его Юрась, — теперь моя очередь. Я хочу выпить за тех, кто в море…

— Но третий тост пьется за женщин, — сказал Влад.

— А я за них и хочу выпить, это так называемый тост Степана Разина, за тех, кто в море… то есть за женщин.

— Как всегда, ты все опошлил, — сказал Влад.

— Нисколько, — ответил Юрась, — я всегда был реалистом.

— Хватит собачиться, — произнес Борода, — закусь кончилась, пойдем в другую комнату, я давно Влада не слышал…

— Так ночь глубокая, — возразил Влад.

— А мы потихоньку, — ответил Борода.

* * *

Толстуха пришел домой поздно и по этому поводу поругался с женой.

Жена демонстративно ушла спать в другую комнату, а Толстуха стал думать, как жить дальше.

Большинство его друзей давно оставили службу и ушли в коммерческие структуры. Правда, бизнес не был их призванием, и они заняли нишу телохранителей и сотрудников служб безопасности. Что в девяностые было равнозначно уходу в криминал.

Впрочем, в те годы у многих оперов появилась поговорка: что мы, что они по одной жердочке ходим.

Но Толстуха и тогда не позволял себе таких мыслей. И, наверное, оказался прав. Потому что многие из его коллег защищая интересы денежных людей, первые пару лет держались так же как их работодатели и готовы были размазать по стенке всех конкурентов. Но потом с ними происходило то, что обычно происходит с бандитами. Прыть куда-то уходила. Они становились нелюдимыми, раздражительными. Исчезала гордая посадка головы. А сама голова все чаще была

втянута в плечи, взгляд терял сталь и походил на взгляд не столько загнанного, сколько усталого и уже не способного к сопротивлению животного.

Кое-кто начинал искать запасной аэродром, на который можно было бы свалить. И кое-кому это удавалось. Но многие до него не дотянули и пали под пулями киллеров и битами спортсменов, нанятых конкурентами их боссов.

Таким образом, Толстуха не изменил профессии, но при всем этом сидела в нем некая неудовлетворенность. Но не профессией, которую он выбрал когда-то, а отсутствием ощутимых результатов той работы, которой он себя посвятил.

Наверное, поэтому он нашел родственную душу в лице Ходкевича и честно тянул с ним лямку личной борьбы с преступностью.

Рассуждая о жизни и работе, он заснул, а проснулся часов в пять утра. Однако не потому, что не выспался. Все было наоборот. Нет, он не закричал «эврика!», не побежал голым по Сиракузам, то есть Минску. Он просто, не умываясь, вышел во двор, завел машину Ходкевича и поехал к ресторану «Витязь». Как он и предполагал, машины Дражнина там не было.

Толстуха тут же позвонил дежурному и навел справки о месте жительства Дражнина. Оказывается бывший следак жил в Валерианово на улице Пирогова, и опер поехал туда.

* * *

Перебравшись в другую комнату, которую Борода называл гостиной, троица уселась на угловой диван. Борода дал в руки Владу гитару, и тот стал ее настраивать.

— Братва, — сказал Юрась, — а я только сейчас понял, что мы дергали смерть за усы.

— Типун тебе на язык, — ответил Борода и ушел на кухню. — Я сейчас вернусь, только посуду в раковину сброшу.

К тому времени, когда он вернулся, Влад уже настроил гитару и тихонько напевал:

> Еще земли не тронут сон сигналом трубача
> Еще не начал эскадрон рубить сплеча.

— Ну, давай, — сказал Борода, — «…деньжат не густо отвалил».

Влад однако, проиграл вступление и только потом начал:

> Деньжат не густо отвалил,
> Зато шутил, зато хвалил.
> Что говорить, продюсер деловой,
> Когда писали договор, сказал,
> Почти потупя взор,
> Смотри, дружок, рискуешь головой.

Следующие два куплета этой песни про каскадеров шли в обычном ритме и не так громко, как это было обычно. Все понимали, на дворе глубокая ночь, тут особенно не распоешься.

Но вот текст перешел к кульминации и больше всех опьяневший Юрась заорал дурным голосом, подпевая Владу:

> А дальше розовый пробел
> Я кувыркался, как хотел
> Металл шипел, трещал, краснел, горел.
> Прости меня, Серега-друг,
> Кажись, последний это трюк.
> Он дверь взломал, я выскочить успел.

И тут же по трубе отопления кто-то из соседей застучал чем-то металлическим. Причем так сильно, что, наверное, разбудил тех, кого еще не смог разбудить Юрась. Борода, поморщившись, толкнул Юрася в плечо. И вся троица уже тихо закончила песню:

Когда водою пламя сбил,
Внезапно понял, проскочил.
Как говорится, всем чертям назло.
Лауреат мне руку жал,
А доктор плечи бинтовал,
На этот раз, как видно, пронесло,
На этот раз мне просто повезло.

— Ладно, — сказал Борода, — ложимся спать…

— Я на кухне на топчане, — произнес Юрась и покинул гостиную.

Влад с Бородой переглянулись.

— Там в холодильнике остатки «Метаксы».

— Я отлил граммов сто, — сказал шепотом Борода, — пусть пьет.

— А отлил зачем? — непонял Влад.

— Ему утром надо будет опохмелиться.

* * *

Следующий день для Ходкевича начался с визита к нему опера. Тот ввалился к нему страшно возбужденный.

— Знаешь, — сказал Толстуха, — кто сидит у тебя в коридоре перед дверью?

— Сейчас узнаю, — ответил ему в том же тоне следователь.

— Откуда? — не понял ответа опер.

— От тебя, откуда еще, — съехидничал следователь, — у меня другого информатора нет.

— Нашел информатора, — обиделся Толстуха.

— Извини, — сказал Ходкевич, — я хотел сказать, иного источника информации нет. Дак кто там сидит? Неужели Дражнин?

— Правильно, там сидитДражнин.

— Он пришел сам?

— Почти, после профилактической беседы со мной…

— И где ты его раздобыл?

— В его родовом гнезде.

— Говорят, он такой коттедж отгрохал, где-то за городом.

— Да, в Валерианово.

— Ты этот коттедж видел?

— Обижаешь, начальник, я там был.

— Внутри?

— Конечно.

— Но говорят, там у него псарня.

— Там у него табличка «Во дворе злые собаки», но собак нет. Как полагаешь, почему?

— Не знаю.

— Это типичная обманка. Сейчас многие такие таблички вешают, а иногда даже на магнитофон лай собак и рычание записывают. Смекаешь?

— Смекаю… Зови…

Опер открыл дверь. Но в коридоре никого не оказалось.

— Елы-палы… Сбежал.

В этовремя в кабинете зазвонил телефон. Следователь снял рубку.

— Это шеф, — сказал он, зажимая рукой микрофон, — сейчас будет здесь, ты исчезни на время…

Толстуха сориентировался мгновенно, на то и опер. И уже через пару секунд в кабинете его не было.

* * *

— Проходи, Николай, — сказал начальник следотдела Дражнину, пропуская его вперед в кабинет Ходкевича.

Ходкевич при виде начальника встал из-за стола, а начальник, отнесясь к этому как к должному, продолжал.

— Вот, Виктор, с нашим бывшим коллегой произошел странный случай. Идет он по парку, и вдруг его хватают какие-то люди, привозят в какой-то подвал и начинают пытать, приняв за представителя конкурирующей банды. И, что самое интересное, пытаются выяснить у него обстоятельства похищения сына нашей, точнее вашей, француженки… Федорычу пришлось сказать, что похищенный находится у него на даче. Его повезли туда, но он, зная особенности расположения местности, убежал от похитителей и явился к нам.

— Он видел похитителей?

— Он все вам расскажет сам. А вы зафиксируйте его показания в объяснительной, поскольку вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решен.

Закончив говорить, начальник, не прощаясь ни с Дражниным, ни с Ходкевичем, вышел из кабинета. А Ходкевич кивнул Дражнину на стул.

— Давайте уточним все, что вы видели, — сказал Ходкевич и взял в руки лист бумаги, но прежде всего, ответьте мне на несколько вопросов… У вас не сложилось впечатления, что бандиты ошиблись

— Да, — кивнул Дражнин, — именно такое впечатление у меня и возникло, поскольку они несколько раз называли меня чужим именем.

— А что за воздействие применялось к вам?

— Они показывали мне сцены насилия с предыдущими клиентами.

— Нельзя ли поподробнее.

— Они садистски избивали одного человека. Они били его и, казалось, наслаждались этим.

— Так. Давайте вспомним, как они его избивали.

— Мне не хотелось бы к этому возвращаться…

— И все-таки. Он был связан или привязан к чему-нибудь?

— Нет, он сидел на стуле, много раз падал, его вновь поднимали и продолжали избиение…

— Продолжайте, — сказал Ходкевич, — мне кажется именно тут и находится разгадка этой «щемящей» душу истории.

* * *

За одним из столиков летнего кафе на Немиге сидели Борода, Влад и Юрась.

Перед первыми двумя были стаканчики с мороженным, а Юрась пил коктейль, купленный ему Бородой.

— Когда мы приехали туда, то Павла в подвале уже не было, — сказал Влад Бороде.

— Куда же он делся? — иронически, как человек знающий ответ на свой же вопрос, спрашивает Борода.

— А может, его там и не было? — произнес Влад.

— Был, — сказал Борода, — и этому есть одно железное доказательство.

— Его похитили конкуренты?

— Возможно.

— Ты чего шифруешься?

— Да так, один странный тип все время появляется в поле моего зрения.

— Где?

— Не оглядывайся, он сидит через столик от нас.

А за соседним столиком сидел опер Толстуха. Нельзя сказать, что он вычислил каскадеров, просто он вернулся к одной из ниточек, которую когда-то выпустил из рук, позволив скрыться Бороде на автомобиле.

— Посмотри, что он пьет, — сказал Влад, сидевший спиной к оперу.

— Коктейль, как и Юрась.

— Значит, он не милиционер.

— Почему ты так решил?

— Потому, что милиция всегда за рулем, а значит…

— Ничего это не значит, но нам надо сваливать от греха подальше и внимательно смотреть, не появится ли он возле нас в ближайшее время.

— Идем, — сказал Борода Юрасю.

— Я еще не кончил, — ответил тот.

— Ну, так заканчивай.

Юрась отбросил в сторону соломинку, туда же отставил свою мнимую интеллигентность, махом выпил остатки коктейля и произнес:

— Я готов.

Все трое мгновенно снялись со своих мест и пошли к выходу. Опер не успел за ними, так как должен был еще рассчитаться.

Впрочем, он сделал правильно, что не побежал за каскадерами. Они на всякий случай проверились на выходе, но так как за ними никто не последовал, успокоились.

— Ты куда сейчас? — спросил Бороду Влад.

— Надо кое о чем сообщить Елене, — ответил он.

— О том, что нас пасут?

— Да, но я не об этом мужике.

— Тогда о ком?

— Мне показалось, что вокруг мастерской все время крутятся какие-то малолетки и среди них эта коза Жанет.

— Ты с этим не спеши… Это их дела молодые.

— Да нет, Влад, тут уже наши дела, хотя действительно, зачем спешить. Надо кое-что прояснить.

* * *

В парке Горького на скамейке сидели Борода и Жанет.

— Как ты меня нашел, дядя? — спросила Жанет.

— Очень просто, поймал какого-то шкета, который крутился возле мастерской и попросил, чтобы он передал тебе приглашение на свидание.

— Круто, как в советском кино.

— А я и есть советское кино, то есть его осколок.

— Оно и видно, — сказала Жанет и неприязненно оглядела Бороду с ног до головы. — И зачем я тебе?

— Хочу рассказать сказочку.

— Ну, расскажи.

— В некотором царстве жила-была девочка Юля, которую почему-то звали Жанет. Ничем она не выделялась из своих сверстниц…

— Так уж и ничем, — презрительно произнесла Жанет и сплюнула на землю.

— Почти ничем, вот только была у нее мечта увидеть Париж…

— В этом нет ничего зазорного.

— Разумеется, нет…

— Ты чего туда уставился?

— Да кажется мне, что я видел где-то этого мужика, что стоит у парапета реки. То ли на улице, то ли в кафе на Немиге. Это не твой телохранитель?

— Нет, — ответила девушка, — слишком стар.

«Нет, ответила Жанет», интересный каламбурчик получается.

— Не крути вола, дядя, для чего я тебе понадобилась?

— Сказочку рассказать.

— Так рассказывай и уматывай.

— Дак я и рассказываю.

— Ну, тогда короче рассказывай или ближе к сути.

— Ну, к сути, так к сути. А суть сказочки в том, что за все надо платить. Ты это знаешь?

— Я знаю, а ты?

— Тоже знаю, если уж решился тебе эту сказочку рассказать.

— Пусть будет так, и как выглядит моя плата?

— Тебе придется исчезнуть.

— Надолго?

— Пока до отъезда его матери.

— Что значит, пока?

— Значит, до отъезда, а там видно будет.

— А он останется здесь?

— Наверное, он ведь жить не может без Минска.

— Хорошо, — ответила Жанет, — я долго не могла сообразить, где тебя, такого крутого, видела. А потом вспомнила, в кино.

— Но это ничего не меняет.

— Э, нет, — сказала Жанет, — это многое меняет, если не все.

— И что же это меняет, — спросил Борода, чувствуя, что цепкий взгляд ее холодных глаз выбивает у него почву из-под ног.

— Жизнь не кино, — сказала Жанет и, поднявшись со скамейки, пошла вдоль парапета набережной Свислочи.

— А сказочку? — произнес ей вслед Борода.

— В следующий раз, — ответила Жанет.

Борода обратил внимание, что она больше ничего не сказала. Ни до свидания, ни прощай. Но это не было неким актом невежливости. Так бывает, когда человек, с которым она только что говорила, для нее больше не существовал.

* * *

Елена ходила по комнате с длинной пахитоской, заправленной в такой же длинный мундштук.

Павел сидел в кресле, а Борода расположился на диване.

— Ты неделю не был в институте, — сказала Елена, — как ты собираешься выходить на сессию?

— Мама, ты не о том, — сказал Павел, — что на нее выходить, ее сдавать надо.

— Так вот я и удивляюсь, как можно ее сдать, не посещая занятия.

— Элементарно, — сказал Павел, — как два байта отослать.

— Что?

— Лена, — вмешался Борода, — не обращай внимания, это такой программистский сленг. У меня один помощник из этой же касты, так он начинает считать не с единицы, а с нуля.

— А че удивляться, — сказал Павел, — так и должно быть.

— Ладно, хватит меня отвлекать и успокаивать, — сказал Елена, — у меня на завтра взяты билеты до Парижа.

— Я без нее не поеду, — сказал Павел.

— Саша, ну хоть ты ему скажи…

— Не вмешивай в наши дела дядю Сашу, — сказал Павел.

— А кого я буду вмешивать? Отец от нас отказался, а дядя Саша тебя с пеленок помнит.

— И я его с этих пеленок помню, — сказал Павел, — я помню, как он меня на шее катал в общаге, где вы жили после ВГИКа, и учил стихи читать. Я помню, как меня ставили на табурет, я декламировал, а вы покатывались со смеху.

Десятиклассники знать не желают классиков…

Но еще популярней было четверостишие:

Килька плавает в томате,
Ей в томате хорошо.
Только я, ядрена матерь,
Места в жизни не нашел.

— Хорошо, но скажи мне, в качестве кого она поедет в Париж? — спросила Елена.

— В качестве невесты…

— О боже…

— Что значит, о боже?

— Саша, — снова обратилась к Бороде Елена, — ну хоть ты скажи ему…

— Дядь Саша, — произнес Павел, — я с уважением отношусь к вам, но… полагаю, что все это наши семейные проблемы, и их не стоит перекладывать на вас.

— Лена, посиди на скамейке у дома, мы с Пашей поговорим по-мужски. То есть как мужчина с мужчиной.

— Как знаете, — с легкой обидой произнесла Елена и направилась к двери.

Борода дождался щелчка дверного замка и повернулся к Павлу.

— Ты давно знаешь эту девицу?..

— Дядь Саша, — произнес Павел, — и вы туда же, она нормальная девица.

— Паша, она действительно нормальная девица, — сказал Борода, — и в этом все дело. И все же, когда ты с ней познакомился, и что было причиной того, что ты обратил на нее свое внимание?

— Знакомы мы более года. И как мне кажется, это она на меня запала, а не я на нее…

— Верно, а не кажется ли тебе, что она на тебя запала не так, как обычно западают девицы…

— Не кажется.

— А может быть, ей хотелось вместе с тобой, как говорит мой юный помощник, свалить в Париж… Раз у тебя там мамаша живет…

— Дядь Саш, ну не без этого, но сейчас на загранице весь пипл помешался, а особенно молодежь.

— Тогда ответь еще на один вопрос. Почему тебя так легко вычислила эта банда Кривого. И кто такой Кривой, и где он сейчас?

— Честно говоря, Кривой, дал мне немного денег…

— Поиграть?

— Ну да.

— И ты проиграл?

— Да.

— А потом?

— А потом меня поставили на счетчик.

— Ясно, и ты до сих пор…

— Нет, тут Жанет поговорила с крутыми ребятами и счетчик остановили. Но я остался должен Кривому две тонны баксов.

— Вот видишь, оказывается, Жанет пользуется у крутых ребят авторитетом.

— Да нет, дядь Саш, она просто знакома со многими.

— Каким образом?

— Она начинала заниматься кикбоксом в каком-то минском клубе. И тренер пророчил ей большое будущее.

— Но потом от нее отказался?

— Да, а откуда вы это знаете?

— По характеру вижу, она не поддается воспитанию.

— Действительно, уж если что ей в башку втемяшится — ломом не вышибешь.

* * *

Спустя час Борода вышел из подъезда и присел на лавочку к Елене.

— Мне надо ехать, — сказал он, — меня ждет Влад.

— А что Павел?

— Павел полетит с тобой в Париж, но на неделю, так будет лучше, пусть здесь все успокоится, а потом он вернется… сдавать сессию. Но это не главное.

— А что же главное?

— Главное, что пять минут назад на одну невесту в Минске стало меньше, — произнес Борода и, поднявшись со скамейки, направился к машине.

На встречу с Владом Борода опоздал. Но Влад честно ждал его уже целый час в кафе на Немиге.

— Ну, рассказывай о последних новостях, конспиратор, — сказал ему Влад, — надеюсь, сегодня нам не придется ни от кого бежать.

— Я тоже на это надеюсь,— произнес Борода и рассказал Владу о встрече Жанет и сегодняшней беседе с Павлом.

— Елки зеленые, — сказал Влад, — завертели мы дело.

— Не мы его завертели. Мы просто влезли в дело, которое уже вертелось.

— Слушай, — сказал Влад, — я немного не понял, так кто же приковал Жанет к батарее, и почему Павел не знал, что она находится в том же доме?

— Спроси что-нибудь полегче.

— Уж куда легче.

— Может быть сам Дражнин?

— Может быть. А может быть, там был кто-то другой, тот, кого мы не заметили?

— И это возможно, и даже более вероятно. Ведь Дражнин был у нас довольно долго. Плюс к этому он еще раньше уехал из дома.

— Так что тебя насторожило?

— Две вещи, во-первых, возле Жанет не было обычных в таких случаях атрибутов…

— Каких атрибутов?

— Ну, хотя бы полиэтиленовой бутыли, куда можно при нужде помочиться.

— А во-вторых, чайника с водой.

— И этого тоже. Да и весь спектакль с утолением неимоверной жажды, разыгранный ей, меня как-то насторожил.

— А может это был не спектакль?

— Нет, это точно был спектакль, ведь я актер и могу различить игру и жизнь. Это она могла полагать, что разыграла все по нотам, но я то видел, что это не так.

— Надо было проверить дом.

— А зачем, ну вытащили бы мы на свою голову еще кого-нибудь, что потом с ним делать. А так все получилось. Павла спасли, Дражнина разыграли.

— Что-то во всем этом не стыкуется. Вот чувствую, что-то не так, а понять не могу, — сказал Борода.

— Слушай, а зачем было имитировать вторичное похищение Павла. Мы не заигрались в приключенческое кино? Не перестали путать жизнь с детективом?

— Наивный ты человек, Влад. Его похищением мы напугали истинных похитителей, и они теперь ни к Павлу, ни к Ленке на выстрел не подойдут.

— Мне бы твою уверенность. И все же, кто приковал Жанет к батарее?

— Теперь поздно об этом рассуждать.

— Не согласен, теперь как раз и надо.

— Почему?

— Возможно, события примут непредвиденный оборот…

— И ты полагаешь в этом ключ к их пониманию?

— Возможно. Ты не сказал Павлу, что Жанет была в наручниках?

— Нет.

— И ты полагаешь, поступил правильно, намекнув Павлу, что его подруга нечиста в его похищении?

— Да.

— Но это только твое предположение. Она такая же жертва, как и Павел.

— Сомнительно.

— Но тебе, так же как и мне, не дает покоя вопрос, кто же приковал ее к батарее. И ты намекаешь…

— Да.

— Ну ты даешь, каким монстром нужно быть …

— Знаешь, не это главное, интуиция говорит мне, что из этого союза ничего не получится. Пусть Павел улетит в Париж, пока все не утихнет, а там видно будет…

— Борода, ты всегда был лидером в нашей троице, но не переборщи. Помни наш девиз: за все надо платить.

— Да помню, его озвучил Серега, когда сломал себе позвоночник, прыгая с небоскреба.

— Но он сказал, что это его плата за тот кайф, который он испытал, выпадая из окна двенадцатого этажа.

— Да, чуть не забыл, Лена просила нас проводить ее к самолету.

— Она боится?

— Да, и еще она просила тебя захватить гитару.

— Но у нее есть мои диски.

— Наверное, она хочет услышать тебя вживую.

* * *

Минск. Музей кино. Свердлова 4.

В маленьком просмотровом зале сидел Ходкевич и смотрел фильм «Поговорим, брат».

В это время в зал бочком протиснулся Толстуха, он посмотрел на экран, а потом в зал, давая глазам возможность привыкнуть к темноте.

— Развлекаешься? — спросил он.

— Угу, — ответил Ходкевич, не отрывая взгляд от экрана.

— Еле тебя нашел.

— Я же записку оставил секретарше.

— Записку ты оставил, но где этот музей я не знал.

— Теперь будешь знать. Посмотри, как лихо они скачут, — сказал следователь и кивнул на экран.

А на экране разворачивалось действие с погоней: стучали копыта, во весь опор неслись лошади, всадники то приникали к лукам, то стреляли на скаку из карабинов.

— Впечатляет, — сказал Толстуха.

— Угу, — ответил Ходкевич, — но это еще что. Посиди здесь, я к киномеханику схожу.

Он вышел из зала и вскоре вернулся.

В это время невидимый киномеханик остановил картину, и в зале зажегся свет.

— Сейчас он перемотает, и ты посмотришь картинку еще более интересную.

— Тебя, между прочим, начальство ищет.

— Я, между прочим, на работе, — сказал на это Ходкевич.

— Вижу, — ответил Толстуха и хотел сказать еще что-то, но свет в зале погас, а на экране появился колодец, где три отрицательных персонажа избивали героя фильма.

— Смотри внимательней, — сказал следователь оперу.

И они, забыв обо всем, устремили взгляды на экран.

— Классно, — констатировал опер, когда эпизод закончился и герой, вскочив на лошадь, смог убежать от своих мучителей.

Фильм опять прервался, и в зале зажегся свет.

— А еще? — спросил опер.

— Хватит, — ответил Ходкевич, — ты понял, почему я здесь?

— Да, понял я. Ты полагаешь, что все, что было с Дражниным, инсценировка?

— Безусловно.

— И все это проделали…

— Да, разумеется.

— А как ты догадался?

— Все дело в том, что Потапова и эти ребята, которые избивали героя фильма, учились во ВГИКе в одной группе. И к кому могла пойти Потапова за помощью?

— Только к ним, — согласился опер.

— Правильно.

— Но я не о том, как ты догадался, что избиения, это всего лишь инсценировка?

—Здесь все дело в технике исполнения трюка, который называется «сценическое столкновение». Так называются драки в кино.

— И чем же драки в кино отличаются от драк в жизни?

— Драка в жизни имеет цель поразить кого?

— Противника или соперника.

— Правильно, а драка в кино должна поразить в самое сердце… зрителя.

— А-а… И все же, как ты догадался?

— Все очень просто, когда я допрашивал Дражнина, он сказал мне, что того парня не привязывали к стулу. Бандиты так не делают.

— Почему?

— Потому что в киношной драке главную роль играет не тот, кто бьет, а тот, кого бьют.

— Не понял.

— Это долго объяснять, но для того, чтобы не сокращать ему возможностей отыграть главную роль в драке, он должен иметь некоторую степень свободы. Вот потому его и не привязывают. И он имеет возможность не только морщиться от ударов, но и падать, опрокидываться, летать от стенки к стенке на радость зрителям.

— Ты сам об этом догадался?

— Почти, просто я когда-то интересовался белорусским кино, ходил на встречи с актерами и усвоил их главный принцип.

— Это какой же?

— Кино, батенька, это зрелище.

— Да кто ж этого не знает.

— Знают все, но не все могут понять, что только через зрелищность в кино можно добиться соответствующего эффекта.

— Ну, ты даешь, — сказал опер, — а не уйти ли тебе в белорусское кино?

— Нет, это всего лишь имитация знаний о кино, да и то в рамках уголовного дела, которое я расследую.

— Ты расследуешь, а я?

— И ты тоже. Вчера меня вызвал босс и потребовал сегодня резюме по всем материалам.

— А я причем. Я же помогаю тебе неофициально.

— Неофициальная помощь закончилась. Шеф сказал, чтобы я был на докладе с тобой.

— Чтобы это значило?

— Как всегда, это может означать возможную реализацию дела, возможные аресты, задержания, все то, что так любят опера. Едем.

* * *

Несмотря на то, что босс ждал их, в кабинет к нему они попали только после получасовой «отсидки» в приемной.

— Обычная метода, — шепнул Ходкевич Толстухе, — подчиненный должен созреть для того, чтобы внимать указаниям начальства.

Когда они вошли в кабинет, шеф кивнул Ходкевичу, а с Толстухой, представителем другого подразделения, поздоровался за руку.

Потом указал обоим на стулья за приставным столиком и сказал Ходкевичу:

— Докладывайте.

Ходкевич стал излагать материалы предварительной проверки. Он дошел до предположения о возможной инсценировки похищения, и шеф прервал его.

— Ходкевич, — сказал он, — правильно расставляйте акценты. Какая инсценировка? Это они драку могут инсценировать. А действия, которые произвели в отношении гражданина Дражнина, не есть инсценировка, это реальные действия, подпадающие под конкретную статью Уголовного кодекса.

Тут шефа понесло, он вскочил со стула и заорал:

— Я им покажу кино, я им покажу, как самоуправничать, — кричал он, — это им не Париж. Задержать всех, кто участвовал в этом спектакле.

— Но у нас нет основания задерживать актеров, — сказал следователь.

— Как это нет основания?

— В их действиях нет состава преступления. Мало того, они действовали в состоянии необходимой обороны. Так как совершенно искренне, хотя и довольно своеобразно, защищали интересы гражданки Беларуси Потаповой от преступного посягательства.

— Она что? Гражданка Беларуси?

— Разумеется.

— Так, — произнес начследотдела. — Тогда надо задержать актрису.

— Основание?

— Организация похищения, введение в заблуждение… правоохранительных органов. Отвлечение их от основного вида деятельности…В то время как вокруг совершается масса преступлений, мы тратим силы на пустышки… В общем, берите автозак и дуйте в аэропорт.

— Почему в аэропорт? — удивился Ходкевич.

— Потому что вы в отличие от меня абсолютно не знаете оперативной обстановки.

— И все же, — упрямо, но спокойно, произнес Ходкевич, — какой новый элемент этой обстановки появился в последние двадцать четыре часа?

— Он появился гораздо раньше, просто вы его не знали, потому что плохо отслеживали все, что происходило вокруг данного похищения.

— Так что же все-таки произошло? — снова спросил Ходкевич. — Чем сегодняшний день отличается от вчерашнего.

— Тем, — назидательно произнес начслед, — что она сегодня бежит в свой Париж.

— Откуда вы знаете?

— Работа у меня такая… знать то, чего подчиненные не знают.

— А как с санкцией на арест?

— Никак, мы задержим ее на трое суток, а там видно будет…

— А как с транспортом? — поинтересовался Ходкевич.

— С транспортом все нормально, — ехидно ответил шеф, — без транспорта плохо.

* * *

Вернувшись в кабинет, следователь позвонил в аэропорт и узнал время отлета самолета в Париж. Затем он позвонил в гараж и вызвал автозак. И только после этого «опустился» до разговора с Толстухой.

— У меня в сейфе некая подборка фактов, — сказал он.

— По делам о похищениях?

— Не только, там еще материалы о молодежных группировках, в частности, Кривого и Цези.

— Тебе это зачем, это же не твой профиль, — сказал Толстуха.

— Он сейчас не мой, а когда возникнет уголовное дело, и его надо будет расследовать…

— Далеко глядишь, — сказал опер, — но не высоко сидишь, а вдруг его отдадут другому следователю.

— Ну и что, одно дело делаем, я помогу ему этими материалами…

— Виктор, — сказала, распахнув дверь кабинета секретарша, — шеф беспокоится чтобы вы не опоздали в аэропорт.

— Автозака еще нет, — ответил Ходкевич.

— Уже подошел, — ответила на это секретарша и закрыла дверь кабинета.

— Привет, — сказал им водитель автозака, — а я думаю с кем ехать, сейчас какой-нибудь следак упадет в иномарку, как за ним удержаться. А у вас все в порядке, за вами я успею.

— Вот видишь, — засмеялся Толстуха, — о качествах твоего «Жигуля» известно даже в тюрьме.

— В тюрьме обо всем узнают первыми, — поддержал его Ходкевич, — и это вовсе не парадокс. Просто в тюрьме любая информация является более ценной, чем на свободе.

— Хватит философствовать, — сказал Толстуха, садясь в автомобиль Ходкевича, — ты объясни мне лучше, откуда твой шеф так хорошо знает, что случилось в подвале, и почему он сразу догадался, что это имитация?

— Он знает, что никакой преступной группировки по похищению людей нет.

— А почему он это знает?

— Правильная постановка вопроса. Потому, что Дражнин — его бывший подчиненный. А главным организатором липовых похищений и вымогателем денег является …

— Елы-палы, — как я раньше не догадался, — удивился Толстуха. — У меня на эти дела нюх…

— Подвел тебя твой нюх, хотя я сам об этом догадался только что. Ведь все заявители брали свои заявления обратно после соответствующего шантажа и игры, руководителем которой мог быть только один человек.

— Точно, — подтвердил его рассуждения опер. — Как только я привез Дражнина и оставил его на мгновение, куда он помчался?

— Да, именно туда.

— Что будем делать?

— Что делать? Задержим Потапову и доставим к шефу…

— Но у него нет основания для ареста…

— А ему оно и не нужно. Он нарисует ей картину ужаса, которая ждет ее в тюрьме… А затем предложит дать откупные… И, таким образом, мы поможем ему сделать то, что не сделал Дражнин.

— А как шеф объяснит потом ее задержание начальству?

— Элементарно, он скажет, что это твоя инициатива. Ты получишь выговор и все…

— А что ты предлагаешь?

— Я предлагаю не сдавать ее…

— Каким образом?

— Останови машину. Ты пойдешь в ближайшее село и найдешь телефон, скажешь, что у тебя сломался автомобиль, но особенно не торопись.

— Но он скажет, что я должен выполнить задачу во что бы ни стало.

— Ты скажешь «есть» и неспеша поедешь задерживать Потапову.

— И что?

— А то. Посмотри на часы, если«Белавиа» не подведет, она уже будет над Германией.

* * *

А в это время на первом этаже аэропорта Минск-2 каскадеры прощались с Еленой и Павлом.

Они стояли двумя группками. В одной из них Борода что-то говорил Павлу, а во второй Влад и Юрась отвлекали от черных мыслей Елену.

— Ты не передумал, — спросил Павла Борода, — может, останешься там насовсем.

— Нет, — ответил Павел, — мне кажется и мать, если бы ее продолжали снимать, не уехала бы в Париж.

— Мы бы все не уехали в… Париж, — ответил ему Борода, — если бы нас продолжали снимать.

— В какой Париж? — не понял Павел шутки Бороды.

— В тот самый, в тот самый..., где Влад работает электриком-униформистом в Гранд Опера, я — в автомастерской на Елисейских полях, а Юрась сшибает луидоры и пьянствует с клошарами в кафешках вдоль набережной Сены.

— А-а, — засмеялся Павел, вот вы о чем.

— Ну да, ты думал у меня крыша поехала?

А во второй группке шли разговоры иные.

— Лена, — сказал Влад, — как оригинально у тебя повязан платок…

— Последняя парижская мода, — ответила Елена, — что-то среднее между завязкой цыганской косынки и воротником мужской рубашки под названием собачье ухо…

— Ну и название, — вставил свои пять копеек в отвлечение Елены от дурных мыслей, Юрась, — легче научиться завязывать такой платок, чем запомнить, как он называется.

— Володя, — сказала Лена, — ты сыграл бы мне что-нибудь на прощание.

— Как скажешь, — ответил Влад и стал расчехлять гитару.

Увидев это, к ним подошли Борода и Павел.

— Ну, — сказал Борода, — «деньжат не густо отвалил».

— Нет, — не согласилась Елена, — что-нибудь лирическое из семидесятых…

Влад некоторое время подумал, а потом начал вступление гитарным перебором и первыми его словами были:

Из окон корочкой несет поджаристой,
За занавесками — мельканье рук.
Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста,
Шофер автобуса — мой лучший друг…

После первого куплета на них тут же обратили внимание и, когда Влад дошел до слов:

А кони в сумерках колышут гривами,
Автобус старенький бежит, звенит,
А Лена, Леночка мне б за двугривенный
В любую сторону твоей души...

…появился наряд милиции. Но не обычный, а в камуфляжной форме, в черных беретах, с дубинками по бокам и наручниками сзади курток.

— Почему нарушаем? — спросил старший.

— Мы больше не будем, — детским голоском произнес Юрась, а Борода наступил ему на ногу.

— Конечно, не будете, — сказал жестко старший, посмотрев на Юрася и оценив степень опьянения последнего, — это вам не Париж… пакуем всех…

Влад укоризненно посмотрел на Юрася, а тот пожал плечами, мол, а чего я такого сказал?

Положение спас какой-то мужик в гражданском. Он подошел к старшему наряда, предъявил удостоверение и что-то произнес.

Старший приложил руку к берету и, повернувшись, покинул сценическую площадку.

Тут на радость всем объявили посадку, и провожающие и отлетающие двинулись к одному из пунктов досмотра.

— Слушай, — спросил Влад Бороду, — ты рядом стоял с ними, что он сказал этому в берете?

— Потом скажу, — ответил ему Борода, — а пока провожаем Лену.

— Счастливого пути, — произнес Влад.

— Мягкой посадки, — добавил Юрась, — и кивнул в сторону ушедших сотрудников, — не такой как у нас…

— Типун тебе на язык, — произнес Борода.

Елена и Павел скрылись за дверями накопителя, а каскадеры отошли в сторону от очереди пассажиров и сели на диванчики неподалеку от выхода.

* * *

Ходкевич в очередной раз звонил шефу якобы из телефона-автомата села, которое они проезжали.

— Ну, а я причем, — говорил он, — сначала ждали автозак, потом ехали, потом что-то случилось с машиной, потом с автозаком…

— А позвонить раньше ты не мог? — бесновался шеф, я бы выслал тебе другую машину.

— Не мог, я не олигарх какой-нибудь, мне на службе мобильных телефонов не дают.

— Вашу мать, — кричал шеф, — с завтрашнего для заведите пейджер.

— Есть шеф, — ответил Ходкевич, — заведу пейджер, а как им пользоваться?

— Ты что, Ходкевич, из себя и меня дурачков строишь, не трать время, езжай в аэропорт… Ставлю тебе еще одну задачу…

Когда Елена с Павлом скрылись за перегородкой накопителя, каскадеры уселись в креслах напротив табло.

— Чего мы ждем? — спросил Юрась у Бороды.

— Сейчас скажу, — ответил тот.

— А за кем наблюдаешь? — спросил Влад.

— Сейчас отвечу.

— Отвечай быстрее, не томи.

— Ну, если ты так хочешь, то, пожалуйста, — сказал Борода.

Отвечаю на вопросы по мере поступления. Тот мужик, который не дал нас «упаковать», сказал старшему наряда: не трогай их, они наши…

— Что значит, наши? — переспросил Влад.

— Ни хрена себе, — произнес Юрась, — он что, за нас заступился?

— Скорее всего, нет, — произнес Борода, — отвечаю на второй вопрос. Мужик, который за нас «заступился», — это тот же мужик, который наблюдал за нами в кафе на Немиге.

— Вот это да,— удивился Влад.

— И третье, — произнес Борода, — я наблюдаю как раз за ним.

— И что он делает? — спросил Влад.

— Говорит со вторым мужиком и посматривает в нашу сторону.

— Что будем делать?

— Избавляться от компрометирующих вещей, которые могут случайно оказаться в наших карманах.

— А ежели таковых нет?

— Тогда немного посидим, услышим о взлете самолета и пойдем на автобус…

— Тогда я немного посплю, — сказал Юрась и закрыл глаза.

* * *

— Мне, а точнее нам, поставлена новая задача, — сказал Ходкевич, подходя к Толстухе, который вел наблюдение за каскадерами.

— Какая, позвольте поинтересоваться?

— Он сказал, чтобы я не гонял автозак пустым. И если я не успею арестовать Потапову, то должен арестовать актеров.

— Но у нас нет основания…

— Уже есть. Шеф допросил или сказал, что допросил Дражнина, и тот заявил, что может опознать по голосу и очертаниям фигур его похитителей. А так как актриса вероятнее всего улетела, и доказать правомерность их действий некому, то…

— Значит, нужно проводить опознание? Но Дражнин может не «опознать» каскадеров.

— Может, но мне кажется, что он их «опознает».

— Понятно. А как из всего этого выбраться?

— Надо паковать каскадеров, раз команда поступила. Что у тебя в пакете?

— Потом узнаешь, — ответил следователь.

— Но это должно быть дорого?

— Да, не дешево, но такой случай…

* * *

— Впервые видел человека, который предпочитал Минск Парижу, — вдруг произнес Юрась, открывая глаза и потягиваясь.

— Дался вам этот Париж, — сказал Борода.

— Что ты там говорил про мягкую посадку? — спросил Влад у Юрася.

— Да, — вмешался в разговор Борода, — ты бы временами придерживал язык, а то нас чуть было не повязали… Из-за твоих комментариев, между прочим.

— А че я такого сказал… А… вы про это. Ну и мнительные вы стали ребятки, — произнес Юрась, — каждого куста боитесь. Я имел ввиду посадку самолета… А вовсе не посадку в…

— Типун тебе на язык, — произнесли почти одновременно Борода и Влад. Ты же знаешь, пока трюк не окончен, итоги его не подводят.

— Знаю, пошли на воздух…

Они вышли из аэропортовского термина и подошли к остановке автобуса. Наверное, автобус только что ушел. Людей на остановке не было.

— Посмотри на расписание, — попросил Борода Влада, — сколько надо будет ждать?

— Не надо расписания, — произнес чей-то голос сзади, — мы вас бесплатно подвезем.

— На чем? — спросил Борода, оглядываясь и видя перед собой незнакомого парня не старше тридцати лет.

— На машине, на чем же еще можно подвезти столько человек, — ответил парень, — не на лошади же.

И тут все заметили, что к остановке, переваливаясь на выбоинах, подъезжает автозак.

* * *

— А вот и карета за нами, — засмеялся Борода.

— Как ни странно, она действительно за вами, — произнес парень из-за спин каскадеров и представился, — следователь Ходкевич. — Вынужден всех вас задержать и доставить в следственный изолятор.

— За что? — спросил Юрась.

— За компанию, — произнес еще один, но уже знакомый голос, появившийся с другой стороны опера, — за компанию с теми, кто похищает людей.

Опер распахнул дверку автозака. Каскадеры один за другим скрылись внутри него.

— Поехали, — сказал следователь шоферу, — но не гони быстро, наша лайба за тобой не успеет.

Автозак тронулся с места, за ним двинулся автомобиль следователя.

* * *

— Вот уж не думал, что внутри он так примитивно устроен, — сказал Борода, усевшись на деревянную лавку. Какое-то время вся троица сидела молча, прикидывая по скорости движения и поворотам возможное место нахождения автомобиля.

— Вот сейчас мы, наверное, подъезжаем в Кургану славы, — произнес Борода, поскольку автомобиль сделал несколько поворотов.

— А сейчас, — съехидничал Юрась, сидевший на противоположной лавке, — мы выехали на шоссе, ведущее к Минску.

— Интересно, куда нас повезут? — спросил Влад.

— Действительно, интересно, — согласился с ним Юрась, — и нас даже не обыскали.

— А ты откуда знаешь, что нас должны были обыскать?

— Да уж знаю, — ответил Юрась, — попадал в подобные ситуации, правда, в автозаке ездить не приходилось.

Прошло некоторое время, и троица окончательно потеряла ориентировку.

— Где мы? — спросил вдруг Влад.

— А хрен его знает, — ответил Борода, и обратился к Юрасю, — а тебя, разбойник, куда возили?

— В обезьянник Фрунзенского отдела, — ответил Юрась.

— А-а, значит, в тюрьме ты не был.

— Не был, но знаю из общения с себе подобными, что в таких случаях арестованных возят либо на Притыцкого, либо на Володарку.

— Странно как-то нас везут, кругами какими-то, — произнес Влад.

— А, вот остановились… — сказал Борода, — сейчас все и прояснится.

* * *

И действительно, послышался звук открываемой двери, и внутрь автозака запрыгнули уже знакомые троице Ходкевич и Толстуха. Они уселись на разные лавки, и Толстуха произнес, выставив вперед челюсть, как это делают блатные:

— Ну, черти, все по первой ходке или есть рецидивисты?

Актеры обескураженно молчали.

— Это перваки, — сказал следователь, в руках у которого был все тот же пакет.

— А-а, перваки, — повторил опер, обращаясь к следователю,— поэтому не знают наших тюремных традиций.

— И что же это за традиции? — мрачно спросил Борода.

— А кто к нам первый раз попадает, — ехидно произнес опер, — тот и проставляется, не знали?

— Не-а, — сказал Юрась, — у нас все не так…

— У вас точно все не так, — продолжал куражится опер. — Кто же вас надоумил этот спектакль с Дражниным разыграть, а если бы он с перепугу дуба врезал?

— А кто такой Дражнин? — спросил Влад.

— Да, — поддержал его Юрась. — Кто такой Дражнин?

— Чем он знаменит? — включился в разговор Борода, — он снимался у Ефремова?

— Он снимался у Спилберга в фильме «Инопланетяне», — сказал опер, — у него была роль второго плана, а вот инопланетян там играли трое белорусских каскадеров. Вот только запамятовал их установочные данные.

— А что такое установочные данные? — спросил опера Борода.

— А вот когда будешь, дядя, заполнять тюремную анкету, тогда и поймешь, — неласково ответил опер.

Потом он свирепо оглядел каскадеров и обратился к следователю.

— Они не знают, кто такой Дражнин.

— И что из этого следует?

— Из этого следует, что мы задержали не тех.

— Ну и что. Надо же кому-то отвечать за содеянное. За все надо платить, и они лучше других это знают, у них, как у мушкетеров, был такой девиз.

— Нет, Витя, — сказал опер, — ты что-то перепутал, у мушкетеров был вполне интеллигентный девиз «один за всех и все за одного». А здесь все более запущено.

— Это почему запущено? — искренне обиделся Борода. — Мы от своего девиза не отказываемся.

— И прекрасно, — сказал следователь. — Ведь надо же кому-то за все похищения ответ держать.

— Э-э, нет, — сказал Борода, — за все похищения мы ответ держать не собираемся.

— А вы как думали, — продолжал куражиться опер, — украл один раз и за это отсидел. Ничего подобного. Ведь краж много, а попадаются воры редко, вот на них все кражи и списывают, чтобы раскрываемость была стопроцентной…

— Не может быть, — искренне удивился Влад.

— Может, господа каскадеры, все может быть, если в такие дела влезают случайные люди, полагающие, что им закон не писан.

— Все как раз наоборот, — сказал Борода, — мы-то полагали, что закон как раз для нас и писан, чтобы мы могли за себя и за других постоять. Раз вы нас задержали, значит, можете что-то предъявить. Предъявляйте.

— Ты знаешь, Витя, откуда эта реплика? Из фильма «Любить по-русски», где самый фактурный из нашей троицы играл… кого бы ты думал?

— Не знаю, — подыграл оперу следователь.

— Ты не поверишь, начальника следственного изолятора. Вот отсюда и знание уголовного права, и умение отличить арестованного от задержанного.

— Хватит куражиться, — вдруг взорвался Борода, — раз мы задержаны…

— А скажите мне, — начал свою волынку опер, — кто вам сказал, что вы задержаны? Витя, ты говорил?

— Нет, — сказал следователь.

— Правильно, мы их не задержали, мы их подвезли из аэропорта в Минск. И сейчас, после процедуры фотографирования, снятия отпечатков пальцев, они могут быть свободны.

* * *

— Как свободны? — спросил Борода. — Вы нас отпускаете под подписку…

— Да, — сказал следователь, расстилая на противоположной от каскадеров лавке газету, устанавливая на ней две бутылки коньяка и ломая на куски плитку шоколада, — считайте, под подписку.

— Начальник, — между тем прокричал опер кому-то наружу, — автомобиль в комплекте? У тебя были охотничьи!

Через решетку окна водитель протянул оперу шесть, вложенных одна в одну, металлических стопок. Следователь разлил в них коньяк.

— Ну…

— За что будем? — не дал ему договорить Борода, который первым из «задержанных» пришел в себя.

— За силу искусства, — ерничая, произнес опер.

— Которая помогла нам раскрыть дело, — добавил Ходкевич и опрокинул стопку. Тоже самое сделал Толстуха.

Актеры, переглянувшись, повторили движения опера и следователя, но по-своему.

Час спустя, к стоящему на обочине автозаку подъехала милицейская машина. Возможно, она бы проехала мимо, но из автозака раздавалась песня.

— Случилось что? — спросил водителя автозака сотрудник милиции.

— Не-а, — ответил водитель.

— А там кто?

— Артисты.

— Понятно, — усмехнулся сотрудник, и машина поехала дальше.

А внутри автозака только что закончилось братание и начались «разговоры». Причем Влад говорил с опером, а следователю достался Борода.

Юрась, которому коньяк попал «на старые дрожжи», вырубился и спал в углу автозака.

— М-мужики, — сказал захмелевший следователь, — я вас уважаю.

— И я, — произнес с соседней лавкиопер.

— Благодаря вам мы нашли организатора всех похищений, — сказал следователь.

— Ну, положим не всех, — поправил его опер.

— Это как сказать.

— А Потапова укатила? — спросил опер Бороду невпопад.

— Да.

— И сына прихватила?

— Да, но на время. Он не хочет жить в Париже постоянно.

— Странно, — пьяно произнес опер, — есть люди, которые не хотят жить в Париже?

— А ты-то сам хочешь? — спросил его следователь.

— Че я там потерял, — ответил опер, — я горэлку люблю салом закусывать, а не лягушками.

— Логично, — произнес следователь.

— Занятная история, — сказал Борода, — в которой каждый достиг, чего хотел. Кто хотел в Париж, уехал в Париж, а кто не хотел, тот остался.

— Ну, я, например, не хотел ни туда, ни сюда, — произнес следователь пьяно. — Я только хотел расследовать это дело и найти виновного.

— И нашел? — спрашивает Борода.

— Дело не расследовал, но главного виновного знаю.

В это время раздался стук по корпусу автозака, и жалобный голос водителя произнес:

— Мужики, у меня смена кончилась.

— Так, — сказал следователь, — мужики, смена закончилась, разъезжаемся по домам.

— Погоди, — сказал опер, — а спеть? Мы на гитаре сидим и ничего еще не спели.

— Давай, Влад, — сказал Борода, — «деньжат не густо отвалил».

— Нет, — произнес Борода, — у Влада есть классная песня о трюках на лошадях.

— А чем трюки на лошадях отличаются от прочих ваших трюков? — спросил опер.

— В трюке на лошади два участника, это каскадер и лошадь. Но лошадь находится в неравном положении с каскадером. Потому что каскадер знает, когда он сделает подсечку, и готов встретиться с землей, а лошадь этого не знает.

— Хорошо, — сказал следователь, — пусть будет про лошадь.

— Когда-то Высоцкий написал песенку сентиментального боксера, а Влад написал песенку сентиментального каскадера, который чувствует свою вину перед вторым партнером, то есть лошадью. Давай Влад и без вступлений, времени уже нет.

Но Влад не был бы Владом, если бы позволил себе не сделать струнного вступления и только потом начал.

Сюжет простой, я за кого-то
Свалюсь на бешеном скаку.
И никогда ты не узнаешь,
Мой конь, когда я подсеку.

Рвану шрабат, подкараулив,
И зло заржав, ты рухнешь с ног.
И небо враз перевернется,
И небо враз перевернется,
И мы завалимся на бок.

А что такое шрабат, — спросил тихо следователь у Бороды.

— Петля такая, ее одевают на переднюю бабку лошади, а другой конец у каскадера в руке.

— Вы про какую бабку? — так же шепотом, спросил опер.

Но следователь махнул ему рукой, мол, не мешай, и все продолжали слушать песню Влада.

Ну, ты прости меня, дружище,
Хоть и удача любит нас,
Но у меня побольше выбор,
Но, у меня ведь больше выбор,
А значит, выжить больше шанс.

— Мужики, — вновь раздался стук по обшивке, — у меня смена кончилась.

— Сейчас, — заорали в три глотки Борода, опер и следователь.

И стали подтягивать Владу в заключительном куплете.

Мой конь как сжатая пружина
Хрипит, кусает удила,
На взводе мы, но он не знает,
На взводе мы, но он не знает,
Когда я упаду с седла.

— Мужики, — снова запричитал водитель, — смена у меня…

* * *

От автозака все расходились пешком.

Перед тем как расстаться, Борода сказал:

— Мужики, сегодня нам повезло, но у этих ребят есть свои начальники, и они могут иначе на все посмотреть. Берем отпуск на пару недель и исчезаем из Минска.

Примерно в такое же время прощались друг с другом опер и следователь.

— Что скажешь шефу завтра? — спросил Толстуха.

— Скажу, что у них алиби, — ответил Ходкевич.

* * *

Прошло две недели, и в кафе на Немиге встретились Влад и Борода.

— Слушай, брат, — сказал Борода, — пока ты прятался в пуще, я свое следствие стал проводить. Понимаешь, чувствую я вину свою перед Павлом, вдруг я ему судьбу сломал. Кстати он через неделю прилетает назад. Не может жить в Париже.

— Ну и куда ты со своим следствием пришел?

— Мне не хватает какого-то штриха до полной завершенности, — сказал Борода.

— Ну, так найди этот штрих, или сделай его.

— Вот сегодня у меня свидание в парке Горького с одной дамой. Возможно, там этот штрих и найдется.

* * *

Борода опоздал на свидание, и в условленном месте на берегу Свислочи никого не было. Однако Александр решил ждать. Он понимал, что эта встреча интересна не только ему, но и тому, кто должен прийти на свидание.

* * *

— Привет, дядя, — раздался рядом знакомый голос.

— Привет, Жанет, — отозвался Борода, — садись, покалякаем о житии нашем грешном.

— Я полагала, что мы все уже обсудили, но тебе неймется, — сказала Жанет, — опять путаешь кино с реальностью.

— Тебе сколько лет? — перебил ее Борода.

— А какое это имеет значение?

— Да просто если тебе нет двадцати, я доскажу тебе сказочку об одной скверной девчонке по имени Юля, которую все почему-то зовут Жанет.

— Заколебал ты меня со своими сказочками, — ответила Жанет.

— Так вот, — произнес Борода, не слушая ее. — Эта девчонка очень хотела увидеть Париж.

— Ты мне об этом уже говорил.

— Не торопись затыкать уши, повторение — мать учения.

— И что в этом зазорного?

— Наверное, ничего, если бы для достижения своей цели она не нашла парня, у которого в Париже живет мать. И не стала склонять его к переезду

во Францию. Но парень сказал ей, что у него свой Париж в самом центре Европы. И тогда девочка втянула юношу в долги Кривому. А затем нашла взрослого дядю по фамилии Дражнин, который тоже был в долгах как в шелках. Наша девочка вызвалась помочь ему избавиться от долгов, похитив понарошку Павла и выудив деньги у его матери. Как сказочка?

— Дурак ты, дядя, — неожиданно грубо оборвала его Жанет, поднимаясь со скамейки и направляясь прочь, — ты так ничего и не понял…

* * *

С момента той встречи прошло четыре дня.

Борода и Влад снова встретились в кафе.

— Ну что, — спросил Влад, — нашел последний штрих в этой щемящей душу истории?

— Не-а, — ответил Борода, — зато вчера видел вещий сон. Мне все время не давали покоя наручники, которыми была прикована Жанет к батарее.

— И что?

— И вдруг на днях я вижу во сне девицу, стоит она на горе, держит в руках ключ и говорит: «Дурак ты, дядя».

— И что из этого следует?

— Не знаю, но мне кажется, вот-вот все прояснится.

— Не лез бы ты куда не зовут. Смотри, как все хорошо закончилось. Как в кино.

— Я бы так не сказал. Ты помнишь, что Ленка уезжала в платке?

— Да.

— Это вовсе не новая парижская мода. Она за эти дни поседела.

— О, елы-палы, к нам идет некто Дражнин, — тихо сказал Влад.

— Ребята, мне надо с вами поговорить, — произнес Дражнин, присаживаясь за столик.

— Вы, видимо, ошиблись, — ответил Влад.

— Нет, мне сказали коллеги…

— Какие коллеги?

— Из следотдела.

— Ну, конечно, ошиблись, — почти одновременно произнесли Влад и Борода, поднимаясь из-за столика.

— Ребята, — почти закричал Дражнин, — вы не знаете какие это страшные люди…Они как дети, убивают играючи…

— Не провоцируйте нас, — сказал Борода, — К тому, о чем вы говорите, мы не имеем никакого отношения.

Каскадеры мгновенно покидают сценическую площадку, а оставшийся на ней персонаж опускается на стул и затравленно смотрит по сторонам.

* * *

— Деньжат не густо отвалил, зато шутил, зато хвалил… — мурлычет себе под нос Борода, копаясь в моторе очередного автомобиля.

Неожиданно рядом с машиной появился опер.

— Привет, начальник, — произнес он и бросил на капот фотографию мертвого Дражнина.

— Что с ним произошло? — спросил Борода, вытирая руки тряпкой.

— Его избили малолетки. Хотя надо бы сказать забили… арматурными прутьями и альпийскими ботинками. Эксперты говорят, что ему нанесено не менее сотни ударов.

— Когда это произошло?

— Вчера вечером.

— Их задержали?

— Нет. Жители Зеленого луга посчитали это молодежной разборкой. Пока наряд прибыл, там никого уже не было.

— Я надеюсь, что меня вы не….

— Нет. Хочу только спросить. Кто-нибудь видел ваши лица?

— О чем это вы?

— Саша, — сказал опер, — не валяй дурака. А его (кивает на фотографию) ты раньше видел?

— Да, — неохотно произнес Борода, — вчера он приходил ко мне с какими-то провокационными советами о том, что я должен быть осторожен.

— Точно, ты и твои друзья должны быть очень осторожны.

— Мне не понятно, о чем вы...

— Я говорю о молодежной банде, которая занимается похищениями людей.

— Это печально известная банда Кривого?

— Да. Но Кривой — фигура не существующая. Никакого Кривого на самом деле нет. А бандой руководит некий Цезя.

— Это те, кто убивает играючи.

— Да.

— Вы полагаете, что Дражнин…

— Я полагаю, что Дражнина положили шпалой поперек потому, что он узнал или увидел то, чего ему не надо было видеть и знать. Это первое, а второе, — тоже самое может случиться, если кто-то из них видел вас во время ваших трюков. Цезя шуток не любит и фальшивой игры не прощает.

— А что ж вы не арестуете этого Цезю?

— Во-первых, нет доказательств. Во-вторых, его никто не видел. И вполне возможно, что Цезя такой же миф, как и Кривой.

— И кто же создал такой миф?

— Может быть, взрослые уголовники, они иногда прикрываются малолетками, а может быть, этот нарост возник сам по себе…

— Хорошо, — сказал на это Борода, — сегодня же поговорю со всеми заинтересованными лицами.

— Поговорите, — сказал Толстуха, — и вот еще, вчера из Парижа прилетел Павел.

— Я и с ним поговорю.

— Прекрасно, успехов вам всем.

Опер покинул площадку мастерской, а Борода позвонил Владу, попросил его найти Юрася и назначить встречу в кафе на Немиге.

* * *

— Итак, — произнес Борода, — я собрал вас, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие.

— К нам едет ревизор, — прервал его Юрась, — так начинался наш дипломный спектакль «Фантазии по Гоголю».

— Не перебивай старших, — сказал Юрасю Влад.

— Короче, вчера вечером грохнули Дражнина.

— А мы тут причем?

— Был у меня этот парень, опер, он сказал, чтобы мы поберегли́сь.

— Нам ничего не угрожает, — произнес Влад, — нас никто не видел. Ты что все время вниз смотришь?

— Хочу рассмотреть последнюю молодежную моду, альпийские ботинки, — сказал Борода.

— Я таких не видел, — произнес Влад.

— И я… — пьяно сказал Юрась, качнувшись.

— Все это может быть милицейской игрой.

— Дай-то Бог, — произнес Борода, отпив глоток сока.

— Павел еще не прилетел?

— Прилетел, и мне сегодня же нужно заехать к нему, поговорить.

— Не переживай, — сказал Влад. — Мы хорошо отыграли. И никому не перешли дорогу. А значит, можем спокойно лечь на дно.

— Слушай, а ведь неплохой сюжетец был бы, — сказал Влад.

— Точно, — подтвердил Борода, — а заканчивался бы фильм тремя эпизодами. Вечер, огни на арене, и ты стоишь в униформе, а после — кадры из фильмов с твоим участием. А потом я, копающийся в двигателе автомобиля, и мои трюки.

— Ну да, — ехидно произнес Юрась, — а потом кадры с моими фильмами, и я с бомжами возле магазина.

— Нет, тут не хватает еще одного эпизода, — сказал Борода. — Париж, и Елена крутит фильмы со своим участием.

Борода взглянул на часы.

— Ладно, — сказал он, — мы обо всем договорились, мне пора, я должен быть у Павла первым.

— Как знаешь, — ответил на это Влад, — а мы с Юрасем еще посидим.

* * *

На проспекте Шевченко Борода долго не мог припарковать автомобиль. Наконец это ему удалось, и он направился к дому Павла. Было уже темно, фонаригорели плохо. Борода больше смотрел себе под ноги, чем по сторонам. И тут он увидел три пары альпийских ботинок. Борода поднял голову.

Перед нимстояла Жанет, а по бокам ее два крепких парня с арматурными прутьями в руках.

— Привет, дядя! — сказала девушка.

— Жанет? — произнес Борода, подавляя растерянность.

— Ну, Жанет меня зовут в миру, а для близких людей я — Цезя.

— Вот те раз, — произнес Борода.

— Вот те два, — ухмыльнулась Жанет-Цезя.

— Ты ждешь меня?

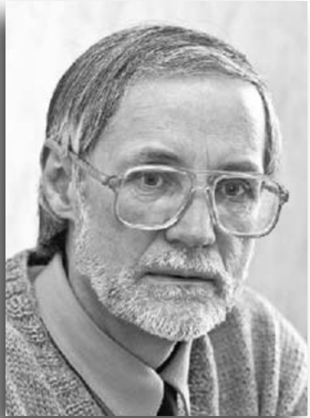
— Да.

— Зачем?

— Хочу рассказать тебе сказочку.

— О чем? — удивился Борода.

— О том, что за все надо платить.



ГЕННАДИЙ АНУФРИЕВ

Ощущения

Тишина

В проем
открытого окна,
Сливаясь
с запахом сирени,
Течет,
сгущаясь,
тишина,
Как земляничное варенье...

Имя

Светлее,
светлее...
И вот — рассвело.
Все светом наполнилось странным.
И стало кругом не светлым-светло,
А стало светлым-светланно...

Ощущения

Отшумела летняя гроза,
Радугою путь свой обозначив.
А березка спрятала глаза,
Напугавшись, еще тихо плачет.
Посмотри, ведь дождь давно прошел!
Небо просветлевшее умыто,
И вокруг так ясно и свежо,
Будто книга лучшая открыта.



АННА ГАЛАНИНА

В двух шагах от весны

* * *

Мы разной выделки кожи
одного и того же зверя.
У тебя по ночам тоже
ноют раны, когда двери —
сквозняком? А когда светит
ясной ночью луна — грустно…
А еще я люблю ветер
на предгорьях. Он там вкусный.
И мне нравится день ясный —
за грозою… И шум леса —
я ходила туда часто
соловьиную ждать мессу…
Я, конечно, люблю лето —
и по-детски ему рада…
Ты скажи — может, там, где ты,
это — так же тебе надо?..

* * *

Жить со счастьем по соседству
на границе сонных улиц,
где бегут трамваи в детство,
чуть от старости сутулясь.
Говорить прохожим:
— Здрасьте, —
и идти неторопливо
в старый сад, где дремлет счастье
на скамеечке под сливой.
На ходу считая мелочь —
двадцать две копейки, хватит —
эскимо купить и сделать
пояском короче платье.
Отыскать дыру в заборе,
посмотреть — никто не видит —
и в кино пройти. Пусть спорят:

— До шестнадцати не зритель!
Потеснится ряд мальчишек,
после шепот, смех, но скоро
вам сердито скажет:
— Тише! —
тетка старая, лет сорок.
А потом — домой, зевая —
скучный день, каких не надо.
И не знать, что так бывает
только там, где счастье рядом.

* * *

Тепло, и солнечно, и скучно,
и все немного невпопад…
Березы тонкая верхушка
качается вперед-назад…
Едят мороженое дети —
пломбир и, вроде, эскимо.
А солнце понарошку светит —
как будто здесь идет кино,
и мимоходом, прямо в кадре,
подали жизнь. И все, как есть…
И даже дали точный адрес,
где все взаправду…
Это — здесь…

* * *

День весенний, вечер летний,
поздней осени закат…
Те же запахи в передней,
в зеркалах — все тот же взгляд.
Неизменный бег по кругу,
круговерти колесо…
Не успев пожить, — с испугу
умереть, держа лицо…
Как всегда наступит вечер,
день, закат и круговерть…
И опять на чьи-то плечи
ляжет вся земная твердь.

* * *

Ныне, присно и вовек —
холода… Весь мир завьюжен,
и не тает мокрый снег,
и не тонут в реках лужи.

На сосульках провода
обессиленно повисли…
Три трамвая в два ряда
пробежали сонной рысью…

Свет в окне, но темен путь —
фонари прикрыли веки.
Ждать весну недолго — чуть,
ныне, присно и вовеки.

В лабиринтах времени

Чтобы у специалиста по теоретической физике заболела голова и начало нервно дергаться веко, достаточно задать ему невинным тоном несколько вопросов: что такое время? Существуют ли элементарные частицы времени? Можно ли путешествовать в прошлое или будущее? Если нет, то почему? А что такое «петля времени»? Скорее всего, после того, как над вами пронесется ураган обвинений в полном невежестве, вы услышите запутанные рассуждения о том, что время — это четвертое измерение нашего мира, об относительности понятия времени, о его необратимости, о принципиальной невозможности попасть даже в ближайшее прошлое и так далее.

Очевидно, что на большинство вопросов, связанных со временем, наука пока еще не может дать однозначные ответы. Другое дело фантастика: уж кто-кто, а фантасты давно знают, что время обратимо и путешествовать во времени можно десятками способов, в том числе и без каких-либо технических устройств (достаточно усилием воли разорвать связь с текущим временем); что время может идти как вперед, так и назад, ускоряться или замедляться до полной остановки, замыкаться на самое себя, образуя временные петли. Как эти, так и многие другие варианты поведения времени интенсивно изучаются и описываются фантастами вот уже добрую сотню лет после того, как великий Уэллс в своем знаменитом романе «Машина времени», вышедшем в свет в 1895 году, на многие годы предопределил развитие целого направления в научной фантастике (вообще-то, еще до Уэллса о путешествии во времени написал в 1889 году Марк Твен в романе «Янки при дворе короля Артура», но у Твена такое путешествие было всего лишь «техническим» приемом). С тех пор, разумеется, первоначальная идея Уэллса претерпела множество модификаций. Фантасты предполагали, к примеру, что во времени нельзя перемещать материальные предметы; что, передвигаясь во времени, машина остается в той же точке пространства и, соответственно, Земля уходит в сторону за счет движения по орбите; что время имеет спиральную структуру, и прыжки во времени возможны только на целое число витков…

В своих «играх со временем» в десятках и сотнях произведений фантасты отработали не только теоретически допускаемые наукой варианты, но и многие совершенно неожиданные ситуации, обычно определяемые как парадоксы. Например, что будет с путешественником во времени, случайно встретившимся с самим собой? Или с человеком, отправившимся в прошлое и там случайно убившим своего предка (как в романе Рене Баржавеля «Неосторожный путешественник)? Одни писатели уверены, что убийца исчезнет, а вместе с ним пропадет целая ветвь человеческой истории. Другие же уверяют, что в нашей истории ничего не изменится, поскольку во времени образуется развилка, после чего параллельно будут развиваться два мира, все более и более различающиеся с того момента, когда в одном из них было совершено убийство.

Рэй Брэдбери на вопрос о том, что произойдет в будущем, если в прошлом изменить самую малость — например, раздавить бабочку — отвечает: изменится

все, причем самым кардинальным образом (рассказ «И тогда мы услышали гром»). С Брэдбери согласен англичанин-фантаст Джон Уиндем, считающий, что случайное вмешательство в прошлое может вызвать если и не катастрофические последствия, то заметное изменение естественного хода истории (рассказ «Хроноклазм»). Многие же писатели сходятся на том, что любые изменения в прошлом с течением времени постепенно сглаживаются, сходят на нет, после чего все возвращается на круги своя. Короче говоря, есть две модели воздействия на будущее: по принципу карандаша, поставленного на торец (едва прикоснешься — и карандаш упадет) и по принципу волчка (сколько ни толкай его, ось вращения все равно займет прежнее положение).

В любом случае, чтобы избежать возможных неприятных последствий, фантасты предусмотрели сложную систему охраны времени от «неосторожных путешественников». Так, например, в своем знаменитом цикле «Патруль времени» Пол Андерсон описывает полицию времени, преследующую нарушителей и устраняющую причины возникающих в будущем изменений. В романе Айзека Азимова «Конец вечности» также существует жесткая система контроля за нежелательными изменениями в обществе, которые устраняются путем ликвидации в прошлом первопричин этих изменений.

В рассказе французского писателя Жерара Клейна «Развилка во времени» человек разговаривает по телефону с самим собой после того, как развилка во времени привела к возникновению двух самостоятельных будущих, в одном из которых герой рассказа гибнет, несмотря на посланное самому себе предупреждение.

И так далее, и тому подобное. Продолжать можно было бы еще достаточно долго, но оставим фантастам и физикам-теоретикам перебор всех возможных вариантов поведения времени. А читатель, заинтересовавшийся этой проблемой, может перейти к чтению подборки новелл, в которых он сможет лично познакомиться с опасностями путешествий во времени.

Игорь НАЙДЕНКОВ



ЖАН КО

Райские новеллы

История с географией

— Знаешь, я рад, что могу поговорить с тобой... Давай присядем здесь. Каждый год, как только наступает март, ко мне возвращаются мои болячки... Не люблю я весну.

Он опирается на трость с наконечником из черной резины. На нем зеленая шляпа, по которой расплываются свинцовые разводы. У него слегка трясется, не переставая, голова и слезятся глаза. Их постоянно приходится вытирать скомканным клетчатым платком. Желабер помогает ему усесться на скамье в городском саду, прямо на солнце. Напротив них, на другой стороне газона, дети играют в футбол. Иногда мяч выкатывается на траву газона, по которому запрещено ходить. Тогда вратарь, украшенный наколенниками, вырезанными из автомобильной покрышки и закрепленными с помощью веревок, оглядывается на сторожа, болтающего со своими приятелями, и опрометью мчится за мячом.

— Я рад, что могу поговорить с тобой, — повторяет учитель.

Он поворачивается к Желаберу и улыбается слезящимися глазами.

— Не знаю, почему приходит эта боль. Доктор говорит, что это просто артрит. А я думаю, что это артрит-четырнадцать.

— Как? Артрит-четырнадцать? — вежливо переспрашивает Желабер.

— Да. Я его так называю. Четыре зимы в окопах, постоянно мокрая одежда. Солдаты, привозившие похлебку на позиции, прижимались спиной к походной кухне, и спина у них дымилась... Ну а ты выглядишь прекрасно. Это самое важное.

— Конечно, месье Латур.

— Я рад, что ты зашел повидать меня. Твои родители здоровы? Я иногда встречаю твоего отца, и мы разговариваем о тебе. Знаешь, он так гордится тобой. Я говорю ему: «Меня не удивляют его успехи, ваш Жанно всегда был примерным учеником». Ты прекрасно успевал по языку и математике, хорошо запоминал стихи. А вот про географию и историю я бы этого не сказал.

Желабер улыбается.

— С тех пор я заметно продвинулся, месье Латур.

— Это очень важные предметы.

— Да, конечно.

— В этом парке полно дроздов. Среди них есть один, такой любопытный... Он всегда наблюдает, как играют дети. Он даже гоняется за мячом и пытается клюнуть его. Наверное, он думает, что это такое большое зерно. А ты все еще воспитываешь дроздов?

— Нет, месье Латур.

— У тебя раньше был дрозд. Он уже умер?

— Да.

— А вот меня убьет артрит-четырнадцать. По сути, про нас, стариков, можно сказать, что каждого из нас рано или поздно убьет прошлая война.

— Но вы еще выглядите весьма бодрым, месье Латур.

— Бодрым, бодрым... Я бодр, как мертвец, так будет вернее. Все, что у меня осталось в хорошем состоянии, так это голова.

И он стучит по лбу рукояткой трости.

— И моя голова может многое вспомнить. Недавно я сказал твоему отцу: «Знаете, мне было бы очень и очень приятно поговорить с вашим Жанно». Он ответил: «Я скажу, чтобы он заглянул к вам». А я сказал: «Я побеседую с ним. Мне нужно знать, каким он стал».

Мячик отскочил от кого-то из детей и закатился под скамью. Желабер подобрал его и отфутболил игрокам.

— Они хорошие дети, эти разбойники, но я хотел бы знать, как они учатся в школе. Они каждый день гоняют здесь мяч. Вряд ли таким образом они смогут выучить таблицу умножения и запомнить спряжение глагола «возвращаться». А ты помнишь это?

— Да, месье Латур. Я возвращаюсь, ты возвращаешься...

— А будущее?

— Я вернусь.

— Прошедшее?

— Я возвращался.

— Да, в грамматике ты силен. А вот с географией у тебя не все ладилось. Ты сказал, что с тех пор ты добился успехов?

— Думаю, да, месье Латур.

— Хорошо. Где начинается Гаронна?

— В долине Аран.

— И заканчивается?

— Она заканчивается эстуарием... Его называют Жиронда.

— Так, так. А как называется слияние Жиронды и Дордони?

— Ну-у-у... Нет, нет, я знаю...

Месье Латур стучит своей тростью с резиновым наконечником.

— А вот и не знаешь. Это место называется мыс Амбэ.

— Да, конечно!

— Да, конечно, да, конечно! Но ты же не знал этого! Главный город департамента Крез?

— Гере.

— Департамента Майенн?

— Лаваль.

— Верхних Альп?

— Динь.

— Нет! Гап!

— Да, правильно. Динь — это департамент Альп.

— Ты говоришь «да, правильно», после того, как тебя поправили. А когда был объявлен нантский эдикт?

— Э-э-э... Точная дата?

— Конечно, нужна точная дата, которой ты не знаешь. Это было в 1598 году, малыш. А если я спрошу тебя, когда он был отменен?

— В 1685 году.

— Вот как, ты знаешь даже это! Ты меня приятно удивляешь... Но все же ты, как и раньше, слабоват в географии и истории. Ладно, я все равно рад, что повидал тебя. Давай пройдемся немного. Помоги мне подняться.

— А ваш артрит-четырнадцать, месье Латур?

— Мне больно, когда я хожу, но если долго сидеть, у меня все тело немеет.

Они идут аллеей парка. Идут очень медленно. Желабер с трудом приноравливается к походке месье Латура.

Он поднимает взгляд на Желабера.

— Ты очень вырос.

— Да, месье Латур.

— Ты всегда одеваешься так аккуратно? Это правильно. Командир должен служить примером. А ты долго еще пробудешь здесь, у своих родителей?

— Еще пару недель.

— Потом ты уедешь?

— Да, месье Латур.

— Там очень трудно?

— Как сказать... Зато я там осваиваю географию.

Они останавливаются.

— Вам плохо, месье Латур?

— Немного. Я должен отдышаться.

— Вы можете опереться на мою руку.

— Да. Спасибо. Ну, тронулись.

Они идут дальше.

— Отец гордится тобой больше, чем другие. Когда тебе присвоили звание майора, он зашел ко мне, чтобы рассказать об этом. Он показал твое письмо и твердил: «Майор в тридцать восемь лет! Какой молодец, мой Жанно! Вы представляете, месье Латур? Майор парашютистов! И все это без малейшего блата!» Я слышал, что ты был три раза ранен. Славный человек твой отец. Ну-ка, покажи свои погоны... Тут нужны хорошие глаза... Эта ваша теперешняя форма... Конечно, у меня сейчас зрение уже не то, что раньше. Врач говорит: «Это конъюнктивит». А я отвечаю: «Конъюнктивит-четырнадцать. Газы». А тебе нравится в Индокитае?

— Если бы не было войны...

— Если бы не было войны, Жанно, ты бы не был майором. Как, красивая страна?

— Да, очень красивая.

— Столица Тонкина?

— Ханой.

— А Аннама?

— Хюэ.

— Хорошо. В каком году установлен протекторат Франции? И кем?

— Жюлем Ферри, месье Латур.

— Очень хорошо. В каком году?

— В каком? В 1882... Или в 85? Нет?

— В 83! Ах, Жанно, даты! Даты! Ты можешь быть майором в тридцать восемь лет, как любит говорить твой отец, но даты остаются твоим слабым местом. А в каком году Наполеон III покорил Кохинхину?

— В 60?

— С 59 по 62. Так, так... Главный город Финистера?

— Кемпер.

— Супрефектуры?

— Брест, Морлэкс и...

— И?

— Я забыл, месье Латур.

— И Шатолэн, Жанно. Шатолэн! Запомнишь, мой майор?

— Да, месье Латур.

Удар когтей

По пляжу всегда бродит один и тот же старик. От него хорошо пахнет, и вокруг шеи у него обмотан большой, розовый шарф. Он подходит к цыганенку и наблюдает, как тот забрасывает в море удочку. Удочку? Это просто леска, к одному концу которой привязан кусок свинца и тройной крючок, на котором

краснеют три кусочка мяса. Цыганенок притворяется, что не замечает старика. У того красновато-коричневый цвет лица и под глазами мешки, наполненные алкоголем. Цыганенок думает: это один из inglès[1], этот señor muy viejo[2]; но почему он никогда не заговорит со мной? Каждый день в одно и то же время (если точно, то в пятнадцать часов) цыганенок приходит на пляж со своей леской, намотанной на дощечку. Он вырывает в песке ямку, такую глубокую, что скоро туда просачивается морская вода, образуя небольшую лужицу. В эту ямку нужно пускать пойманную рыбу. Но цыганенку никогда не удается поймать рыбу; когда он забрасывает наживку рукой, она падает в воду слишком близко от берега. Если бы у него было удилище и катушка, тогда, может быть... Только удилище и катушка стоят здесь, в Испании, очень дорого, а цыганенок беден. Вот если бы señor inglès и muy viejo догадался...

Ровно в шестнадцать часов появляется старик. Он тащит с собой складной стул и устраивается в нескольких метрах от цыганенка. Он наблюдает с грустным вниманием, как тот ловит рыбу. Через пару недель он заговорил по-испански.

— Ты откуда? — обращается он к цыганенку.

— Из Кордовы, сеньор.

— Что же ты делаешь здесь, если ты из Кордовы?

— Я здесь живу у дядюшки, сеньор.

— И ты ловишь рыбу?

— Да, сеньор.

— Но ты ни разу ничего не поймал!

— Не поймал, сеньор.

— Так зачем же ты ловишь?

— Потому что однажды я, может быть, поймаю рыбу.

— Ты очень терпелив.

— Да, сеньор.

— Сколько тебе лет?

— Тринадцать, сеньор. А вы americano?

— Inglès.

Старик, который так хорошо пахнет, зажигает длинную сигарету. Цыганенок никогда еще не видел такой длинной сигареты. Когда старик курит, он закрывает глаза. Старик думает, что он гораздо терпеливее, чем цыганенок, который терпеливее, чем рыба. Цыганенок думает, что если бы señor inglès подарил ему удочку с катушкой, то он поймал бы много рыбы. Если бы только осмелиться, он сказал бы сеньору, что с удилищем и катушкой... Если señor еще раз заговорит с ним, то он скажет ему, что с удилищем и катушкой совсем нетрудно ловить рыбу.

На следующий день он снова пришел, такой же дряхлый, волоча за собой свой складной стул. Он уселся на том же самом месте. Цыганенок забросил в море свою леску со свинцом десять, двадцать, сто раз. И каждый раз он раскручивает ее над головой, как это делает ковбой, забрасывая лассо, потом резко отпускает, издавая «хаа!», и следит за траекторией летящего кусочка свинца, падающего затем в море на конце сразу ослабевающей лески. Около шести часов señor muy viejo ушел, волоча за собой складной стул и так и не сказав ни слова. По пути он одним движением руки забросил на плечо свой розовый шарф.

Он не заговорил со мной, думает цыганенок, и я не смог сказать ему про удилище и катушку.

Весь декабрь цыганенок ежедневно забрасывал в море леску со свинцом, но так и не поймал ни одной рыбы. Однажды он вытащил на берег подгнивший апельсин. Он был доволен, хотя, конечно, апельсин это совсем

[1] Англичан (исп.).
[2] Очень старый сеньор (исп.).

не рыба. И каждый день приходил старик, усаживался на одно и то же место и смотрел на море и цыганенка. Но он ни разу не заговорил с ним, и поэтому не могло быть и речи об удилище и катушке. Теперь цыганенок был очень сердит на сеньора muy viejo. Он ненавидел его. Если он и приходил еще на море ловить рыбу, то только по привычке. И еще потому, что был очень злой. Злился же он потому, что señor inglès не хотел дать ему песет, чтобы можно было купить удилище и катушку.

* * *

Сегодня старый сеньор расставил свой складной стул и подошел к цыганенку.

— Осторожно, берегитесь свинца, сеньор.

— Как тебя зовут?

— Маноло, сеньор.

— Что это там, наверху? — Он указал вытянутой костлявой рукой на развалины строения.

— Люди говорят, что это замок, сеньор. Он очень старый.

— Туда можно подняться?

— Да, сеньор. Вы можете подняться туда.

— Я слишком стар для этого.

— Туда есть хорошая тропинка, и мы можем подниматься медленно. — Цыганенок сказал «мы» и покраснел.

— Ты проводишь меня?

— Да, сеньор.

— Мы пойдем завтра, на закате.

— Как скажете, сеньор.

— Но завтра Рождество. Ты все равно придешь на море?

— Да, сеньор.

Цыганенок думает, что señor inglès, который помнит, что завтра Рождество, подарит ему песеты, чтобы он купил катушку и удилище. Он богатый, а богатые всегда дарят подарки на праздник.

* * *

Хотя у него есть трость, señor inglès останавливается через каждые пять метров. Склон очень крутой, и ступеньки, вырытые в земле, давно осыпались, а иногда и совсем исчезли. Когда они добираются до вершины, старик останавливается, опершись на трость, и тяжело дышит, опустив голову. Потом он выпрямляется и смотрит на руины и на море.

— Это старинный мавританский замок?

— Я не знаю, сеньор. Смотрите, отсюда видна деревня.

Старик с трудом подходит к краю площадки. Цыганенок, юркий, как белка, опережает его в два прыжка. Старик смотрит на деревню далеко внизу, на белые пятна, которые заходящее солнце заволакивает розовой дымкой. Опираясь на трость, он долго смотрит на медленно умирающее белое пятно. Похоже, будто земля постепенно затягивает в себя меловое озерцо. Он совсем забыл про цыганенка.

— А, ты еще здесь?

— Да, сеньор.

Цыганенок, крепко держась на широко расставленных ногах, не сводит со старика черных глаз.

— Ну, хорошо, спускаемся.

Цыганенок, загородивший выход с площадки, не двигается с места. Он похож на кота перед прыжком, со сверкающими от бешенства глазами.

— Давай, будем спускаться.

— Нет, сеньор.

Цыганенок медленно приближается к старику. Они смотрят глаза в глаза. Во взгляде цыганенка пылает самая чистая ненависть, какая только может существовать на свете. На лице старика — долгая мягкая улыбка.

— Ты хочешь столкнуть меня?

— Да, сеньор.

— Почему?

— Потому, что я хочу купить удилище и катушку.

Костлявая ухоженная рука поднимается вверх вдоль жилета, исчезает и снова появляется с зажатым в пальцах бумажником.

— Сколько это стоит?

Цыганенок открывает рот, но ничего не говорит. Он медленно качает головой. «Нет».

— Я отдам тебе все эти деньги...

— В костлявой руке дрожит пачка зеленых бумажек. Это тысячи, тысячи песет.

— Нет, сеньор, мне нужна катушка.

— Но ты же купишь ее, посмотри...

— Нет, сеньор.

И он прыгает, словно кот, выставив вперед когти и закрыв от бешенства глаза.

Раздается крик. Затем три все более и более слабых удара тела о скалы. И финальный удар. Он наклоняется вперед, но ночь почти наступила, и ему не удается разглядеть сливающееся с камнями изломанное тело. Он опускает в карман бумажник и поднимает трость.

Спуск будет трудным. Он очень стар, склон слишком крутой, и у него нет кошачьих глаз цыганенка, чтобы видеть, куда ставить ногу.

Спереди его полотняная куртка разорвана. Ничего страшного — всего лишь пришедшийся вскользь удар когтей.

Дядюшка Сталин

— Это твоя мать прислала тебя?

— Нет, я пришел сам.

— Так ты сам это придумал?

— Да, месье Сталин.

Старина Каюзак перестает перевязывать стеблями камыша побеги салата, становящиеся от этого совсем белыми, и присаживается на деревянную скамью. Потом он достает из кармана блузы трубку и набивает ее, уплотняя табак большим пальцем.

— Все дело в том, что я совсем не господин Сталин. И, конечно, к нему обращаются: товарищ Сталин. Или маршал Сталин.

— Вы похожи на него.

Это так, они со Сталиным похожи как две капли воды. Так все говорят, потому что давно заметили их сходство. Усы, волосы, глаза, трубка, блуза — все совершенно одинаково. Старина Каюзак — настоящий Сталин. Его правильнее будет называть дядюшка Сталин. На всем протяжении оккупации это невероятное сходство придавало мужества людям. Нередко приходили под разными предлогами и крестьяне из соседних деревень. Обычно они говорили, что хотели купить что-нибудь из его сада, но, увидев его, застывали с открытым ртом. Ведь они видели перед собой живого Сталина. Некоторые даже заговаривали с ним о войне или о политике. Другие делали вид, что принимают все за шутку, но все же не могли удержаться,

чтобы не спросить: «Ведь мы победим, дядюшка Сталин?» И старина Каюзак отвечал: «Да, да, конечно, я как раз этим и занимаюсь». И хитро подмигивал. Все смеялись, но все же немного верили ему.

В прошлом году, 11 ноября, англичане передали из Лондона, чтобы все французы собрались возле памятников погибшим в прошлую войну. На митинге ветеранов мэр, который постоянно слушает Лондон, сказал: «Я предлагаю, чтобы на этот раз знамя нес товарищ Сталин. Он пройдет один к памятнику, потом развернется к нам лицом, и мы будем приветствовать его. Мы поступим так назло петенистам». Так все и получилось. Но сторонники Петена раскусили этот трюк. Они заявили, что мэр все сделал нарочно, и что нельзя было поручать Каюзаку нести знамя только потому, что он похож на Сталина. Этим же вечером они организовали свою церемонию.

— Ну, что там у вас случилось?

— К нам пришли люди из сопротивления и арестовали отца.

— Это были люди из Малепера?

— Да, товарищ Сталин.

— Я знаю их. Они приходят ко мне за картошкой и бобами. Но почему они арестовали твоего отца?

— Потому что он был за Петена.

— Ах, да... Понимаю. Я ему как-то сказал: «Ты делаешь глупость, что идешь за Петеном». А ты, ты тоже за Петена?

— Нет, я за вас, товарищ Сталин.

— Сколько тебе лет?

— Десять.

— А где сейчас твой отец?

— Его заперли в клубе. Но говорят, что его должны отвести в Каркассон.

— И что, по-твоему, я должен сделать?

— Если вы сходите в клуб, отца отпустят.

— И почему?

— Потому что... вчера, когда вы шли в мэрию, все аплодировали вам и кричали: «Да здравствует Сталин!»

— Значит, ты думаешь, что если я займусь этим делом, твоего отца отпустят?

— Да.

— Но почему? Потому, что я похож на Сталина?

— Да.

Старина Каюзак задумчиво посасывает свою трубку и разглаживает рыжие усы.

— Так ты говоришь, что твой отец все еще в клубе?

— Да. И если вы пойдете туда, все будут кричать: «Да здравствует Сталин!»

— И отпустят его?

— Конечно, товарищ Сталин.

Старина Каюзак переворачивает трубку и осторожно постукивает чашечкой о ладонь. Она желтая и твердая, как доска. Слышится негромкое постукивание. Потом он встает.

— Как ни странно, малыш, но ты прав.

— Так вы сходите в клуб?

— Да, схожу. Хотя все это начинает надоедать мне. Ладно, я выпущу твоего отца.. Скажи-ка, у тебя есть тетка в Нарбонн? Это сестра твоей матери?

— Да. Это тетя Лаура.

— Скажи отцу, чтобы он отправился к ней и провел там некоторое время. Понял?

— Да, маршал Сталин.

— Ладно, ладно, можешь называть меня товарищем Сталиным.

Кролик

Коко не может оторваться от созерцания живота кузины Полли. Можно подумать, что она сейчас взлетит, как надутый шарик. Она передвигается, словно перекормленная утка. Она такая круглая, что недавно смеялась, потому что не могла сама завязать себе шнурки, так что это пришлось делать ее бедному Арману. Коко постоянно твердит, что его кузина Полли толстая[3]. Его матери это надоело, и она сказала: «Кузина вовсе не толстая. С чего ты это взял?» Но Коко повторяет: «Полли толстая! Полли толстая!» и надувает щеки. «Если ты не перестанешь, — пригрозила ему мать, — то ты наверняка заработаешь подзатыльник!» Коко замолчал, но не перестал надувать щеки.

Он нередко перелезает через забор и играет вместе с Мике, своим кузеном, у соседей на чердаке. Полли — это мать Мике, а Арман — его отец. Но вот сегодня Коко почему-то оказывается на чердаке один. Снизу доносятся чьи-то голоса, раздаются странные крики. Что там происходит? Коко повезло — он нашел большую щель между досками пола и, встав на четвереньки, может следить за происходящим внизу. И что же он видит? Он видит кузину Полли, лежащую на кровати. Ее большой белый живот ничем не прикрыт, так что она вот-вот взлетит к потолку и заткнет своим животом щель. Она кричит, словно ей очень плохо. Старая Жозефа тоже там. Она говорит: «Принесите горячей воды...» И потом еще: «Полли, кричи, если тебе хочется...» Потом командует: «Осторожно, убери эту подушку! Ты что, хочешь придушить ее?» Еще Коко видит внизу жену булочника и свою мать. Старая Жозефа повторяет: «Все хорошо, все хорошо...» Она наклоняется над животом Полли и принимается давить на него. Та кричит: «Ой, нет, нет...» и по бокам Жозефы видны ее белые ноги. «Что значит нет? Тужься, глупая, тужься!»

У Коко сердце бьется все сильнее и сильнее, а глаза так вытаращены, что могут выпасть из орбит и провалиться вниз, в комнату к Полли. Тужить? Почему Полли должна тужить? Или старая Жозефа думает, что она больна? Кузина кричит все громче и громче, и мама гладит ее по голове, держа за руку, а Жозефа все сидит между ее ног, твердит свои непонятные слова и успокаивает: «Все будет хорошо, давай, малышка, давай...»

Все продолжается очень долго, потом вместо белого он видит много красного, и, наконец, старуха достает из раскрывшегося живота кузины ободранного кролика. Потом кто-то кричит: «Сходите за Арманом, скажите ему...»

Коко, наконец, удается оторваться от щели. Он спускается с чердака и со всех ног мчится домой.

Вечером, когда отец возвращается с работы, довольная мама говорит ему: «У Полли мальчик! Замечательный малыш!» Отец обращается к Коко:

— У тебя будет еще один кузен! — И обращается к матери: — Как Полли, довольна?

— Конечно, ведь она и хотела мальчика.

Коко, сооружающий башню из кубиков, поднимает голову. Он сердится, потому что эти взрослые всегда придумывают какие-то глупости.

— Это совсем не мальчик, это кролик. У Полли в животе был кролик.

— Что ты, Коко, что ты говоришь?

— Я говорю, что у Полли в животе был ободранный кролик, а совсем не мой кузен.

Потом Коко интересуется, кто будет есть этого кролика.

— Наверное, ей не дадут попробовать. Поэтому она и тужила, — говорит он, водружая последний кубик на вершину башни.

---

[3] Слово «grosse» во французском языке переводится не только как «толстая», но и как «беременная» (примеч. переводчика).

Террористы

В тот день мы были заняты абрикосовыми косточками. Мы терли их об асфальт, чтобы сделать таким образом свистки. Косой (его фамилия была Кроль, а в наших местах полно зайцев) сказал мне:

— Если ты никому ничего не передашь, я тебе расскажу кое-что.

— Ладно, я буду молчать.

— Поклянись.

— Клянусь своей головой.

И тогда Косой сказал мне, что его отец участвует в Сопротивлении. Вытаскивая сердцевину абрикосовой косточки куском проволоки, он добавил:

— Так что мой предок — террорист.

— Ты не шутишь?

— Нет, старина, он частенько исчезает ночью, чтобы заняться Сопротивлением.

Черт, вот это была новость!

На следующий день я специально отправился к Косому домой вместо того, чтобы ждать его на площадке для игры в регби.

— Добрый вечер, месье Кроль.

— Привет, малыш. Вы собираетесь играть в регби?

— Да, сейчас идем на площадку.

Пока Косой надевал свои шорты, я смотрел на его предка, потому что хотел понять, на что походит террорист. Конечно, я и раньше часто видел месье Кроля, но тогда я не знал. Теперь я знал, поэтому и пялился на него. Так вот: предок Косого носит голубую блузу, у него есть усы, что делает его похожим одновременно на Чарли и на Гитлера, а еще он надевает штаны с карманом сбоку. В кармане у него лежит складной деревянный метр. Есть у него еще кожаная сумка, в которой хранятся молотки, плоскогубцы, паяльная лампа и очки с темными стеклами. Он водопроводчик. Он курит дешевый табак, и мадам Кроль часто говорила ему: «Однажды ты не почувствуешь запах газа, когда будешь заниматься ремонтом, и взлетишь на воздух. А я останусь одна с малышом. Вдовой. Ты этого хочешь?» Но месье Кроль отвечал: «Не бери в голову, Жозетт, у меня еще не пропал нюх. Газ я чую за добрых десять метров...» Так что он и водопроводчик, и террорист. Вот это тип! Повезло нашему Косому.

Я поклялся, что никому не скажу, но при этом потихоньку скрестил пальцы. Так что клятва не считалась. И я все рассказал Арабу. Он, конечно, не араб, и я не знаю, почему его так прозвали. Вернее, знал, но забыл. И я сказал ему:

— Если ты, Араб, дашь мне клятву, что никому не передашь, я тебе скажу кое-что.

— Конечно, клянусь! — он стукнул себя в грудь.

Я внимательно проследил, чтобы он не скрестил пальцы, и рассказал ему, что предок Косого стал террористом.

— Подохнуть! — сказал Араб. Потом он подумал, и добавил: — А если это все вранье?

Я думаю, что он хотя и спросил об этом, но все же поверил мне. Я же верил!

В газете писали, что террористы скрываются в окрестностях Черной горы. И что это преступники. Они грабят аптеки. У них есть оружие. Они реквизируют все, что им нужно, но они не имеют на это права, в газете писали: «Каждый гражданин обязан донести на них».

Однажды месье Дескло, который продает костюмы в лавке на улице Фэдерб, был убит из ружья, когда возвращался домой на своей машине. Он был милиционером, этот Дескло. У него хватало наглости одеваться в черное и носить на рубашке небольшую серебряную змейку.

Я сказал Косому:

— Это твой папаша прикончил Дескло?

Он ответил:

— Не твое дело.

Потом появился Араб и спросил:

— И чего это твой отец нападает на аптекарей?

Косой здорово разозлился на меня — ведь я же дал клятву! Он назвал меня подлецом, но я ответил, что скрестил пальцы в нужный момент. На самом деле, он был доволен, что Араб тоже знает про его отца, но потребовал, чтобы мы заткнулись.

Потом Араб пожал плечами.

— В любом случае, я этому не верю. Твой отец не может быть террористом.

Косой принялся божиться, что сказал правду. Он точно знал.

— Тебе придется доказать это, — сказал Араб. Он незаметно подмигнул мне, и я сразу понял, что он задумал. Я тоже сказал:

— Да и я не верю. Как ты это докажешь?

Бедняга Косой растерялся. Его отец террорист, а друзья не верят этому. Над ним подшучивают, над ним издеваются. Араб называет его «косой террорист». В конце концов он перестал с нами разговаривать.

Но в прошлую субботу он заявил:

— Значит, вы не верите, что мой отец террорист?

— Не верим.

Мы уселись на мостике, на котором стирают белье, разулись и принялись болтать ногами в воде. Вокруг больше никого не было.

— Ладно, — сказал Косой, — сегодня ночью мой отец идет на дело. Если вы хотите, мы можем проследить за ним. Я встану потихоньку, вылезу в окно и подожду вас в саду. Когда отец выйдет, мы пойдем за ним.

Я согласился, потому что мне не трудно удрать так, чтобы родители не заметили. Араб сказал, что ему придется прокрасться на цыпочках через комнату, где спит сестра, но он тоже согласен.

— Во сколько твой отец уходит?

— В полночь. Так что вы подходите к нам в половине двенадцатого. Не проспите.

— Не волнуйся, мы будем вовремя. А куда пойдет твой отец?

— Я не знаю. Мы проследим за ним.

* * *

Так и случилось, что в субботу мы последовали за месье Кролем. Он действительно вышел из дома в полночь. Пройдя садом, он быстро пошагал по улице. На спине у него был виден мешок.

— Мы должны срезать здесь, — прошептал Косой.

— Мы можем потерять его, — возразил Араб.

— Не волнуйтесь. Теперь я знаю, куда он идет. Я подслушал, как он разговаривал вечером с двумя приятелями, которые зашли к нам.

— И куда же он идет?

— Он договорился встретиться с друзьями под мостом.

— Но что они собираются делать?

— Они развинтят рельсы перед мостом, и пятичасовой поезд слетит под откос. Видите, он настоящий террорист! Мы срежем через футбольное поле, потом махнем ползком через пшеничное поле, а там недалеко и железная дорога. Спрячемся где-нибудь поблизости и посмотрим, как они будут разбирать рельсы.

Вперед! И мы скачем в темноте, словно зайцы.

Черт возьми! В нашу сторону направляются два не очень ярких фонаря. Это машина! Мы быстро прячемся. Она медленно приближается, словно подкрадывается. Это военная машина. У нее откинут верх, и внутри сидят четыре фрица, которые что-то лопочут по-немецки. Когда она проехала мимо, я прошептал:

— Ребята, это ведь патруль. Могу поспорить, что они поедут к мосту и запросто могут сцапать там твоего предка, Косой.

И мы несемся, словно сумасшедшие, даже не пригибаясь на пшеничном поле. Перепрыгиваем через ручей у заброшенной фермы, пробегаем возле дороги со шлагбаумом и оказываемся на насыпи, где отец Косого с приятелями отвинчивают гайки. Они сначала пугаются, но потом узнают нас.

Мы быстро рассказываем, что сюда сейчас подъедет патруль, что мы видели их машину.

— Но что вы-то здесь делаете? — пытается разобраться в ситуации отец Косого. Но его друзья торопят:

— Давай, скорей, сейчас не время выяснять это. Смываемся! Бросаем инструмент под насыпью и бежим! Вы, ребята, в эту сторону. А мы...

— Ты почему не дома так поздно? — интересуется отец Косого.

— Я следил за тобой, папа.

— Бежим, кончай разговоры, Роже, — шипит один из приятелей. — Ребята, чешите в ту сторону!

И они быстро исчезают по направлению к дороге на Лабрус. А мы...

Черт, как только они успели заметить нас, эти фрицы? Мы думали, что они в машине, которая остановилась в стороне с включенными фарами, но не тут-то было! Они уже рядом, за стеной заброшенной фермы. Двое перекрыли нам путь к отступлению, а двое приближаются к нам сзади.

— Все, ребята, влипли, — мямлит Араб.

Фрицы освещают нас фонариком. Они говорят между собой по-немецки. Потом один, самый старый из них, обращается к нам по-французски. Говорит он плохо, но понять можно.

— Вы быть на железный дорога? Мы видеть вас, да? Что вы делать здесь на ночь?

Мне удается выдавить, что мы просто гуляем. «Очен карош, — говорит фриц, — сейчас вы идти со мной».

Мы поднимаемся вместе с фрицами на насыпь. Они тут же начинают галдеть, потому что видят один рельс, который уже отвинчен. Двое из них достают из сумок какие-то штуки и бегут в сторону, откуда должен появиться поезд. Наверное, они будут сигналить, чтобы поезд остановился. Двое остальных швыряют нас в машину.

Мы подлетаем на полной скорости к комендатуре. Сейчас должно быть около часа ночи. В помещении комендатуры светло, на стене висит портрет Гитлера. За столом сидит молодой фриц. Это офицер, и он хорошо говорит по-французски.

— Сколько вам лет?

— Одиннадцать...

— Вот как! И вы хотели спустить поезд под откос?

Араб молчит несколько мгновений, а потом этот негодяй отвечает:

— Ну... Да, месье... Да.

Косой, громко стукнув зубами, захлопывает рот, а я открываю свой.

— Итак, — говорит офицер, — вы террористы?

Офицер сидит на краю стола и разговаривает с нами очень тихо.

— Чего? — удивляется Араб.

— Тер-ро-ристы, — повторяет немец.

— Да нет, — возражает Араб, — что вы...

Этот мерзавец потрясно валяет дурака. Он так удивляется, словно немец спрашивает, не бараны ли мы.

— Ах, вот как, вы не террористы? А почему вы хотели, чтобы поезд сошел с рельсов?

Интересно, что придумает Араб? Ведь фриц обращается именно к нему... И он говорит:

— Потому что мы не хотели ехать в лагерь отдыха, месье. Завтра всех нас отправляют в лагерь, а мы хотели остаться дома, чтобы играть в регби. Ведь в лагере нет площадки для регби. Вот мы и решили, что если поезд сойдет с рельсов, то нам не нужно будет ехать в лагерь отдыха.

Черт возьми, этот Араб классный парень, как только он сообразил сказать такое!

Офицер некоторое время молча смотрит на нас, потом встает и принимается хохотать.

Косой бормочет:

— Там же нет площадки для регби, месье.

Я поддерживаю его:

— Здесь у нас есть разрешение, и мы можем играть сколько влезет...

Офицер кивает головой; он уже смотрит на нас не так сурово.

— Ваши родители будут рады...

Он кричит, появляются два рядовых, и они о чем-то говорят по-немецки.

Потом офицер и двое рядовых везут нас на машине. Мы подъезжаем к дому, где живет отец Косого. Офицер стучит в дверь. Через минуту внутри вспыхивает свет, и на пороге появляется месье Кроль. Ну и физиономия у него получается, когда он видит фрицев и нас троих! Он явно думает: «Ну и дела, они сцапали мальчишек! Будут большие неприятности...»

— Месье Кроль?

— Да, это я...

Потом он смотрит на Косого:

— А ты откуда взялся, Марсель?

Фриц говорит:

— Месье Кроль, я привел вашего сына. Хочу сообщить вам, что он хотел пустить под откос поезд.

— Но... Но... Этого не может быть! — восклицает отец Косого. — Почему?

Косой пожимает плечами и опускает голову.

— Потому что ваш сын не хотел ехать в лагерь отдыха, месье...

— Что? — взрывается месье Гаренн. — Марсель, это правда?

Косой молча кивает головой.

Офицер пересказывает отцу все, что услышал от Араба. И месье Кроль в ярости обрушивается на Косого. Он даже отвешивает ему здоровую оплеуху, потом вторую, потом третью. Потом он орет: — В постель! — и помогает ему двигаться в нужном направлении пинком в зад. Потом он рассыпается в благодарностях перед офицером .

— Их было трое, — говорит офицер. — Мы отвезем их к родителям. Следите за своим сыном, месье.

— О, конечно, господин офицер, — клянется отец Косого.

А мы с Арабом отправляемся дальше на машине. Я говорю офицеру:

— Мой дом в той стороне... — А сам в это время думаю, что сейчас получу хорошую трепку от отца. Серьезную трепку. Потому что мой отец поверит истории, которую ему расскажет фриц. Он может запросто прибить меня. Конечно, Косому тоже досталось, но отец лупил его только для того, чтобы заморочить голову немцам. А у меня все будет на полном серьезе. Вряд ли мой отец тоже террорист...



МИШЕЛЬ ЖЕРИ

Желтая пыль времени

— Все в порядке, — ответил Жак на вопрос Джона Дикинжера. — Во всяком случае, настолько, насколько это возможно. Но вообще-то я в замешательстве.

Дикинжер рассмеялся.

— Еще бы, ведь мы живем во времена всеобщего замешательства.

— Время — это забавная штука.

— Жизнь тоже.

— И человек…

— А также слоны, боги, лебеди и мудрецы!

— В общем, я сейчас крайне растерян.

— Тебе стоило бы растеряться поменьше.

И Дикинжер хлопнул свободной рукой — в другой он наверняка держал трубку — по столу, по стене или по любой другой гладкой поверхности рядом с ним в том месте, откуда он звонил. Это был странный звук, далекий и одновременно громкий: сигнал, призыв или бог знает, что еще.

Как будут звучать аплодисменты, если аплодировать одной рукой, спросил однажды мудрец. Может быть, это будет звук пощечины? Или это будут звуки, создаваемые уходящим временем? Приторно-сладкая музыка раздавалась там, где находился Дикинжер.

— Слушайте Аллаха, Шиву, Кришну. Слушайте Браму, слушайте Будду…

У англичанина был звонкий сильный голос, всегда заглушавший окружающий шум и шум уходящего времени. Голос проповедника или пророка.

— Надеюсь, что мы сможем встретиться на будущей неделе, — продолжал Джон. Песня Кали затихла вдали. Слушайте богов… — Да, на будущей неделе или в начале следующей. Где-то между вторым и пятым июля. Тебя устроит? Я хочу кое-что объяснить тебе.

— Да, я как раз собирался попросить тебя…

— Конечно, конечно, но только при встрече. Есть вещи, которые нельзя доверять не только письму, но даже телефону.

— Тогда ты уже сказал больше, чем стоило сказать.

Жак попятился к надувному креслу и рухнул в него, прижимая трубку к уху. Ослабленный слух сильно мешал ему при разговорах по телефону и давно укрепил ощущение жизни в бессмысленном мире.

— Слушай, Джон, ты сейчас в отпуске или в командировке?

— Ну, нечто среднее между тем и другим, — проворчал Дикинжер. — Скажем, я работаю сверхурочно и бесплатно. Ладно, я все объясню при встрече… А ты знаешь, что я был направлен на несколько месяцев в Бомбейский университет?

— Да, знаю. Ты же писал мне об этом.

— В общем, я был рад снова увидеть море. Дели расположен почти у самого подножья Гималаев, а мне нравится климат Бомбея осенью. Жаль только, что университет находится слишком близко от Сашивалайя.

— Слишком близко от чего? — переспросил Жан. Он знал, о чем идет речь, и прекрасно расслышал название. Но он часто притворялся более простоватым, чем был на самом деле, хотя и презирал черты мягкотелости и неуверенности в своем характере.

— Сашивалайя. В этом слове нет ничего мистического. Это резиденция правительства страны. Конечно, у этих парней есть свои проблемы. И они воспользовались этим, чтобы сцапать меня, рассчитывая, что я им помогу. Надеюсь, тебя это не слишком удивляет? Ты же знаешь, насколько усложнилась сейчас ситуация в Индии и в Бангладеш. Такое, впрочем, бывало и раньше. В общем, я согласился. Теперь мне нужно многое найти в Европе для этих типов из Бомбея и для министерства сельского хозяйства в Дели. Поэтому я и звоню тебе сейчас из Руасси. Мне нужно лететь немедленно… Или почти немедленно. Но в конце будущей недели, скажем, числа двадцать третьего, самое позднее двадцать четвертого…

— Двадцать третьего или двадцать четвертого …

— Нет, погоди… Я тут запутался в календаре. Чертова штука! Сейчас я подсчитаю; так, это будет числа четвертого или пятого, если ничего не случится. Мы сможем подвести итоги. Если, конечно, ничего не случится!

* * *

Жак Мариан познакомился с Джоном Дикинжером в Женеве, на конференции по азотистому питанию и нехватке белков в рационе населения развивающихся стран. Тогда он работал в лаборатории Лорана Дювернуа, в которой были получены два препарата, предназначенные для предупреждения дефицита необходимых аминокислот в пище и компенсации последствий этого дефицита. Это были «Трилифен» и «Д-аминогель». Лаборатория продолжала и дальше работать в этом направлении. Как и несколько десятков других фирм, их фирма тоже получила приглашение. Но патрон и руководство компании не захотели терять время из-за столь незначительного сборища, малоинтересного в коммерческом отношении. Тем более, что фирму Лорана Дювернуа вот-вот должна была поглотить компания Клинтон, и это уже стало известно в высших сферах бизнеса. «Это, конечно, не более чем фольклор, — решительно заявил месье Дювернуа, — но мы все же должны там присутствовать. Это вопрос престижа…» Короче, поскольку пребывание в Женеве в начале весны, когда уже нет снега, ничуть не прельщало его руководителей, был выбран Жак, тем более что он мог объясняться на английском, немецком и итальянском немного лучше, чем другие находившиеся под рукой работники фирмы. Кроме того, он спокойно воспринимал самые неприятные обязанности — то ли считая их за развлечение, то ли просто из безразличия.

Он отправился в Женеву, где принял участие в скучных разглагольствованиях, время от времени вставляя пару-другую фраз, но, разумеется, не смог привлечь внимание голодающего мира к своему «Д-аминогелю». Впрочем, за одним исключением. Молодая женщина, доктор наук из Индии по имени Дурга Уджайн, попросила у него образцы для исследования. Ее сопровождал мужчина лет 30 — ему на самом деле было 34 года, — всегда появлявшийся в джутовых джинсах, высокий, худощавый, с длинными вьющимися светлыми волосами, бородкой, как у свами и голубыми глазами, взгляд которых было невозможно выдержать. Очевидно, он выполнял обязанности гида и переводчика. Мужчина представился на великолепном французском: «Джон Дикинжер, научный консультант по вопросам общественного здоровья и сельского хозяйства при правительстве Индии. Передайте нам, по возможности срочно, образцы и не беспокойтесь об их пересылке. Я сам приеду за ними в Париж. Нам, разумеется, придется заказать спецрейс».

Позже Жак узнал, что Джон Дикинжер был сыном мелкого чиновника из Калькутты и медсестры-француженки из Чандернагора. Родившись в Индии, он после смерти отца и возвращения матери на родину проучился несколько лет сначала во Франции, затем в США и Англии. Став доктором наук и получив место преподавателя в одном из крупнейших университетов США, он вскоре вернулся в Индию, чтобы служить обожаемой родине и правительству Нью-Дели. Это было незадолго до войны с Бангладеш. Дикинжер сыграл определенную роль в налаживании отношений между воюющими сторонами. Потом, после взрыва первой индийской атомной бомбы, он прервал все контакты с правительством, но смог продержаться только один год в тени и в стороне от научных исследований и государственных забот. Затем… Затем начинается тайна.

На этой пресловутой конференции в марте 1977 года Дурга Уджайн прочитала длинный доклад о ситуации с продовольствием и санитарных условиях во всей южной Азии. В своем выступлении она использовала почти марксистскую терминологию, впрочем, значительно устаревшую, сочетавшуюся с туманной философией, изначально отрицавшей любую возможность прогресса и скрывавшей за словами, словно за дымовой завесой, пугающие привилегии правящей верхушки. Без каких-либо ораторских ухищрений она превозносила ядерную политику своего правительства. Наградой ей были аплодисменты, скорее всего, не столько за содержание доклада, сколько за трагическую красоту ее смуглого лица.

Дикинжер был почти столь же агрессивен во время доклада, но казался гораздо менее уверенным в себе и выглядел так, словно разрывался между своими противоречивыми привязанностями. Вероятно, он чувствовал себя виноватым из-за того, что восхищался не только современной Индией, но и страной древних традиций, страной Упанишад и Бхагават-Гиты. Он постарался закончить свой доклад, впрочем, более или менее объективный, весьма хлесткой формулировкой. Забавно, но содержание доклада забылось, и только эта формулировка сохранялась в памяти. Он сказал: «Есть люди, которые осуждают мудрость во имя синтеза протеинов. Но они не в состоянии отличить мудреца от груды протеинов!»

Позднее он сообщил Жаку усталым тоном, окидывая при этом рассеянным взглядом толпившихся поблизости толстяков: «В конце концов, человек — это всего лишь масса протеинов. И на Западе это всегда довольно большая масса!»

Последовавшая за первой встречей с Дикинжером и Дургой Уджайн ночь оказалась для Жака заполненной кошмарами. Он слышал голоса умирающих от голода: «Протеинов, ради бога, хоть немного протеинов!» Потом он бежал куда-то по пустыне, взвалив на спину груз «Д-аминогеля», но ему попадались только высохшие трупы…

На следующий день Жак нанес визит своим новым знакомым. В холле отеля он увидел огромный чемодан, подготовленный к отправке. На наклейке он прочитал провоцирующий, врезавшийся в память адрес Дурги:

«Д-р Уджайн — Cholera Hospital Road-Parsi…»

Он почувствовал себя ничтожным, жалким. Господи, и что я делаю здесь? Вечный вопрос. Не имеющий ответа.

Молодая женщина тут же принялась с жаром рассказывать Жану о своей работе, но из всего сказанного он понял не больше половины, будучи завороженным ее хрипловатым поющим голосом.

На следующий вечер он с удивлением увидел их на пороге своего номера: Джона — в джинсовом костюме с небольшой собачкой по кличке Атар на поводке, и Дургу — в строгом сером костюме. Несмотря на макияж, выполненный с восточным вкусом, она выглядела уставшей, с кругами под глазами, словно заранее надевшей траур по своему народу.

На этот раз слово взял со своей обычной уверенностью Дикинжер, попеременно коварный, страстный, категоричный и разочарованный. По его словам, ему было 33 года, но он выглядел гораздо моложе. Он утверждал, что вскоре завершит один грандиозный проект, который, по его словам, полностью занимал его ум: он должен был спасти Индию от голода, сохранив при этом ее духовность. Он напивался по меньшей мере три раза в неделю, поглощая без разбора виски, коньяк, водку и араку, стараясь забыть свои поражения и надеясь увидеть иные сны.

Жак давно интересовался Индией и индуизмом. Он думал — хотя и не был полностью убежден в этом, — что восточная философия, а именно дзен, йога и прочее в этом же духе все еще были способны излечить Запад от болезненной дряхлости, симптомы которой с каждым годом становились все очевиднее. Он помнил имена некоторых широко известных свами — Рамакришна, Кришнамурти, Бхагават Дас, Шри Ауробиндо, Вивекананда и некоторых других, не столь популярных. Конечно, он довольно приблизительно был знаком с их взглядами и часто путал их. Он никогда не посещал собрания ориенталистских и спиритических обществ, среди членов которых, по его мнению, можно было встретить не менее двух дюжин чудаков, кандидатов в змеиный ров и адептов общества «Миллениум Пилигрим». Однако некоторые специалисты с успехом восприняли духовный опыт и доктрины Востока и смогли извлечь из них немало полезного. По крайней мере, таким было распространенное мнение. Джон Дикинжер относился к числу таких специалистов.

Дикинжер быстро уловил, что Жаку удавалось лишь с большим трудом принимать участие в разговоре на английском, тем более, что речь шла об очень сложных проблемах, и он перешел на французский. Теперь Дурга перестала понимать, о чем идет речь. Сначала она продолжала мужественно вслушиваться в незнакомую речь, но быстро отчаялась и ее большие черные глаза наполнились слезами. Через некоторое время она успокоилась, ее голова поникла, и она мирно задремала в кресле.

— Ее можно понять, — сказал Джон. — У себя дома эта девушка работает по 15 часов в сутки. Она утомлена путешествием, и, кроме того, слишком серьезно относится к этому конгрессу. По ночам она что-то пишет. Более того, должен признать, что я веду себя с ней, как последний негодяй. Вдобавок ко всему, вместо того, чтобы спать, ей приходится заниматься со мной любовью… И если бы только это!

Через некоторое время они перенесли Дургу на постель, постаравшись не разбудить ее, и освободили от верхней одежды. Затем они просидели до зари, разговаривая шепотом и поглощая при этом кофе и виски в чудовищных количествах. Практически весь разговор сводился к монологу Джона Дикинжера. Атар, запертый в ванной комнате, непрерывно скулил, протестуя против подобного обращения. Жак слушал Дикинжера невнимательно, отчаянно сражаясь со сном. Тем не менее, несколько формулировок, общеизвестных, но весьма эффектно изложенных, остались у него в памяти.

— Наши соотечественники больше, чем когда-либо, живут в атмосфере страха и разочарования. Чем больше они набивают свое брюхо мясом, алкоголем и наркотиками всех видов, тем сильнее они ощущают разочарование среди своих призрачных сокровищ. Западный человек мгновенно переходит от усталости к скуке, от детства к дряхлости, от апатии к истерии. Его развлечения — это потерянное время. Он живет и работает исключительно ради вещей. Он постоянно страдает от неудовлетворенного желания приобрести что-нибудь, от самого пустого и самого разрушительного желания. И это желание, эта страсть превращают его жизнь в серый ад. Разумеется, существуют психотропы транквилизаторы, нейролептики и прочие химикаты, способные превратить серый ад в ватный туман, в рай

дегенеративного шелковичного червя. Шелковичного червя, закупоренного в своем коконе, непрерывно ткущего жалкую нить, способную порваться при малейшем воздействии. Таков современный человек, Прометей нашего времени.

Эти мысли не были оригинальными в 1977 году. Миллионы людей с большей или меньшей убежденностью считали, что наука, психология и промышленность не принесли человеку Запада счастья, как, впрочем, и всему остальному миру. И многие из этих миллионов думали, что научная, психологическая и индустриальная цивилизация оказалась полным провалом или частичной неудачей. Осознание этой неудачи — ладно, частичной неудачи — поддерживало и питало латентный бунт части молодежи. Жаку довелось прочитать сотни статей и десятки книг, в которых эта тема развивалась с сочувствием, возмущением или отчаянием. Но, боже, как выйти из порочного круга? Сам Дикинжер — Жак быстро понял это — все еще чувствовал себя уверенно в салонах и лабораториях, этих двух противоположных взаимодополняющих полюсах цивилизованного общества. Тем не менее, он стал ярым последователем великих индийских йогов. Он был ближе к Янусу, чем к Шри Ауробиндо, и ему не удавалось примирить две стороны своей личности и своей идеологии. Он мечтал, наряду со многими другими вещами, о синтезе христианства и индуизма на манер Генона, и он, конечно, знал, что Генон, в конце концов, выбрал ислам с небольшой примесью социализма и приличной долей сексуальной свободы. Он яростно защищал традиционные мысли и образ жизни Востока, который он стремился изменить как можно скорее. Таким образом, он оказался в западне. Впрочем, мы все, так или иначе, находимся в западне.

На протяжении целой недели Жак размышлял, не был ли он сам героем вроде Прометея. На первый взгляд, не был. Но он смутно ощущал, что находится под чьим-то пристальным тайным наблюдением. Может быть, он, как все остальные, предал кого-нибудь или что-нибудь? Несомненно, он был жалким существом и даже негодяем. Как все остальные. И он, человек последней четверти века, ощущал себя солидарным с жалким шелковичным червем.

* * *

Аппарат донес до Жака тревожный вздох.

— Ты думаешь, что линия прослушивается?

— Ну, говорят что «Бодиак» постоянно прослушивает от 10 до 12 тысяч телефонных номеров с помощью своего компьютера-шпиона. Но полагаю, что я не настолько значительная персона, чтобы попасть в этот список.

— Кто знает? Они наверняка осведомлены, что у тебя есть какие-то дела со мной… Да, но мой самолет взлетает… через 10 минут, если не ошибаюсь. Пора заканчивать. Послушай, Жак…

— Что, Джон?

Молчание продолжалось несколько секунд — одну, две, пять, десять… Казалось, оно длится невероятно долго.

— Я вернусь в Париж 3 или 4 июля, — заговорил, наконец, Дикинжер озабоченным голосом, словно что-то подсчитывал в уме во время разговора. — Я позвоню тебе в это же время, что и сегодня. Нет, конечно, я не думаю, что за мной следят. Да это не так уж и важно… Происходит нечто… О, я думаю, что ты мне не поверишь, Жак! Жак, ты меня слышишь?

— Конечно, слышу, Джон. Что это ты…

Жак не закончил фразу. Дыхание Дикинжера, отчетливо слышное в трубке, стало прерывистым и свистящим.

— Джон, что-то не в порядке?

— Жак, этот желтый порошок, что я тебе дал, он еще у тебя? Стеклянная трубочка, закрытая пробкой. Ты…

— Ну, конечно, она у меня.

Жак пошевелился, устраиваясь в кресле поудобнее, но у него ничего не получалось. Забудь про комфорт, Жак Мариан.

— Несмотря на соблазн попробовать, я к нему не прикасался.

— Хорошо, очень хорошо, — сказал Джон. — Сколько сейчас на твоих часах?

— Хочешь знать, какой сейчас у нас час?

Жак засмеялся нервным смехом; его тело сотрясала сильная дрожь.

— Что тут смешного? — поинтересовался Джон. — Кстати, ты все еще пользуешься своим чемоданом из свиной кожи?

— Да, конечно. А почему ты спрашиваешь об этом?

— Разве свинья не считается в Индии священным животным?

— Что касается меня, то я знаю только одно священное животное.

— Это корова?

— Нет. Это человек.

— А, конечно. Но бомба?

— Что бомба?

— Да. У вас есть водородная бомба, и есть цели.

— Бомба!

— Послушай, Джон…

— Жак, на моих часах сейчас ровно 22 часа 30 минут.

— Да, правильно. Только у меня 32 минуты. Похоже, мои часы немного спешат. Это важно?

— Господи, я надеюсь, что нас не прослушивают!

* * *

Передавая ему пресловутую пробирку во время одной из встреч — она состоялась немного менее года назад, — Джон Дикинжер сказал: «Понимаешь, я считаю, что должен передать тебе свой образец за те образцы, что получил от тебя в марте семьдесят седьмого. Вот он. Конечно, ты сильно проиграл в весе».

— И что это такое?

— Это вещество получено в нашей секретной лаборатории в… Если я назову его кодовое название «Шива», это тебя устроит?

— Но что это за…

— Это — желтая пыль времени! Использовать с осторожностью. Она еще не окончательно доведена. И не имеет отношения к кодовому названию «Диана». (Может быть, это была «Дхиана» или что-то похожее.) Эффект порошка не гарантирован при малых дозах. Но до дюжины крупинок он действует как слабый галлюциноген с небольшим смещением во времени. Совершенно безопасен. И гораздо лучше любого транквилизатора. Против него не устоят никакие страхи… Даже те, что мотивированны реальными причинами. Своего рода йога в пилюлях. Впрочем, в порошке. Пилюли, возможно, тоже скоро появятся. А теперь слушай, что я тебе скажу, и никому этого не передавай. Возможно, когда-нибудь этот порошок станет оружием… оружием, по сравнению с которым водородная бомба окажется подмоченной петардой. В то же время, это будет лекарство и рабочий инструмент… Короче говоря, это могущество в чистом виде. Это открытие позволит Индии выйти на первое место в мире!

Конечно, Дикинжер был пьян. По его словам, алкоголь оставался единственным эффективным средством против его личных тревог. Поэтому он

практически никогда не был трезвым. Но желтый порошок? Он испытал его. И он действительно не имел ничего общего с подмоченной петардой. По крайней мере, он так утверждал. Он мог заменить все остальное — в том числе, счастье, любовь, надежду — но не алкоголь со всеми его экзотическими разновидностями.

«Ты будешь одним из наших испытателей, — сказал он Жаку. — Очень немногие на Западе на сегодняшний день использовали «Диану». Мой случай не совсем обычен. Мне очень интересно, какое действие порошок окажет на тебя. Я прошу тебя записать, при каких обстоятельствах ты его будешь принимать, и сколько пылинок. Да, они микроскопические, но все же их можно сосчитать. И, разумеется, характер и продолжительность его действия. В общем, все, что ты сочтешь важным. Этим ты окажешь нам большую помощь. Кроме того, я достаточно хорошо знаю тебя, и мне не нужно еще раз напоминать тебе о необходимости держать все в строжайшей тайне.

Строжайшая тайна! Смех, да и только!

Жак с улыбкой опустил пробирку в карман. Он не поверил и половине из того, что наплел ему Дикинжер. Пожалуй, даже четверти. Если желтый порошок действительно был открытием века, неужели отвечавший за все исследователь стал бы раздавать его своим друзьям? Но если Джон Дикинжер не был ответственным исследователем секретной лаборатории Брахмы, Шивы или какого-нибудь другого божества, то кем он тогда был? Безумцем, провокатором, гением, двойным агентом? А желтый порошок? Несколько песчинок, подобранных на пляже Хадалипуры?

В конце концов, Жак засунул пробирку в домашнюю аптечку и постарался не вспоминать о ней.

Но он не смог забыть эту «Диану» или «Дхиану». Каждый раз, когда его одолевали страхи или охватывало отчаяние, а это происходило все чаще и чаще с тех пор, как он преодолел сорокалетний рубеж, он твердил, словно молитву: никакой опасности при дозе до дюжины крупинок. А если больше? Если желтый порошок был способен убивать, то его стоило попробовать. Прекрасная судьба: умер, проглотив пилюлю йоги! Йога в порошке тоже годилась. Какой кретин сказал когда-то: умереть — это значит умереть? 12 крупинок, 20 или 30? Или разом все, что есть в пробирке? Однажды вечером, когда одиночество показалось ему слишком тягостным, он высыпал содержимое пробирки на стол, покрытый керамической плиткой. Он плохо различал крупинки на светлом фоне и переместил их на черный квадрат. Потом он стал считать их. Первый раз их оказалось 101. Он решил, что ошибся, потому что в дозе их должно быть ровно 100. Пересчитав крупинки еще раз, он получил 102. Как же, доза в 100 зерен… В раздражении, он взял две лишних крупинки и положил на язык. После непродолжительного колебания он проглотил их. До 12 зерен никакой опасности… Вот и скажи, можно ли доверять таким типам? Подмоченная петарда, ха-ха! Секретная лаборатория Шивы, в задницу их, в задницу! Самая могущественная страна в мире напичкана препаратами, их парни мрут, словно мухи, это все равно, что водородная бомба, и они верят во все такое… Две крупинки — это сойдет за испытание? Нет, две — это слишком мало, это не считается. Прежде всего, этот порошок — это ноль. Пыль в глаза, да и только, вот что это такое, ха-ха! Пустое место. Пытаясь высыпать порошок назад в пробирку — чертова Диана, ха-ха! — он уронил добрый десяток крупинок на ковер и даже не попытался найти их. Не имеет значения. Более чем пустое место.

Он проделал четыре или пять кругов по комнате. Четыре или пять кругов… или 10… или 20… Я законченный негодяй и полное ничтожество. Средний европеец. В свои 40 лет уже пропащий тип. Жалкий червяк. Господи, а ведь когда-то мне было 10 лет!

Ему было 10 лет. Он забыл, кем он станет, забыл, что считал себя ничтожеством и негодяем. Он вышел из комнаты, ничего не сказав приятелям. Все присоединились к нему на площади перед романским собором. Велосипеды были прислонены к стене. По фронтону над ними расползался старый плющ, образуя рисунок, похожий на распятого осьминога. Стоявшее высоко в небе августовское солнце обжигало лучами. Мозаики теней шевелились на горячих дорожках дома священника.

Жак вскочил в седло велосипеда последним, но через несколько секунд возглавил группу, оторвавшись от приятелей на несколько метров. Он внимательно всматривался в местность по обеим сторонам дороги. Ведь он был галактическим агентом, и ему поручено не позволить бжорнам, урксам и рзюкам проникнуть в это звездное скопление, принадлежавшее земной федерации. Кроме того, он должен был следить, чтобы в его секторе соблюдались правила общения с негуманоидными обитателями. Ему можно было доверять! Пока он находится на посту, здесь, в системе Ашемар, инопланетяне не пройдут.

Время от времени он внимательно прислушивался. Если он услышит, как какое-нибудь животное скулит под ударами или жалуется на голод и жажду, он… он тут же поднимет тревогу на командном пункте Веги. Потом придется ждать распоряжений. А если распоряжения не поступят? Нет, нет, они всегда поступают своевременно. Без них жизнь была бы невозможна, невозможна… Конечно, все знают случай с котом Грегориусом, очень сложный случай. Животное скрывалось на мусорной свалке, и зловредные бжорны могли напасть на него до вмешательства галактических агентов. В этой ситуации нужно было отправить послание по гиперсвязи. Высший приоритет. Вега обязательно должна была найти решение.

Жак пометил в записной книжке: эффект “Дианы” (или “Дхианы”) после приема двух крупинок; продолжительность галлюцинаций (слабых) — час с четвертью. Исключительно четкие воспоминания детства. Я едва не подумал, что задремал, сидя в кресле, и увидел сон. Но я не спал. Я был там.

Благодаря всего лишь двум крупинкам? Назавтра Жак открыл блокнот с записями. Он решил, что был совершенно пьян, когда писал это. Он вырвал страничку и сжег ее в пепельнице. И он никогда не рассказывал Джону Дикинжеру о своем эксперименте. Вероятно, я стал слишком внушаем, вот и все, подумал он. И он по-прежнему не верил в существование секретных лабораторий. Шивы, Брамы или бог знает, кого еще. И он не верил в эффект “Дианы”. Если только это не была “Дхиана”.

На вопрос Джона он ответил: “Несмотря на сильный соблазн проверить твой препарат, я так никогда и не прикоснулся к порошку”.

Это была инстинктивная ложь. Он вряд ли смог бы объяснить, почему он солгал.

***

— Жак?

— Да?

— Сейчас должно произойти нечто очень серьезное.

— Что именно?

— Думаю, сейчас я уже могу говорить.

— Почему?

— Потому что уже больше 22 часов 30 минут.

— Ладно, я слушаю.

— Ты должен принять желтый порошок.

— Желтый порошок? Что, всю дозу из пробирки?

— Да, так будет лучше. Надежнее. Я сам только что…

— Ты…
— Да.
— Но твой рейс?
— О, мой рейс… Теперь все рейсы…
— Со стаканом воды?
— Ты о чем?
— Я о порошке.
— А, конечно. Со стаканом воды или спиртного. Вообще-то я советую со спиртным. До 11 часов. Еще лучше немедленно. Не стоит слишком откладывать. Когда примешь порошок, ты должен лечь, словно ты собираешься уснуть. И ты уснешь. Ну, это будет что-то вроде сна…
— Но почему? Почему именно сейчас?
— Потому что… Не важно, слушают нас сейчас, или нет… Потому что атомная война… Всеобщая бойня начнется через несколько минут. И Париж будет разрушен, как и большинство крупных столиц. Желтый порошок — единственное средство, которое есть у нас, чтобы избежать гибели, немедленной, или в ближайшем будущем. И если мы не погибнем, Жак, то вспомни о страданиях, которые мы… Я… Прости, я немного устал. Эффект этого… Я назначаю тебе встречу на другой стороне.
— На другой стороне?
— На другой стороне времени.
— Джон, эта доза…
— Пока, Жак, — сказал Джон. — Помни, на другой стороне.
Послышался щелчок.
Время.
Жак попытался представить, что ждет его. Желтый порошок времени. Встреча на другой стороне? Джон или был пьян, или сошел с ума. Окончательно и бесповоротно? Но ему представлялась совершенно уникальная возможность. Возможность разом покончить со всем. Спасительная возможность. Умереть. Он был один. Но все же старался оправдать себя, заявить о своем протесте, о своих горестях.
Один.
В зеркале над раковиной умывальника он в тысячный раз всмотрелся в физиономию неудачника. Червяк, жалкий, мерзкий тип. Вялый, слишком большой рот, плохие зубы, мягкий подбородок, бегающий взгляд. Эта одержимость зеркалом всегда мучила его, вплоть до ночных кошмаров. Это не я, нет, это не я! Бежать, сменить раз и навсегда эту жалкую шкуру!
Иногда меня тошнит от человечества, от его беспросветной глупости. Я хотел покончить с собой? Почему бы не сегодня вечером?
Но каким образом Джон Дикинжер узнал, что будет ядерная война? А, наверное, благодаря своему желтому порошку. Две крупинки отправили меня в прошлое. С большой или средней дозой тебя, возможно, перебросит в будущее. Да, что-то в этом роде: Джон испытал «Диану» и побывал в будущем. Теперь он знал.
Лихорадочное возбуждение. Можно поспорить, что Джон Дикинжер сказал ему правду. Что ж, сыграем в эту игру. Игру времени и надежды. Последние обрывки надежды…
Он разом проглотил содержимое пробирки и запил несколькими глотками виски. Во рту остался металлический привкус. Можно подумать, что он хлебнул расплавленного золота. Лихорадка, возбуждение… Я загнусь, но Земля тоже загнется вместе со мной!
Одиночество. Я хотел бы… Прежде, чем уйти… Я хотел бы… Поздно, приятель!
Он бросился на кровать. Разумеется, это глупая шутка. Но если позвонить… Скорая помощь, больница… Ты еще можешь выкарабкаться… Да, но зачем?

Зачем?

Как ты попал сюда, Жак Мариан? Ведь я помню времена, когда моя жизнь начиналась так удачно. Будущее виделось мне в радужных красках. Я помню… помню… И что из этого? Никакого значения. Жалкий червяк. Червяк с крылышками, ядовитая муха… Попробовать загнуться. Ничего не понимаю. Метастазы… Когда мне было 10 лет… Командор Шторм вызывает машинный зал, используемый поколением негодяев.

Крыша опустилась примерно до уровня в полтора метра. Через щели между черепицами сквозил дневной свет, бледный, рассеянный, искажавший звезды, к которым направлялся корабль. Командор Шторм вызывает… Дошел до ручки. Одиночество. Не быть пешкой в чужих играх. Станешь игроком в 40 лет и потеряешь место в жизни, бедняга, чертов игрок! Это всего лишь аспирин… Никакое не волшебное средство… Ты будешь… Резкая боль в позвоночнике, неудержимое желание лечь на жесткий пол. Но ты же в своей постели, идиот, лежишь в постели… Лечь на пол… Где угодно лечь… Я прислоняюсь спиной к стене, давлю изо всех сил спиной на стену, прижимаюсь к стене плечами и спиной изо всех сил, пока не пройдет кризис, и кошмарные псы с прозрачными телами плавают вокруг меня, видны все органы и видно, как они работают… и большие яйца, обмотанные бинтами, и когда я разматываю бинты, они начинают кровоточить… Гора Беллюн с пастушьей хижиной на самой вершине… Мы так долго поднимались в тени дубов, буков и елей… Он обнял ее обнаженный торс. Она никогда не надевала верхнюю половину пижамы, только короткую ночную рубашку и пижамные штаны. Теперь ночная рубашка лежала небольшой кучкой кружев на полу. Колючая терпкая жара августовской ночи. Пижама, сохранявшая нежную свежесть шелка; она использовала ее, чтобы разжечь страсть у Жака.

«Ты знаешь, я опять видел сон? Я нес яйцо размером с кастрюлю, обмотанное бинтами…»

«То, что происходит с этим препаратом, не похоже на галлюцинации. Это скорее что-то вроде раздвоения личности, если не хуже. Я не мог поверить в это после первого раза».

«Ты часто принимаешь его?»

«Не очень часто, нет. Я немного опасаюсь его. Но он действует даже в очень небольших дозах. Если ты к нему привык, то он действует, даже если ты не принял ни крупинки. Вероятно, это что-то вроде импрегнации или последействия. Или что-то в этом роде».

«Эту вещь делают в лаборатории?»

«Думаю, ее делают в Индии под контролем федеральных структур. Не знаю, то ли это старинный рецепт, то ли современное открытие… Или то и другое вместе. Некоторое его количество всегда циркулирует в непосредственном окружении президента. Пакетики, пробирки, дозы…»

« А формула? Ты знаешь формулу?»

«Я не химик».

«Но ты, конечно, предполагаешь, что этим основательно занимались?»

«Наверное. В этом желтом порошке нет ничего особенного. Обычный желтый порошок с довольно большими крупинками. И никто не понимает, почему он оказывает такое сильное, такое волнующее действие. Я никогда никому не предлагал повторить мой опыт…»

«Но ты хотел бы, чтобы я попробовала?»

«О, дорогая, не знаю. Я не решался даже заговорить с тобой об этом, я боялся, что ты будешь презирать меня. Я не хотел разрушить нашу дружбу. Ты такая юная, такая красивая, Анима. Перед тобой открывается блестящая карьера. А я просто друг президента. Это и много, и мало... Подожди, я еще

не все сказал. У меня было ощущение, что мы уже были вместе с тобой, и что я почему-то потерял тебя. Теперь, благодаря порошку времени, это уже не ощущение, это уверенность. Когда ты рассказывала, что в 7 или 8 лет тебе хотелось оседлать большую белую птицу и улететь на ней в небо, то я улыбался. Я это прекрасно помню, потому что почти такая же мечта была у меня всегда. Нет, нет, не подумай, что у меня бред…»

«Я и не думаю, что ты бредишь, Жак. Мне кажется, ты рассказываешь мне об удивительных вещах… и я действительно увлечена этим... Тебя не назовешь красавцем, тебе много лет, но мне наплевать на это. Ты просто необыкновенный человек. Как я могу презирать тебя из-за этого желтого порошка или еще чего-нибудь? И, конечно, я сплю с тобой совсем не потому, что ты друг президента. Ты знаешь это. Я люблю тебя. Пожалуй, иногда ты немного пугаешь меня, но это ощущение нельзя назвать таким уж неприятным. К тому же, мне тоже кажется, что я знала тебя до нашей встречи. Может быть, мы встречались… в другом мире? Расскажи мне еще о порошке времени. Это что, галлюциноген?»

«Это даже не галлюциноген. Может быть, это пустяк, ерунда. Безобидное вещество. За исключением совсем небольшой примеси широко известных алкалоидов. Ничего другого. Но что из этого? Я ведь могу и ошибаться. Не знаю, имею ли я право подталкивать тебя, Анима, чтобы ты попробовала».

«Но почему?»

«Моя жизнь изменилась, и это произошло так странно, что я еще не все понял. Мне кажется, что до этого опыта я был обычным бедолагой. Но сейчас, возможно, я потерял последний шанс добиться успеха. Я имею в виду свою карьеру здесь. Вначале у меня была уверенность, что я сохраняю трезвость и ясность ума, если не считать этих «путешествий». Может быть, даже в большей степени, чем раньше. Теперь же я не уверен ни в чем. Подозреваю, что начинаю смешивать сны и действительность. Сны или ту, другую, сторону действительности, ставшую доступной мне благодаря желтому порошку. Впрочем, не уверен, что благодаря именно ему…»

«Но, тогда, что происходит с тобой, если желтый порошок ни при чем?»

«Иногда у меня появляется ощущение, что есть очень простое объяснение, и я вот-вот найду его».

«Но ты его не находишь?»

«Думаю, в конце концов я найду его».

«А что именно происходит во время твоих «путешествий»?»

«Мне кажется, я вспоминаю странные сцены, которые никогда не переживал. Словно это моя другая жизнь или еще что-нибудь, не знаю. Словно у меня возникают воспоминания о какой-то другой вселенной. И тогда я действительно становлюсь другим. Мои воспоминания относятся преимущественно к прошлому моего alter ego. Некоторые приходятся на период непосредственно перед его смертью. Потому что я знаю, что он мертв. В той вселенной три четверти человечества были уничтожены ядерной войной в конце XX века. Очевидно, я переживаю всего лишь кошмар — какую-то разновидность кошмара. Я встречаю в нем многое из того, чего желаю на самом деле, или же того, чего инстинктивно опасаюсь. И у меня всегда сохраняется ощущение полной реальности происходящего. Но я прекрасно понимаю, что этот мир, в котором война уничтожила человечество, всего лишь ментальная проекция, порожденная моими суицидальными тенденциями. Ты не думаешь, что я сошел с ума?»

«Нет. Наоборот, мне все больше и больше хочется попробовать этот порошок, даже если все происходящее нельзя объяснить его действием».

«Хорошо, я дам тебе одну дозу. Мы примем порошок вместе. Ты необыкновенная женщина. Мне повезло, что я встретил тебя. Думаю, что

большинство женщин — да и мужчин тоже — решило бы, что я вполне созрел для сумасшедшего дома. А ты слушаешь меня…»

«Но ведь ты друг президента. Это достаточно надежная рекомендация».

«Да, друг президента. Интересно, на какое время? Когда он узнает, что я принимаю это снадобье…»

«А ты не думаешь, что он тоже…»

«Господи, надеюсь, что нет! Если президент земной конфедерации начнет путать сны и… И если бы дело было только в этом. Президент рано или поздно заметит, что я не соответствую уровню возложенной на меня ответственности. Я не отношусь к людям действия. Власть парализует меня. В той другой судьбе, той, которую открыл мне желтый порошок, я был всего лишь простым человеком в простом мире. Конечно, у меня есть проблемы, но это мои проблемы, и я способен решить их. Этот вариант кажется мне предпочтительным. Но у меня нет выбора. Впрочем, неважно. Однажды я оставлю президентский дворец и… Я очень устал. Ты должна помочь мне, Анима».

«Я помогу тебе, Жак, потому что я — это ты. Я — это ты, и ничто не сможет разделить нас».

«Я так благодарен тебе…»

* * *

Жак медленно затянул самозавязывающийся шнурок своего роскошного халата из диапраля и так же медленно подошел к комсету, стоявшему у окна, выходящего на море. Как всегда, когда он просыпался после дозы — или нескольких доз — хронина, он был способен только на очень медленные движения. Казалось, какая-то мягкая, теплая масса приклеивала его руки к телу, а ноги — к земле. Но его ум оставался трезвым, пожалуй, даже слишком трезвым.

Вызов в голубых и золотистых тонах. Цвета президента.

— Жак?

— Слушаю, Джон.

— Как дела?

— Хорошо. В общем, настолько хорошо, насколько это возможно. Но вообще-то, я в замешательстве. Дикинжер рассмеялся.

— Я всегда знал тебя в этом состоянии, старина. Но мне нужен ответ. И немедленно. Ты же знаешь.

— Джон, честно говоря, я сомневаюсь, буду ли я способен.

— Жак, если я предлагаю тебе этот пост, то это означает, что я считаю тебя идеально способным справиться с ним.

Жак провел ладонью по лбу, покрывшемуся капельками болезненного пота, несмотря на то, что в его спальне был кондиционер, как, впрочем, и в остальных помещениях дворца. Боже мой, значит, Джон не видит, что он болен, что он отравил себя? То, что происходит со мной, просто ужасно. Я настоящий нервный больной. Я загибаюсь от невроза. Я пичкаю себя хронином, чтобы обладать во сне женщиной, которую не смог встретить в реальной жизни, чтобы обеспечить себе другую судьбу, но не теперешнюю, жалкую и невзрачную. Ведь я мог бы иметь все, что захочу, потому что я друг Джона Дикинжера. Я жалкий тип, я негодяй. А Джон предлагает мне должность государственного секретаря по ментальному здоровью! От этого можно просто свихнуться!

— Я же не врач, — сказал Жак с отчаянием.

— Руис Даймо тоже не был врачом. И, вообще, не может быть и речи, чтобы назначить на эту должность врача. Это политический пост, ты прекрасно знаешь это.

— Но я и не политик.

— Ты мой друг. Это прекрасно характеризует тебя, как политика, и этого для меня достаточно.

Едва заметная напряженность промелькнула на худощавом лице президента. Благодаря короткой накидке, короткой стрижке и бронзовому цвету кожи Джон Дикинжер походил на не имеющего возраста мудреца. Жак подумал: йога у власти. В этом человеке ощущается непреклонная воля. Это сильная личность. Как он может считать меня своим другом? Меня, такого слабого, нерешительного? Почему он мой друг? Почему я? Кто я такой?

Но взгляд президента оставался ясным и теплым. На его лице сохранялось дружелюбное выражение.

Жак опустил глаза.

— Должен тебе признаться, Джон, я взволнован. Твое предложение одновременно переполняет гордостью и пугает меня. Ты можешь дать мне еще хотя бы час на размышление? Всего один час. Обещаю тебе.

Черты лица президента смягчились. Его полные чувственные губы, заметно контрастировавшие с тонким жестким профилем, раздвинулись в едва ли не детской улыбке. В его голубых глазах засветилась нежность.

— Хорошо, Жак. Я прекрасно понимаю, какой это трудный выбор для тебя. Такие сомнения делают тебе честь. Но не стоит злоупотреблять ими, иначе они разрушат тебя морально. Ты знаешь, что я полностью доверяю тебе. И это навсегда. Позвони мне через час.

Связь прекратилась.

Жак бросился на постель, сжимая в руке пакетик с хронином. Последний пакетик. Такие сомнения делают тебе честь! Если бы знал Джон, что я представляю собой на самом деле! Он подтянул к себе бар на колесиках, стоявший возле кровати. Он плеснул в стакан водки из Центральной Европы, самого крепкого напитка из имевшихся в его распоряжении. Высыпал хронин в заполненный до половины стакан. Шесть доз разом. Теперь не могло быть и речи, чтобы провести еще одну ночь с Анимой — он вытянул билет на перемену судьбы. Билет в одну сторону. По крайней мере, если то, что говорили о порошке, было правдой. Те, кто принимал разом больше четырех доз, никогда не возвращались, чтобы рассказать, что они увидели с другой стороны времени.

Неважно.

Он залпом выпил водку, в которой растворялись последние крупинки порошка.

«Командор Шторм вызывает машинное отделение!»

Жак, старина, ты должен выбраться отсюда!

Игра времени и надежды.

Если позвонить немедленно… скорая помощь… больница… У тебя есть шанс выкарабкаться.

Как ты попал сюда, Жак Мариан?

Он обнял ее обнаженный торс: «Я люблю тебя».

Сильная боль в позвоночнике. Неудержимое желание броситься на пол. Но ты же в своей постели, идиот.

Зазвонил телефон.

— Все в порядке, — ответил Жак. — Во всяком случае, настолько, насколько это возможно. Но вообще-то, я в замешательстве.

Дикинжер рассмеялся.

— Мы живем сейчас во время всеобщего замешательства.

— Время — это забавная штука.

— Жизнь тоже.

— Кстати, о времени… Знаешь, я попробовал желтый порошок.

— Да?

— Да. И я повторяю, что нахожусь в растерянности.

— Понимаю. Тебе стоило бы растеряться поменьше.

Дикинжер хлопнул ладонью по столу, по стене или по какой-нибудь другой ровной поверхности, находившейся возле него там, откуда он звонил — скорее всего, из телефонной кабины в аэропорту Руасси. Пронзительно нежная музыка звучала где-то поблизости от него. Но сильный звонкий голос Дикинжера легко подавлял окружающий шум.

— Надеюсь, мы сможем увидеться на следующей неделе, чтобы поговорить о твоем опыте. Нет, я… Нужно, чтобы… Я надеюсь, нас не прослушивают.

— Джон…

Жак попятился, нащупал позади себя надувное кресло и рухнул в него, прижимая к уху телефонную трубку.

— Джон, ты хотел…

— Мы должны подвести итог немедленно. Тем хуже, если линия на прослушке.

— Джон, что происходит?

— Сколько раз ты пробовал порошок?

— Один раз.

— Сколько крупинок?

— Шесть. Половину обычной дозы.

— Хорошо… Послушай, Жак…

— Да, Джон?

— Сейчас 22 часа 30 минут. Думаю, теперь я могу говорить.

— Слушаю тебя.

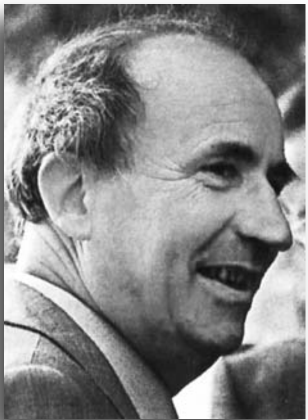
— Жак, ты веришь мне?

— Конечно, Джон.

— Полностью и во всем?

— Да.

— Тогда ты должен высыпать весь желтый порошок, что остался у тебя, в стакан виски и выпить это, не теряя ни минуты!



ФИЛИПП КЮРВАЛЬ

Римская история

Римлянин медленно поднялся с ложа, потянулся, зевнул, потер глаза и, окончательно проснувшись, подошел к календарю — это стало у него чем-то вроде ритуала. 29 год до Рождества Христова. В сотый раз он задал себе вопрос, что бы это могло значить, и кто такой был этот Христос, в честь которого был реформирован календарь.

Конечно, за последние десять лет он узнал множество поразительных и непонятных вещей, но почему-то его больше всего интриговали эти несколько загадочных слов.

Он покрутил краны и вскоре с наслаждением погрузился в ароматизированную воду, наполнившую хрустальную ванну. В таком положении он мог оставаться часами.

Дела процветали, ему оставалось только время от времени посещать офис компании «Будущее Инк.», чтобы обеспечить себе безбедное существование, получив в очередной раз порцию солидных дивидендов. В свое время — хвала Юпитеру — его отца осенила блестящая идея. Он взял несколько тысяч талантов из семейной сокровищницы и доверил их человеку, которого тогда все считали безумцем; впоследствии оказалось, что это величайший гений эпохи. О, боги, но почему все-таки Лукулл реформировал календарь?

Римлянин вылез из ванны, обсушил тело простыней, оделся и отправился на Форум, чтобы повидаться с друзьями. В то время общественная площадь оставалась единственной не снесенной и не реконструированной частью Великого города. Так приятно было побродить здесь пешком, не испытывая раздражения от тысяч вездесущих автомобилей… Разумеется, эти механизмы весьма полезны как средство передвижения на большие расстояния, но так хотелось избавиться от ядовитого запаха бензина в городе! Гораций стал одним из самых уважаемых для нашего римлянина поэтов после того, как яростно выступил против уничтожения Форума и за запрет автомобильного движения на его территории.

Несмотря на то, что наш римлянин был одним из основных держателей акций компании, он не был посвящен в ее секреты, и подобное положение дел порядком портило ему настроение. Но Август — это Август, и здесь ничего нельзя было поделать. К тому же, Лукулл не предпринял ни малейшего усилия, чтобы сын его лучшего друга оказался среди фаворитов императора и мог принимать участие в заседаниях Совета Шести. Этот Совет принимал важнейшие решения, определявшие деятельность компании, и ни один предмет из числа доставляемых исследователями из экспедиций не мог стать общественным достоянием без разрешения Совета. Какая-либо контрабанда полностью исключалась.

Римлянин знал только, что еще ни разу никому не удалось проникнуть в будущее дальше 1966 года после Р. Х.; какие-то неведомые силы противодействовали попыт-

кам преодолеть этот рубеж. Он знал также, что нигде и никогда не сообщалось о результатах самых первых путешествий Лукулла. Сам Август, по его словам, не смог проникнуть в секреты первых экскурсий в будущее, что позволяло предполагать существование за всем этим каких-то волнующих тайн.

На Форуме беседы шли по давно накатанному кругу; говорили, что вскоре в продажу должны были поступить машины, называвшиеся геликоптерами, способные передвигаться по воздуху со скоростью в несколько раз быстрее автомобиля. Римляне не были особенно сильно потрясены этой новостью; за прошедшие десять лет им пришлось познакомиться с таким количеством поразительных новинок, коренным образом изменивших жизнь, что теперь их трудно было удивить чем-либо по-настоящему. Конечно, никто не понимал принципа действия большинства устройств, продававшихся в лавках; естественно, это приводило к их быстрой порче, но компания считала подобное положение дел выгодным для нее, так как выход механизмов из строя способствовал росту продаж, что автоматически увеличивало и без того достаточно высокие прибыли.

Бродячая торговка прошла по площади, оглашая воздух хриплыми криками:

— Айс-крим-сода! Айс-крим-сода!

Римлянин купил порцию, чтобы утолить жажду; жара летнего дня и болтовня с друзьями порядком пересушили ему рот.

— Вам не кажется, Кай, что название этого продукта звучит как-то уж слишком по-варварски?

— Дорогой мой, — ответил сосед, к которому он обратился, — из этих слов можно сделать вывод, что в вашем образовании имеются существенные пробелы; вы сильно отстали от своего времени. Очевидно, именно это и не позволило вам войти в состав Совета, одним из основателей которого был ваш отец.

— Возможно, вы правы, но это не помешает мне считать, что «Айс-крим-сода» — совершенно варварское название.

На этом разговор закончился, так как наш римлянин не любил, когда кто-нибудь из знакомых напоминал ему о Совете, в который он не попал. Он встал и направился к современным зданиям на левом берегу Тибра, где находился его гараж.

Он уселся за руль своего «Цицерона» — эта большая спортивная машина была названа правнуками великого оратора в честь своего знаменитого предка — и устремился по направлению к Капуе, городу, запретные радости которого он ценил превыше всего.

Не заботясь о расходах, он стремился получить от жизни как можно больше удовольствий, избегая ставить перед собой проблемы, которые все равно никогда не смог бы разрешить — или из-за недостатка данных, или по другим причинам.

Перед заходом солнца он вернулся в Рим. Этим вечером в цирке должно было состояться совершенно необычное представление: впервые в анналах города на растерзание хищникам должны были бросить группу христиан. Никто не знал, кем были эти христиане; одни считали их представителями каких-то диких племен, другие же вообще называли их странными животными. Тем не менее, рекламное правительственное агентство провело гигантскую подготовительную кампанию, и интерес оглушенных рекламой римлян к этому мероприятию непрерывно возрастал.

Вокруг совсем недавно реконструированного Колизея кипела огромная толпа. Воздух под светлым римским небом с уже появившимися на нем немногочисленными звездами был насыщен густой пылью, поднимаемой ногами нетерпеливых зрителей. Все спешили усесться на скамьи,

покрытые специальной губчатой резиной, о мягкости которой рассказывали чудеса.

У нашего римлянина была персональная ложа; он прошел в нее особым коридором, о котором знали немногие посвященные, самые именитые жители города. Он расположился на сиденьи, сгорая от нетерпения.

Вскоре он увидел, как в соседнюю ложу вошли члены Совета Шести, включая самого Августа. Толпа приветствовала своего императора радостным могучим ревом. Спектакль начался обычными боями гладиаторов. Потом на быстро смонтированном круговом панорамном экране была показана одна из самых свежих грандиозных кинокартин на мотивы египетской истории. В последнее время римская служба проката была буквально завалена продукцией египетских кинокомпаний.

Наконец, со своего места поднялся Лукулл.

— Народ Рима, сегодня вы впервые увидите на арене потрясающее зрелище: хищники терзают христиан. Я передаю слово нашему императору — великий Август объяснит исключительное значение представления, что сможет пробудить к нему еще более жгучий интерес.

Август встал, приняв подобающую случаю величественную позу.

— Народ Рима! Сегодняшний день — великий день! Я, живой бог на Земле, император всего цивилизованного мира, должен заклеймить перед тобой будущие деяния приверженцев Христа. Ты еще не знаешь, что они проповедуют, но это именно они в будущие столетия осмелятся отрицать не только мое божественное происхождение, но и существование Юпитера, нашего властелина. Пока среди вас еще нет христиан, и я надеюсь, что мы никогда не познакомимся с ними, если ты так захочешь. Поэтому я окрестил — о, что я говорю, какая профанация! — я назвал христианами нескольких жителей одной из далеких северных провинций. По моему приказу их доставили в Рим в цепях, чтобы ты увидел, как карается святотатство, на которое они осмелились. Если игры понравятся тебе, о, римский народ, то тогда я раскрою перед тобой свой план.

Под вопли беснующейся толпы, на арену выгнали группу мужчин и женщин в прозрачных тогах; почти сразу же поднялись решетки, и на арену вырвались хищники. Пытавшиеся спастись бегством христиане были быстро убиты и растерзаны на глазах у восторженной толпы.

Спектакль закончился, и Август снова поднялся на ноги.

— Понравилось ли тебе зрелище, о, народ Рима?

Ответом было буйство одобрительных возгласов; крики безумствующей толпы многократным эхом повторили слова императора.

Римляне всегда жаждали увидеть кровь, особенно, с тех пор, как стали без труда выигрывать все сражения благодаря появившемуся у них новому оружию; при этом, мужество и боевой азарт воинов не могли удовлетворяться так, как это было раньше, когда они должны были прокладывать себе путь к победе, прорубаясь через ряды врагов.

— Видел ли ты, о, римский народ, насколько эти христиане лишены мужества, чтобы достойно встретить смерть?

Все зрители вскочили на ноги, вытянув вперед сжатые в кулак руки с опущенным вниз большим пальцем.

— Итак, я решил, — продолжал Август, — что я и мой народ не должны увидеть, как настанет время господства этих ничтожных людишек, не должны увидеть гибель наших богов. Мы должны отправиться в путешествие назад во времени, должны вернуться в славную эпоху наших отцов, не познав таким образом унизительную для нас жизнь, не достойную нашего величия.

— Мы идем за тобой, Август! — завопила толпа.

* * *

В течение всего нескольких следующих дней было создано контрольное бюро. Римляне, отстояв в гигантских очередях, записывались там, и как только набиралась группа в сто человек, их тут же отправляли на десять лет в прошлое.

Наш римлянин последовал за всеми, с той только разницей, что он совершил это путешествие в персональной кабине. Вернувшись в прошлое, он встретил своего отца, скончавшегося два года назад, в 31 году до Р. Х.

Получается, что он так никогда и не узнает, кто такой Христос и что представляют собой его последователи… Впрочем, кое-что немного прояснилось: если Лукулл и Совет Шести реформировали календарь и начали отсчитывать годы, приняв за начальный год некую определенную дату будущего, то это могло означать, что они рассчитывали никогда не достичь этой даты. Таким образом, великая слава Августа никогда не померкнет, и римский народ не испытает унижений, увидев свергнутыми своих богов и разрушенным могущество своего государства. Солнце никогда не взойдет на заре нулевого года.

Тем не менее, возврат на десять лет в прошлое не обошелся без некоторых происшествий, которые стоило считать, по меньшей мере, странными. Как уже говорилось, ниш римлянин встретил отца, находившегося в полном здравии, тогда как он был свидетелем его кончины два года назад. Он снова пережил его смерть в 31 году, но, после очередного возвращения назад во времени, опять увидел его живым и здоровым.

После нескольких повторений эта игра начала утомлять его. Битва при Акциуме была выиграна три раза, хотя она и пришлась на несколько различавшиеся даты, что соответствовало новым политическим реалиям. При этом каждый раз римлянами применялось все более и более совершенное оружие. Ходили слухи, что в следующий раз собирались применить бомбу, называвшуюся атомной. Все надеялись, что ее использование избавит Рим от необходимости вновь и вновь выигрывать это сражение в дальнейшем.

Нашему римлянину накануне четвертой смерти отца исполнилось 50 лет. На этот раз он предпочел покончить смерть самоубийством, чтобы возродиться в теле, ставшем на десяток лет моложе. Появлявшиеся при этом дубликаты самих себя, которых римляне встречали, вернувшись в прошлое, уничтожались в обязательном порядке, чтобы не усложнять и так достаточно сложную ситуацию. В результате появилась и процветала весьма доходная профессия, потому что было несколько затруднительно хладнокровно убить себя самого; использовавшиеся с этой целью наемники получали бешеные деньги за выполнение столь необходимой, но жуткой работы. Бывали случаи, когда вместо возвращения в прошлое люди бесследно исчезали, вероятно, из-за каких-то ошибок в настройке аппаратуры.

Римлянин находил свою жизнь все более и более монотонной. Он страдал из-за того, что возрождавшийся к жизни отец каждый раз брал на себя все руководство семейными делами, лишая его, таким образом, возможности свободно тратить деньги. Помимо этих понятных затруднений, его не переставало мучить желание выяснить, кем все-таки был Иисус Христос. В конце концов, он обратился к одному из членов Комитета Шести, его наиболее близкому знакомому, относившемуся к нему с почти отеческой любовью.

— Эти исчезновения, эти роковые ошибки, о которых так много говорят, не ваших ли это рук дело?

— Действительно, мы иногда вызываем исчезновения, потому что люди, неспособные противостоять желанию познать будущее, становятся нежелательными элементами в нашем мире. Но только всемогущие боги

в состоянии поведать, что происходит с несчастными, отказывающимися подчиняться циклическим сменам юности и старости, потому что нам удалось получить искажения только в пространстве, но не во времени.

— Не мог бы ты оказать мне подобную услугу? Я старею, и я не думаю, что это такое уж разумное решение — постоянно омолаживаться на все те же самые десять лет до скончания времен. Я устал от нашего повторяющегося мира, мне хочется перед смертью повидать и другие горизонты. Если ты поможешь мне, я завещаю тебе все свое богатство; представляю, что за физиономия будет у моего папаши, когда он поймет, что остался нищим — это будет прекрасный повод, чтобы повеселиться.

— Что ж, я готов помочь тебе, мой друг.

И римлянин вошел в свою персональную кабину, оставив сообщнику обещанное завещание. Все помутилось в его глазах, реальный мир исчез, и кабина увлекла его к неведомой судьбе.

* * *

Когда кабина остановилась, ему показалось, что он оказался на Земле, хотя небо было глубокого зеленого цвета, едва ли не черное. Похожее на земное, солнце сияло на небосводе, но рядом с ним можно было различить звезды. Римлянин вышел из кабины. Воздух был вполне пригоден для дыхания, но дышалось с трудом из-за разреженности атмосферы. Он очутился на просторной площади, обнесенной необычно высокой стеной. По всему периметру в стене виднелось множество прямоугольных дверей.

Люди очень маленького роста с непропорционально большими головами, появившиеся из этих дверей, бросились к нему и, не сказав ни слова, утащили куда-то его кабину. Потом они притащили огромную книгу, на страницах которой, насколько он смог понять, повторялась одна и та же фраза, написанная разными знаками на разных языках.

Перелистав множество страниц, он наткнулся на текст, написанный на латыни:

«Человек, прибывший к нам из иного времени или иного пространства, ты находишься на перекрестке, где встречаются тысячи параллельных миров и тысячи разных времен, когда-либо существовавших на планете Земля. Если ты заблудился или прибыл к нам с визитом, обратись в кабинет со знаками Ω или Ø на прикрепленной к двери табличке».

Римлянин долго шел вдоль обрамлявшей площадь стены, пока, наконец, не увидел на одной из дверей символ, приведенный в книге.

— Привет, чужестранец, — обратился к нему лысый человечек с огромной головой. — Что ты хочешь узнать? Но прежде расскажи о своих приключениях, о том, как ты попал сюда.

Римлянин рассказал ему все до малейшей детали.

— Исключительно любопытно. Я думаю, что ты попал к нам из мира № 350007, если считать, начиная с ≠↔∞; это, пожалуй, единственный случай, когда мир отказался идти по пути эволюции. Поэтому у твоего мира не было будущего, и он постепенно весь растворился в прошлом. После пятидесяти циклов возвращений во времени, с которым ты сталкивался всего несколько раз, время в вашем мире двинулось в обратную сторону, если так можно выразиться. Люди постепенно выродились и превратились в обезьян, птицы — в рептилий. Короче, все живые существа прошли путь биологической эволюции в обратном направлении, вернувшись, в итоге, в морскую среду, из которой когда-то вышли. Затем — через много миллионов лет — планета разогрелась, расплавилась и слилась с Солнцем.

— Неужели при этом каждый человек пережил заново всю свою жизнь, но в обратном направлении?

— Разумеется, до самой мельчайшей подробности. Каждый взрослый человек постепенно становился все моложе, превращался в ребенка, ребенок возвращался в материнское лоно; все повторялось; например, повторялись и пожары, но при этом сгоревшие здания возрождались из пепла, словно птица-феникс. Можно было бы привести тысячи других примеров, но мне просто некогда перечислять все то, что ты без труда сможешь представить сам.

— А Иисус Христос?

— Он никогда не существовал в твоей Вселенной.

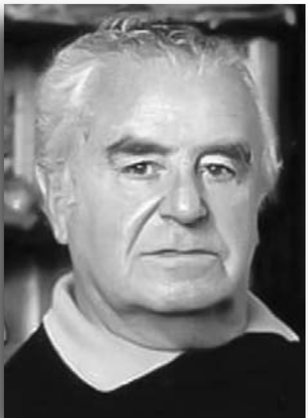
— А как же будущее, из которого в наше время доставлялось столько чудесных механизмов и устройств?

— Скорее всего, вы находили их в одной из параллельных вселенных; но это предположение следует проверить. Ведь если бы будущее, из которого к вам попадали все эти чудеса, было вашим будущим, то оно неизбежно подверглось бы серьезным изменениям из-за достигнутого вашим обществом прогресса. Я думаю, что этот параллельный мир отставал от вашего всего лишь на незначительную долю градуса.

— Значит, я так никогда и не узнаю, кем был или будет этот Христос?

— Почему же, ты ведь можешь познакомиться с тысячами его других явлений. Этот человек существовал в тысячах других Вселенных, иногда под другими именами, иногда в совершенно ином облике. Иногда его мир так и не замечал его появления; кое-где его быстро забыли; но это не имеет никакого значения, потому что это всего лишь один из этапов общей эволюции разума.

Впрочем, если тебя интересуют вопросы религии, ты можешь обратиться в кабинет Ħ + א. Если хочешь, мы можем даже отправить тебя в какой-нибудь из миров, наиболее похожих на твой, и там ты сможешь узнать, кем был Иисус Христос и познакомиться с его жизнью и учением. Но я советую тебе, прежде всего, подумать о своей удаче — ведь ты все еще жив, а если бы ты остался в своем мире, то сейчас ты бы уже не существовал, и тебя вообще никогда не было бы. Впрочем, можешь использовать свою удачу как хочешь.



ЖАН-ПЬЕР ВЕРНАН

Из воспоминаний

Кажется, что на ионийской земле разум (логос) внезапно освобождается от мифа подобно тому, как пелена спадает с глаз. И свет этого разума, вспыхнув однажды, будет непрестанно освещать путь общечеловеческого разума.

Жан-Пьер Вернан

Путешествие по Греции в 1935 году

Мы путешествовали большой группой, состоявшей из коммунистов. Эта поездка была организована не потому, что нам хотелось повысить свой культурный уровень или посетить античные города, а потому, что мы считали эту страну угнетенной. Впрочем, Греция напомнила нам Средиземноморье, к которому мы были очень привязаны. Я прекрасно помню деревушку в Провансе, где я однажды провел со своими родителями ночь. Мне тогда было лет 12—13. Утром меня разбудил звон колокольчиков и топот небольших копыт. Это было стадо коз, которое пастух прогнал по улице. Я как сейчас вижу залитые светом крыши с римской черепицей и море, синее как чернила. Это было настоящее открытие. Потом мне пришлось повидать Атлантику, но это было уже нечто совсем иное. В Провансе царил запах, который я вспоминал всю свою жизнь, не зная точно, что это такое. Но потом я встречал его повсюду на берегах Средиземного моря.

Оказавшись в Пирее, мы были потрясены. Мы плясали с моряками под звуки патефона, потом заснули на пляже и были разбужены рыбаками, возвращавшимися с уловом. Мы повстречались с удивительным гостеприимством простых людей. В то время там почти не было туристов. Мы много передвигались пешком, например, преодолели таким образом расстояние от Афин до Дельф. Местные жители то и дело приглашали нас к себе, угощали, оставляли переночевать… Мы думали, что встретим народ, подавленный страшной диктатурой, но видели только свободных, жизнерадостных людей.

Я помню, как думал перед поездкой, что еду в Грецию совсем не для того, чтобы увидеть древние камни. Тем не менее, мы поднялись в Акрополь. Здесь мы испытали первое потрясение, потому что нас сразу окружили греческие полицейские в странной форме: они были в коротких юбочках, шляпах и носках. В то время Грецией правил диктатор генерал Метаксас…

Это была странная ситуация для страны, которая была колыбелью демократии, от которой, впрочем, были отлучены иностранцы, женщины и дети.

Греческая цивилизация

Здесь надо уточнить, что женщины, хотя и были отстранены от политики, все же считались равноправными членами общества, поскольку, согласно декрету Перикла, чтобы быть гражданином Афин, достаточно было иметь отцом и матерью граждан Афин. Это был заметный прогресс, поскольку до Перикла учитывался только отец-афинянин. «Благородный» обычай требовал также, чтобы мужчина искал себе жену за пределами своего города, что имело целью прежде всего укрепление внешних связей. Одним из главных моментов греческой демократии была замена этих стратегических браков знатных аристократических семей женитьбами внутри города, что способствовало распространению своего рода гражданской эндогамии. Отмена браков с чужими основывалась на идее, согласно которой женщина несла в себе нечто основополагающее. Следовательно, они уже являлись гражданами города, но не участвовали в политической жизни, от которой также были отстранены дети, иностранцы и, естественно, рабы. Таким образом, мы имеем дело с вариантом ограниченной демократии.

У греков не было олигархии, но были олигархические государства. Платон и Аристотель не случайно не различают аристократию, олигархию, демократию и тиранию. В Афинах предполагалось, что в демократическом государстве все граждане должны находиться на одном уровне. Идея, что все граждане равны в своих правах, постепенно утвердилась под влиянием таких великих афинских граждан, как Солон, Клисфен и другие. Разумеется, знатные семейства продолжали играть свою роль в политической жизни. Таким образом, греческая демократия сделала большой шаг вперед и тут же — шагнула назад. В одном и том же социальном и нравственном процессе были декларированы свобода граждан и рабство тех, кто гражданами не являлся. Раб низводился на уровень имущества, которое можно было продавать и которое избавляло хозяина от физической работы. Раб позволял хозяину тратить все дневное время на политику и интеллектуальные занятия. Эти два аспекта были тесно связаны между собой.

Греки добились серьезных изменений. У великих городских цивилизаций древнего Ближнего Востока имелся центральный субъект — царь, фараон и т. д. Он занимал привилегированную позицию, абсолютно необходимую для того, чтобы осуществлять связь между обществом и божеством. Таким образом, власть ценилась за свое мистическое, сверхъестественное содержание… До греков существовала убежденность, что для соблюдения порядка необходима власть, устанавливающая и поддерживающая этот порядок. Греки «перевернули» проблему, утверждая, что порядок является изначально существующим, естественным, и власть просто отражает наличие этого порядка. Речь гражданского лица, которая произносилась на агоре, то есть месте, где происходил обмен интеллектуальными ценностями, отныне приобрела решающее значение. Дебаты по своей сути противоречивы, участие в дебатах требует умения аргументировать, убеждать. Таким образом, возникла определенная форма рационализма.

Но речь не идет о том, чтобы жестко отделить рациональное от священного. На этой политической территории, на агоре, граждане не задумывались над тем, оскверняют ли они своими словами святыню или нет. Впрочем, на собрании перед началом дебатов совершались определенные ритуальные действия. Сегодня историки пытаются выяснить, можно ли использовать эти понятия для религий Священного писания и для политеистических религий. У греков религия пропитывала всю жизнь и, следовательно, как бы отсутствовала везде. В ней не было догм, теологии, обязательности веры. Религия содержала преимущественно запреты, имевшие как религиозный, так и этический и эстетический характер.

У греков не было понятия о духовной жизни, любой человек представлялся им только с телесной стороны. Греческие герои существуют, ведут себя определенным образом, общаются с окружающим миром; им свойственно определенное поведение, у них имеется внутренняя энергия морального, эстетического, религиозного плана. Это было общество людей, видящих только то, что можно видеть: вы есть то, что другие видят в вас. Если вы положительны, то это видно сразу. Вы можете попытаться скрыть свою сущность, но ваша внешность обязательно отразит ваше внутреннее содержание. Общество существует постольку, поскольку правила для всех являются очевидными. Для греков эти правила, которые мы можем назвать «ритуалами», являлись основополагающими элементами существования.

Существовали разные формы священного. При открытии собрания ассамблея, прежде, чем перейти к мирским делам, должна была заняться священными ритуалами. Но рядом с этим закрытым, неприкасаемым, священным существует то, в чем боги уступают место людям, точнее, тому, что мы называем мирским, при условии, что люди соблюдают определенные правила.

Могущество богов и людей и сопоставимо, и различно. В монотеистической религии считается, что Бог создал Космос, но у греков считалось, что Космос создал богов. Греческие боги были рождены, они не были всемогущими, присутствующими везде и даже полностью бессмертными, поскольку они появились в какой-то определенный момент. Их уважают в той же степени, в какой народы восточных цивилизаций уважали своих царей. Боги возвышаются над людьми, но они являются частью нашего мира. Это своеобразное представление о божественном помогало личности понять, что она не существует сама по себе, что она является частью всего, и это все господствует над ним. Поэтому у человека никогда не появлялось ощущения, что он является властелином, хозяином природы… В этой политеистической религии вера в богов, в мифы, в героев не содержит в себе ничего принудительного. В то же время, в Священном Писании Бог един, абсолютен, трансцендентен и находится вне мира. Его можно познать только в откровении, и священные тексты формируют жестко обусловленную религию. Христианство использует греческую философию для того, чтобы создать догматическую теологию и укрепить это кредо. Благодаря этому и возникли противоположные взгляды, сомнения, критика, отрицание. Подобная религия неизбежно вызывает свое отрицание, как и необходимость сделать более мирской социальную и личную жизнь. Таким образом, общество постепенно продвигалось к современности. В Греции не считалось важным знать, верит ли человек или нет, поскольку каждый верил по-своему; главным было действовать в соответствии с правилами. Именно повседневные поступки давали человеку ощущение, что он находится в согласии с окружающим миром. Когда ребенку говорят, чтобы он помыл руки перед едой, то речь идет не только о гигиене; прежде всего, имеется в виду необходимость, чтобы все происходило в соответствии с установленным порядком. Нет разрыва между религиозным ритуалом, то есть священным действием, и фактом мытья рук. И то, и другое позволяет человеку находиться в согласии с Космосом.

Греция всегда нравилась мне, потому что она воплощала свободу духа, тогда как церковь представлялась мне бастионом семейных традиций, оплотом обскурантизма. У меня даже появилась несколько наивная идея, что эти отрицательные моменты исчезнут в ходе научного прогресса и социальной эволюции. Греция способствовала возникновению у меня ощущения, что человек является частью всего остального мира.

Я достаточно отчетливо показал, что греки не придумали Разум; он является результатом непрерывных усилий всего человечества. Он различается по характеру применяемых ментальных инструментов. Математик мыслит не так, как биолог, художник, оратор, социолог. Рациональное появляется по мере того, как индивидуум пытается сделать внятными, связными, рациональными различные сферы реальности. Например, до войны рациональность, постулируемая марксизмом, помогала нам найти объяснение текущим событиям, облегчала понимание социальных тенденций и истории общества. Это видение, четкое и связное, было результатом длительных усилий, продолжавшихся за пределами Греции, и относилось ко всей человеческой истории, к организации человеческого общества в целом и его экономической жизни. Оно позволило мне проявить проницательность и предвидеть то, что должно было произойти во время Второй мировой войны. Я не мог прожить эти годы в неопределенности, убеждая себя в том, что Франция погибла из-за человеческой лени и стремления к удовольствиям. Я тут же уяснил для себя истинное место Петена. В 1944 году я сразу понял, что впоследствии мы откажемся от союза с теми, кто помог нам выиграть войну, то есть, с народами колоний. Я придерживался в то время точки зрения, согласно которой первая половина XX века была эпохой борьбы с фашизмом, тогда как вторая половина будет посвящена такой проблеме исторического значения, как освобождение народов колоний.

Борьба с фашизмом

Все, что относится к представлениям о жизни, к личному поведению и морали, было включено в мое стремление интерпретировать мир определенным образом. Петен не только вызывал у меня реакцию, как нечто мрачное и отвратительное, но и символизировал подлинный кретинизм, был олицетворением глупости. Этот старик, заявлявший, что он представляет Францию, всего лишь рвался к власти, чтобы делать все, что он захочет. Против него были моя юность, мои друзья, знакомые мне девушки, наши песни, Народный фронт, кабачки моей молодости, вся радость жизни в мире свободы, надежды и веселья. Я быстро понял смысл происходящего. Я не мог не ненавидеть то, что представлялось мне дурным, низменным, отрицанием человечности.

Все, что у нас было общего тогда и сейчас прекрасно отражает одно слово: антифашизм. Историки не преминут заметить, что за этим словом могут скрываться разные вещи. Но во всей Европе, для сотен тысяч людей, с которыми я был заодно, это слово означало, что нужно бороться против Муссолини, против Франко, против Гитлера. Для меня линия раздела проходит между двумя понятиями: фашизм и антифашизм. Разумеется, многие скажут, что мы не были свободны, что антифашистское движение было искусственно создано III Интернационалом. Это абсолютно неверно. У III Интернационала ушло много времени на то, чтобы перейти к антифашистской позиции. Именно в 1940 году, когда компартия надеялась, что ей удастся договориться с фашистами, продолжая бороться против правительства Виши, я принял решение уйти в Сопротивление.

Когда я в 1932 году вступил в компартию, то главным моментом, на котором настаивал я и все мои друзья, было объединение всех антифашистских сил Франции. Я участвовал в демонстрации вместе с Дорио в 1934 году, выкрикивая лозунг: «Единство! Единство!» Я был коммунистом, но не забывайте, как я проводил тогда линию раздела; перед миллионами людей, многие из которых тоже были коммунистами, стояла та же проблема.

Когда мне в Нарбонне попала в руки подпольная коммунистическая листовка, я пришел в невероятное бешенство. В это время произошла катастрофа в Мерс-эль-Кебире[1], Петен заклеймил себя позором, положение населения было крайне тяжелым… Но в тексте не было ни слова о немцах! Из-за этого мы с братом заклеили все стены лозунгами вроде «Да здравствует Англия, позволяющая здравствовать Франции!» В те годы я не думал о греках, я был целиком поглощен фашистами Латинского квартала, с которыми постоянно дрался, я ненавидел нацизм. Мне даже приходили в голову мысли оставить занятия, чтобы встать в одни ряды с испанскими бойцами. Потом я понял, что открытость, возможность дискуссий, терпимость, критический дух и способность к пониманию олицетворяет Греция. Для меня стали наиболее значимы стремление понять мир, наслаждение, которое при этом испытываешь, мои отношения с другими людьми. Сегодня у человека нет под руками ответов на задаваемые им самим фундаментальные вопросы, на него возложена обязанность найти эти ответы. У нас центром мира является личность с ее внутренним миром, с ее способностью к анализу. У греков это понятие индивидуализма было не так сильно выражено; институт завещания, в котором умирающий решает, что он сделает со своим имуществом, появился значительно позже. Нужно работать над собой, чтобы занять достойное место в мире, а не всматриваться в свой пупок. Я прошел путь по направлению к политике, связанной с реалиями начала XX века. В это время у меня не появлялись мысли о греческой цивилизации, я больше думал о XVIII веке во Франции, о свободе мысли, о правах человека, о равенстве, любви к ближнему…

Я заинтересовался мифами только после войны. И Леви-Стросс, близость к которому я всегда ощущал, явился для меня образцом для подражания. Хотя первоначально сферы нашей деятельности существенно различались. Я работал над греческими текстами, тогда как он изучал устное творчество, преимущественно на материалах из Южной Америки. Говорят, что для Леви-Стросса история отсутствует. И справедлива точка зрения, что проблемы из греческих мифов оказались обновленными в поздние времена. Понятие мифологии, несколько искусственно созданное греками, применяется по-разному, в зависимости от того, имеем ли мы дело с устной или с письменной культурой. В письменном виде миф полиморфен, он существует в трагедии, лирической поэме, в философии и так далее. Если говорить о взаимоотношении мифического и рационального, то я сказал бы, что такие гении, как Галилей и Ньютон в своей работе руководствовались совершенно фантастическими идеями. И это отнюдь не мешало им, скорее, давало дополнительную мотивацию. Тем не менее, я не говорю, что следует рассматривать в одном плане мифическое и рациональное. Я всегда остаюсь убежденным рационалистом.

Моя жизнь

Автобиография противоречит моим склонностям, а также моим способностям. Меня раз двадцать просили написать автобиографию, и я могу понять это, так как я весьма пожилой человек, увязший, как в болоте, в своей эпохе, во времени, которое для сегодняшней молодежи да и для некото-

[1] Морской порт в Алжире, военно-морская база Франции. Во время II мировой войны находившаяся там французская эскадра была уничтожена 3 июля 1940 года британским флотом, когда французский адмирал отказался или присоединиться к союзникам, или разоружиться. При этом погибло более 1300 французских моряков.

рых пожилых людей напоминает каменный век. Только подумать! Ведь я родился в 1914 году, а это ничем не отличается от того, если бы я жил во времена Гомера или Иисуса Христа… Ну, нет! Я никогда не возьмусь за автобиографию. Прежде всего, потому, что я, хотя и считаюсь историком, обладаю отвратительной памятью; если бы я попытался для развлечения написать свою собственную историю, то я перепутал бы все даты. Тем не менее, я могу признать, что иногда с удовольствием рассказываю друзьям некоторые случаи из своей жизни, когда хочу заставить их посмеяться или когда мой частный случай является иллюстрацией к более общему явлению. Именно это и имеет место в моей книге, в особенности, как мне представляется, когда я рассказываю о Сопротивлении в Тулузе.

У меня не было ни малейшего желания вспоминать это время, в которое было так трудно выжить. Я терпеть не мог рассказы ветеранов, эту вздорную болтовню, не интересную ни для слушателей, ни для самого рассказчика. Только совсем недавно я обнаружил, насколько важны эти свидетельства, когда мне пришлось вспомнить рассказы о Первой мировой войне моих дядюшек.

Тогда мне было шесть или семь лет, и я слушал, как выжившие в этой бойне говорили о страшном, смешивая шутку и абсурд, рассказывали о том, как они уцелели и теперь не решались передать живым самое ужасное. Они рассказывали и о себе, чтобы показать смешные стороны роли, которую им пришлось играть, разрушая приписываемый им героический облик. Нужно признать, что уцелевшие в этой мясорубке действительно не были героями. Настоящие герои — это погибшие.

Когда на фронте погиб отец, мне едва исполнился один год. Нередко психоаналитики рассказывали мне о комплексе Эдипа, названного так по имени греческого героя. И я отвечал им: «Извините, но у меня не может быть эдипова комплекса, потому что я никогда не знал своего отца. Я не могу ненавидеть, ревновать или обожать его… У меня просто не было отца». Следовательно, для меня имели значение не отношения с моим отцом или с моей матерью — которая также умерла, когда я был совсем юным, — а отношения с моими братьями или кузинами. Поэтому более вероятно, что у меня был не комплекс Эдипа, а «комплекс фратрии». Конечно, как у всех, у меня был воображаемый отец. Мой отец также получил право на преподавание философии, но стал журналистом, руководил газетой социалистического толка в провинции, выступал против войны вместе с Жоресом, затем пошел добровольцем в пехоту во время всеобщей мобилизации летом 1914 года. На меня большое впечатление оказал пример этого человека, ушедшего на фронт в первые же дни войны и погибшего через несколько месяцев.

Вторая мировая война

Я вышел живым из событий, считающихся историческими, но мне довелось видеть невероятное количество юношей моих лет, вступивших в борьбу и лишившихся жизни в Сопротивлении, тогда как я все еще жив. Я честно задаю себе вопрос: существует ли то, что позволяет мне говорить об этой войне, мне, человеку, сохранившему для себя самое важное? Ведь выжившие автоматически выбывают из игры. Значит, я тоже вне игры. Состарившись, я оглядываюсь на свое прошлое, на то время, когда я был молод и страдал всеми недостатками этого возраста, то есть совершенно невероятным сплавом беззаботности и глубокой серьезности. И я должен признаться, что на протяжении этих страшных, драматических лет я чувствовал себя счастливым. Разве это не ужасно?

На места боев, в частности, в Тулузу, где я был командующим внутренними французскими силами, я возвращаюсь только из чувства долга, меня терзает ощущение ответственности перед другими выжившими. Недавно я участвовал в торжественном открытии «Аллеи 19 августа 1944 года» в Тулузе — это дата освобождения города. Я был потрясен несоответствием между речами официальных лиц, министров и других шишек, и воспоминаниями о том, что я пережил, что в действительности происходило здесь. То, что нам говорили, то, что содержалось в этих речах, полных красивых слов, не имело ничего общего с происходившим. В этот день, в Тулузе, я услышал эхо, не имевшее ни малейшей связи с тем, что я пережил шестьдесят лет тому назад. Поэтому я и пытаюсь восстановить историческую правду, и, прежде всего, то, что было главным для мальчишек моего возраста, принимавших участие в Сопротивлении: «все или ничего». Вообще-то, у нас не было выбора: во имя того, что существует за пределами обыденных и общественных ценностей или почестей, нам казалось невозможным принять неприемлемое. Следовательно, мы должны были выбрать правильный путь. И мы выбрали его, зная, что ежедневно рискуем жизнью. Вот в чем смысл этого «все, или ничего». Это следует понимать, если вы хотите что-нибудь понять в Сопротивлении. Мы знали, что нас могут арестовать и расстрелять, и каждый раз, просыпаясь утром, мы думали об этом. И все же мы были счастливы… Я думаю, что многие из нас прожили бы тусклую, несчастливую и посредственную жизнь, если бы у нас в тот момент не было возможности принять участие в Сопротивлении. Неожиданно из массы французского народа возникли люди, ставшие исключительными личностями, хотя ничто не предопределяло это. Несколько примеров этого я привожу в своей книге. Нужно признать, что в 1940 году Сопротивление было достаточно плохо организовано. Но в 1944 году внутренние французские силы, которыми я командовал в Верхней Гаронне, представляли собой настоящую тайную организацию, объединявшую разные, иногда антагонистические течения. Все было организовано таким образом, чтобы взять на себя после освобождения функции государственных органов. Этот момент представляется мне решающим: я, выходец из семьи со светскими и республиканскими традициями, напичканный идеями о католицизме и правых силах, бывший до войны коммунистом и ярым антифашистом, неожиданно оказался в тесном союзе с моими вчерашними «врагами», в том числе, с католиками, участвовавшими в «Аксьон францез»[1]. Сопротивлению удалось за четыре года войны сгладить наши противоречия. И я глубоко убежден, что именно поэтому после освобождения не началась гражданская война между коммунистами и голлистами, как это случилось с соперничавшими группировками в Югославии или Польше.

Связь современности с древней историей

Я закончил курс философии в 1937 году. Я оказался в числе первых, но я имел весьма смутное представление даже о Гомере. Мое воображение поразили, прежде всего, Одиссей и его приключения, как это было характерно для всех мальчишек. В то время я преклонялся перед Марксом и Платоном, и я пытался понять, каким образом Платон, этот замечательный философ, смог развить столь аристократическую концепцию политической жизни и, можно сказать, коммунизма. Только в 1948 году, то есть через три

[1] Католическая монархистская организация праворадикального характера, поддерживавшая во время гитлеровской оккупации правительство Виши (примеч. перев.).

года после окончания войны, я начал читать греческих авторов. И всего лишь несколько лет назад я начал приходить к пониманию, что, по-видимому, существует неосознанная связь между моим участием в Сопротивлении и историями, над которыми я так долго работал.

Франсуа Артог, посещавший мои семинарские занятия и тоже ставший крупным специалистом по Греции, определил эту связь для меня. Сначала подобный анализ возмутил меня и даже немного разозлил. Но потом я с растерянностью осознал, что нет ничего случайного в выборе моего призвания, связанного с поэмами Гомера. До того я словно прятался за тем, что можно назвать дистанцией между воспоминаниями и самим собой: я как будто читал нейтральное и объективное описание своей жизни. В то же время, я прекрасно знал, что в истории нет никаких действительно нейтральных и объективных описаний: ты читаешь исторические тексты, имея в уме классификации, категории, надежды… Франсуа Артог, великолепный историк, поймал меня на моих собственных цитатах. И действительно, я всегда утверждал, что если ты смотришь в прошлое, то делаешь это для того, чтобы задать ему вопросы, порождаемые настоящим.

Историк, прежде чем погрузиться в прошлое, должен четко осознавать свое место в настоящем. В зависимости от эпохи, вопросы меняются. Именно поэтому история античности обещает нам еще тысячи открытий: историки будущего станут задавать свои вопросы, основываясь на проблемах, которые встанут перед будущими обществами. Следовательно, существует история Истории. В том, что касается лично меня, то вопросы, которые я задавал Древней Греции, были прямо порождены историей последних шести десятилетий двадцатого века; мне довелось пересечь их иногда как актеру (например, во время Соротивления), а иногда — как зрителю. Но мою работу нельзя считать ни нейтральной, ни объективной: она определялась обществом, в котором я находился и которое заметно эволюционировало за последнюю половину столетия: достаточно отметить развитие общественных наук, антропологии, лингвистики (последней меньше всего, в том, что касается меня, поскольку я не лингвист, а философ), структурализма…

После 1948 года

Больше всего меня интересуют отнюдь не древние тексты: я не филолог, и споры о возможности (или невозможности) той или иной грамматической формы меня не волнуют. Мне гораздо больше интересны поиски ответов на следующие вопросы: Что такое общество? Что такое культура? Именно на них я пытаюсь ответить во всех моих работах о Древней Греции. Чтобы понять написанное древними греками, следует, как мне кажется, попытаться понять, что было в то время у них в головах. Любой труд создается в определенном контексте, социальном и ментальном. Нельзя понять смысл греческих трагедий, написанных Эсхилом, Еврипидом или Софоклом, если не представлять, что появилось нового в уголовном праве в то время, то есть в V веке до новой эры. Нужно одновременно уважать специфичность произведения (трагедия, к примеру, не отражает ничего, кроме самой себя) и его вхождение в резонанс со специфическим миром (это становится понятно, если вспомнить, что одновременно возникали и другие формы мышления). Любое общество следует воспринимать как нечто цельное и затем изучать его разрывы, его разногласия и его противоречия. Иначе смысл жизни предстает в неполном виде. Нельзя отрывать одни события от других. Нельзя представить себе царя Эдипа, не сунув нос в предшествующую его жизни греческую мифологию. Нужно уметь быть антропологом.

Греческие мифы

Греческие мифы дошли до нас в многочисленных вариантах. Каждый миф замыкается на самом себе, но, в то же время, остается открытым для всех других. Следовательно, почти все мифы многозначны, как и поэзия, — смысл поэтических произведений всегда многозначен. Поэтому я не могу претендовать на то, что установил смысл того или иного мифа; я просто следую за планом значений этого мифа. В противоположность тому, во что верили в то или иное время, миф нельзя считать специфическим повествованием. Миф не является особой реальностью, которая существовала в Греции (поскольку mutos — греческое слово) и могла встречаться где угодно. Мифы — это устные повествования, подчиняющиеся определенным правилам: они передавались из уст в уста и, следовательно, подвергались со временем постоянным изменениям. Мифология — это письменное отображение этой устной традиции. Скажем, в Африке ситуация совершенно иная, поскольку там устная традиция жива до сих пор; когда автор какой-нибудь драмы использует тот или иной мотив из легенды, он модифицирует историю из мифа в зависимости от того, что он хочет сказать. Таким образом, слушателям передается не сам миф, а вариация на его темы. Все это на протяжении весьма длительного времени происходило и в Греции: поэты выбирали желаемую версию из целого ряда похожих вариантов, сохраняя в ней те или иные моменты. Следовательно, миф не существует сам по себе, он является результатом постоянных изменений, которые, в свою очередь, обусловлены видом используемой в данном случае поэзии (элегическим, лирическим, трагическим и т. д.). Нужно будет ожидать еще пару столетий, прежде чем все версии будут собраны в кратких справочниках по мифологии. Но было бы ошибочным определять суть греческих мифов только по этим кратким изложениям. Греческий миф является продуктом устных традиций, которые невозможно восстановить во всей их целостности. Эти традиции могут отображаться в поэтических произведениях (как, например, в «Илиаде» или «Одиссее», благодаря Гомеру) или в обрывочных упоминаниях историков, использовавших мифы, чтобы описать происхождение того или иного государства.

Для нас история преследуемой Гефестом Афины, которая бросила на землю попавшее на ее бедро божественное семя, породив таким образом сына, ставшего царем Афин, является мифом. Но пишущий на эту тему афинский историк упоминает этот эпизод как частицу легендарного прошлого, весьма отдаленного и, следовательно, вызывающего сомнения в его реальности, хотя при этом не отрицается и возможность подобного случая. В наше время именно мы решаем, что является мифом, а что относится к историческим событиям. Греки считают, что героические легенды отражают крайне отдаленное от нас прошлое, которое различимо с трудом из-за своей отдаленности, но не являются мифами. Следовательно, греки не рассматривают свои мифы как нечто мифическое, но полагают, что это рассказы о временах реальных героев; таким образом, подтверждается непрерывность истории от той эпохи до нашего времени. Поэтому я и пишу, что у греков существовала, как, впрочем, и у нас, своя программа проверки достоверности.

Программа проверки достоверности — это система базовых положений, позволяющая в сфере истории установить признаки того, заслуживает ли данное сообщение доверия, является ли оно объективным. В математике программы проверки достоверности относятся к проблемам демонстрации или непротиворечивости, что, разумеется, неприменимо в истории. Возьмем, к примеру, Геродота, первого из историков. Или Фукидида. Или Полибия. Все они заявляют: «Я говорю только о том, что я видел сам или услышал от лиц, непосредственно видевших это, то есть от современников

события». Если, например, Фукидид говорит вам, что в рассказе о царе Миносе присутствует элемент воображения, то это не означает, что данная история не происходила в реальности, а лишь то, что доказать ее реальность невозможно. Для историков программа проверки достоверности меняется: историческим фактом является то, что доказуемо, то, чему мы являемся непосредственными свидетелями. Надо сказать, что Фукидид не избегал того, чтобы приписать своим персонажам речи, которые он полностью переделал… В области физики экспериментальная проверка возможна, хотя также может быть объектом для проверки, поскольку сегодня физики говорят нам, что достоверность явления может быть экспериментально подтверждена в одном масштабе и опровергнута, если перейти к другому масштабу. Но миф не может быть проверен экспериментально.

Поэмы Гесиода

Для Гесиода речь идет о программе проверки достоверности, тогда как мы имеем дело лишь с искусством рассказа. Я уверен, что Гесиод свято верит в то, о чем говорит. В любом случае, у меня нет никаких оснований подвергать сомнению сказанное им. Когда он говорит, он поступает в соответствии с традицией (антропология в данном случае берет надо мной верх), существующей со времен Гомера. Он не претендует на то, чтобы Музы сообщали ему правду, но уверен, что они говорят ему правду, когда им хочется. Таким образом, остается вероятность, что иногда они лгут. Такова сущность прорицателя, раскрывающего нам невидимые структуры мирового устройства. Но эти структуры присутствуют всегда, видим мы их или нет. «Мифическое» прошлое никуда не исчезает. Гайя, то есть Земля, Уран (Небо) и все прочие существуют всегда, но они невидимы для человека. Поэтому в греческой мифологии нет начала в историческом смысле, временнóго начала с точными датами. То же самое мы имеем и с расами: существовала последовательность человеческих рас, большинство из которых исчезло, но осталось в виде «даймонов», то есть стражей, невидимых демонов, охраняющих людей. Таким образом, это древнее прошлое, «мифическое» прошлое, как мы называем его сейчас, всегда сохраняется у греков.

Близость современности к античности

Прошло две тысячи лет. Но существует удивительная близость! Подлинная дистанция между античностью и нашим временем была установлена христианством, когда религия стала доминировать над интеллектуальной и общественной жизнью, чего ранее не существовало. Постарайтесь осознать тот факт, что пришлось дожидаться 1905 года, чтобы отделить во Франции церковь от государства. Мы только сейчас начинаем задумываться над нашими проблемами, освобожденными от религиозной сути, тогда как для греков это было совершенно естественной процедурой.

Греки были прекрасными гражданами, религиозными, набожными, но, по сути, не верили ни во что. Конечно, они верили в эти истории с богами и героями и приносили жертвы Гере и Зевсу во время свадьбы, но интеллектуально они были свободны от любого верования, от любой догмы. Они мыслили свободно. Поскольку у них не было догм, у них отсутствовало и понятие ереси.

У греков имелись все возможности для дискуссии — спорить можно было обо всем, без каких-либо опасений. Отсюда невероятный расцвет философии начиная с V века, отсюда появление многочисленных школ:

Академия Платона, Лицей Аристотеля, софисты, эпикурейцы, стоики, скептики… Как только появляется догма, свободная мысль заканчивается.

В то время были четко оговорены взаимоотношения между людьми и богами. Возьмите миф об Ипполите и Артемиде или его переработку в пьесе Эврипида: Ипполит любит богиню Артемиду, и она близка к нему, но в момент смерти Ипполита Артемида оставляет его, объясняя свой поступок тем, что боги не могут пачкаться человеческой смертью. Говоря иначе, люди любят богов, поскольку им свойственно любить то, чего у них нет, но боги существуют не для того, чтобы любить людей. Боги у греков не находятся вне мира, как это полагала позднее христианская религия, но присутствуют в нем. Они не создали мир, а были созданы им. В то же время, в христианстве человек — ничто перед богом, находящимся вне мира, выше всего, что было им создано.

Смерть

Я понимаю разумом, что именно смерть определяет значение жизни. Смерть — это смысл жизни. Вспомните историю Тифона. Эос, или Аврора, влюбилась в этого удивительно прекрасного смертного. Она попросила Зевса сделать его бессмертным. Зевс согласился и наградил Тифона бессмертием, предназначенным для богов. Но неосторожная Эос забыла попросить для своего возлюбленного дара не стареть. В результате Тифон не умер, но высох до такой степени, что стал жалкой иссохшейся развалиной, а потом превратился в цикаду… Следовательно, греки понимали, что смерть необходима для того, чтобы придать значение жизни. Значение становится еще больше потому, что значение — вещь хрупкая, и это тот случай, когда хрупкость увеличивает цену. Если произведение искусства создано на вечность, оно не имеет никакой цены. Цена появляется только в случае, если оно может погибнуть. Каков смысл жизни? Этому меня научили греки. Мы — это существа с ограниченным сроком жизни. Для чего мы живем? Для пустяков. Каков смысл всего этого? Его нет. Но именно потому, что у жизни нет заранее определенного смысла, мы можем придать ей смысл. Жизнь не имеет другого смысла кроме того, который пытаются придать ей люди. Не существует судьбы человечества; только мы определяем смысл, который будет иметь наша жизнь. А для греков именно смерть определяла смысл существования. В этом отношении я тоже являюсь греком. Остается разница только в том, что для меня смерть является великим событием. Событием, тем более великим, поскольку человеческие существа хрупки и недолговечны.

Христианская религия привела к тому, что появилось представление, согласно которому каждый обладает индивидуальной душой и эта душа бессмертна; если такое представление и может быть обосновано теоретически, то с возрождением тел трудно согласиться. Я был бы рад верить в это, но… что такое душа, которая не будет инкарнирована в тело? Нет, смерть остается в моем представлении абсолютным концом: каким образом то, что существует в специфической форме, может исчезнуть окончательно? Это ужасно!

Атеизм

Когда мне было лет 14—15, я переживал период, описанный Толстым. Я постоянно твердил: «Господи, Господи, Господи…» Просто потому, что я читал Толстого и был увлечен мощью его слова. Вот каким образом рожда-

ется чувство зависимости от Бога: благодаря самовнушению. Но я быстро опомнился и стал атеистом. Членом Международной ассоциации атеистов-революционеров! Сегодня я не совсем атеист. Я рассматриваю атеизм как изнанку религии. Греки научили меня тому, что существуют разные формы религиозности, что религиозный человек ограничен. Я остаюсь старым рационалистом: пытаюсь задавать вопросы Вселенной. Вопросы значат для меня больше, чем ответы, а религия всегда старалась дать как можно больше ответов… Которые на деле совсем не являются ответами. Аргументы в защиту существования Бога в своем пределе доходят до немыслимого. Если Бог существует, он существует обязательно потому, что его сущность предполагает его существование. Но сущность человека (моя, ваша) никак не предполагает его существование. Наоборот, оно является проблематичным. Оно является тайной. И эта тайна доказывает одно: мы все — должники по отношению к тем, кто нас породил, должники в интеллектуальном смысле, как и по отношению к этому мерзкому и удивительному миру, в котором мы живем.

Переводы с французского
Игоря НАЙДЕНКОВА.



ШАРЛЬ БОДЛЕР

Стихи

Ассоциации (символы, знаки)

Природа — храм, где прихожанин — каждый.
Здесь много вольных слышится словес.
Но человек, томим духовной жаждой,
Бредет сквозь потаенных знаков лес.

Там отзвуки сольются воедино,
Безбрежные, как мрак и вечный свет,
В туманных и таинственных глубинах.
Их запах, и звучание, и цвет.

Свежи, как плоть невинного ребенка,
Нежнее, чем гобоя тихий звук,
Изящнее сплетений кружев тонких
И зеленее, чем цветущий луг.

И хоть иные есть — венец растленья —
Да славятся сандал и фимиам!
Мы воспеваем их с благоговеньем,
Дав волю своим чувствам и словам.

Балкон

О, мать моих воспоминаний!
Возлюбленная госпожа!
Моя отрада и мое страданье!
О, вспомни прелесть ласк, моя душа,
Тепло камина, ночи обаянье,
Возлюбленная госпожа!

Пылали угли. Догорал закат.
Балкон окутали роз испаренья.
И твои недра — словно райский сад.
Мы часто говорили о нетленном.
Пылали угли. Догорал закат.

Светила утомленного напевы.
Царило сердце. Был бездонным мир.
Склонившись пред тобою, королева,
Вдыхал я древней крови эликсир,
А солнце утомленное алело.

Густела ночь меж нами, как преграда.
В кромешной тьме ищу твои зрачки.
Твоим дыханием упьюсь, как нежным ядом,
Твои ступни в ладони так легки…
Густела ночь меж нами, как преграда.

Искусство воскрешать минуты счастья…
Прильнув к твоим коленям, вспомню я
Изгибы тела, упоенье страсти
И томность неизбывная твоя
Напомнит сердцу о минутах счастья.

Обеты, бесконечные лобзанья
Из подзапретных вновь встают глубин,
Как солнца обновленного сиянье,
Омытого на дне морских пучин.
О, эти бесконечные лобзанья…

Бездна

О, бездна зыбкая! Паскаль тобою жил.
Увы! Ты есть во всем — в мечтах, в поступках.
Твой ветер леденящий часто выл,
Волос касаясь дуновеньем жутким.

Вверху, внизу — повсюду глубина.
Пространство и пленительно, и страшно.
Песчаный берег. Ночь и тишина.
Рисует Бог кошмар многообразный.

Я сна боюсь. Огромная нора.
И смутное отчаянье все ближе.
Куда ведет ужасная дыра?
Во всех я окнах бесконечность вижу.

И часто кружится в смятенье голова.
К тому, что кануло в небытие, завистлив,
Хочу забыть и чувства, и слова.
Уходят в вечность Существа и Числа.

Человек и море

Свободный человек! Ты вечно любишь море.
То зеркало твое, твоя душа,
Раскрывшаяся в голубом просторе,
Где время останавливает шаг.

Подобен бездне разум человечий,
Непознанному миру глубины.
Страданья в нем и горечи не меньше,
Чем посреди необоримой тьмы.

Как сладко погрузиться в отраженье,
Его в свои объятья заключить!
Страданья заглушает волн кипенье,
Стон моря раны сердца исцелит.

Вы оба мрачны, и таинственны, и беспощадны:
Никто не измерил вовеки глубин человека,
И не изведаны моря богатства и клады:
От суетных глаз вы ревниво храните секреты.

И между тем вот уж целую вечность
Вы бьетесь жестоко, свирепо, со страстью:
И смерть, и резня вам настолько любезны,
Соперники вечные и непримиримые братья.

* * *

Что этим вечером душа расскажет
Покинутая, бедная моя,
Что сердце мое трепетное скажет,
Печали застарелой не тая,

О той, которой краше в мире нету,
Кого милей и лучше не нашел,
Кто, словно луч божественного света,
И от которой взгляд опять расцвел?

— Мы с гордостью ее красу воспели!
Во славе величается стократ
Исполненное благодати тело
И ангелов сладчайший аромат.

Нет ничего желанней ее власти.
Оковы нежности преодолеть нельзя.
В прозрачное нас одевают платье
Ее непобедимые глаза.

Да сбудется в ночи, в уединенье
Да сбудется средь множества людей
Виденье: в воздухе она, бесплотней тени
И факела горящего светлей.

«Я Муза, Грация, я Ангел ваш хранитель, —
Она вещает, как прекрасный сфинкс, —
Ради меня лишь красоту любите
И не ищите идолов иных».

Сосредоточение

Утихни, моя Боль, и будь мудрее.
Ждала ты вечера: вот он уже идет.
Над городом тяжелый мрак густеет.
И мир несет он, и тоску забот.

И скоро много подлецов презренных
От угрызений совести падут.
На рабском празднике властитель — Наслажденье.
Палач безжалостный занес жестокий кнут.

О, Боль моя, раскрой свои объятья!
В края далекие давай с тобой уйдем!
Балкон Небес. И ты в старинном платье.
Поклонимся минувшему вдвоем.

Пролет моста. Там солнце умирает.
И саваном окутан небосвод.
С улыбкой горькою послушай, дорогая:
Ночные тени ускоряют ход.

Рассвет души

Когда встает рассвет, и белый, и румяный,
Над обществом, где идеал — порок,
Средь похоти, растленья и дурмана
Взор ангела печален и жесток.

Лазурь Небес нас, грешных, отвергает.
Для страждущих открыта глубь земли.
Как сладостная бездна, поглощает
Богиня утешенья и любви.

Я вспомню о тебе средь чада оргий.
Как сладко погрузиться в забытье!
В зрачках моих, огромных от восторга,
Трепещет отражение твое.

Пылают свечи. Солнце почернело:
Твой призрак мимолетный победил,
Алее розы, чище лилий белых
И ярче, чем сияние светил.

Погребение

Если однажды ночью мрачной, душной
Вас похоронит добрый христианин,
Прославленную плоть великодушно
На свалке погребет среди руин,

Когда звезда, невинностью сияя,
Откроет очи на короткий миг,

Паук развесит сети, просыпаясь,
Гадюка выведет детенышей своих,

Выслушивать вам круглый год придется:
Над вашей окаянной головой
Крик волка безысходный раздается
И стоны похотливых стариков.

Голодные колдуньи вас разбудят;
Как паутину, заговор сплетут
Растленные, отверженные люди:
Отпетый жулик и прожженный плут.

Песня осени

1

Мы погружаемся в промозглый холод.
Расстаться с летом теплым нам пора.
Я упаду, словно тяжелый молот,
Иль дерево на валуны двора.

И в жизнь мою кошмар зимы вернется
С ознобом, злом и каторгой труда.
И, как в своем аду морозном солнце,
Застынет сердце красной глыбой льда.

Я слушаю: беззвучный голос страшен.
Не слышно стука. Эшафот готов.
Моя душа подобна ветхой башне,
Что рушится под натиском врагов.

Мне кажется средь монотонной ночи,
Что наспех гвозди забивают в гроб.
Минуло лето. На пороге осень.
Прощальный гул средь потаенных троп.

2

Продолговатых глаз зеленоватый свет
Любимых, нежных, стал сегодня грустным…
Над морем торжествующий рассвет
Дороже мне, чем все земные чувства.

Любовь, уют, пылающий очаг
Мне не заменят волн бегущих моря,
Поющих в желтых ласковых лучах
На солнечном сияющем просторе.

О, сердце кроткое! Люби меня, как мать,
Хоть пред тобой во многом виноват я.
Возлюбленной или сестрой назвать
Хочу тебя под крыльями заката.

Мгновения бегут. Могила алчет.
К твоим коленям припадаю лбом.
Ловите миг и обретайте счастье
В осеннем увяданье золотом!

Слепые

Душа моя, воззри: они пугают,
Как манекены жуткие впотьмах.
Палимые огнем, не постигают,
Что их удел — пронзительная тьма.

Из их очей исчезла искра Бога,
Но к небесам воздет их взор пустой.
Они не видят пред собой дороги,
Задумчиво поникнув головой.

Они идут сквозь безграничность ночи.
Им брат — вселенской тишины покров.
О, город! Ты смеешься и грохочешь,
Поешь вокруг нас на сотни голосов.

Ты в наслаждения влюблен до изуверства.
Смотри: и я в убожестве влачусь.
«Зачем слепые созерцают небо?» —
Спросить тебя в беспамятстве хочу.

Перевод с французского
Натальи ИВАНОВОЙ.

АЛЕСЬ МАРТИНОВИЧ

Цветок, над которым не властно время

Есть песни, присутствие которых в нашей жизни очень ощутимое, подчас даже кажется, что существовали они всегда. Сколько помнишь себя, ее мелодия живет в твоей душе. Был мальчишкой — она звучала. Подрос — еще свободнее расправила свои крылья. Начал чувствовать за спиной тяжесть прожитых лет — она не стареет. Да и как она может состариться, когда вся наполнена светом, над которым не властно время. Среди таких песен и «Люблю наш край...», которую можно услышать и на торжественных мероприятиях, и во время праздничных концертов, да и просто в компании. К сожалению, не многие из тех, кто давно полюбил это произведение, знают, что автором песни является поэтесса Констанция Буйло.

Справочникам доверяй, но проверяй

Энциклопедические справочники утверждают, что Констанция Буйло родилась 14 января 1893 года в Вильно. Но это тот редкий случай, когда им доверять нельзя, ибо они, мягко говоря, врут. Нет, Констанция Антоновна действительно впервые увидела свет именно в этот день, но произошло это вовсе не в Вильно. А вот где — сегодня сказать тяжело. Те же справочники до недавнего времени утверждали, что на Ошмянщине, в деревне Барсуковина. Действительно, маленькой Констанции довелось жить в этой деревне вместе с родителями, но было это чуть позже, когда она подошла к тому возрасту, в котором память уже могла сохранить первые детские впечатления, а они как раз и связаны с Барсуковиной. Родилась же она, скорее всего — в Молодечно. А Вильно «всплыло» потому, что в этом городе ее крестили.

Да и отец будущей поэтессы, Антон Александрович, какое-то время жил в Вильно, работал там конюхом у князя Гагарина, а с 1895 года был объездчиком, поэтому семье часто приходилось переезжать с места на место. Но где бы они ни оказывались, это были как на подбор красочные, неповторимые в своей прелести места. Впечатления от общения с природой она пронесла через всю жизнь.

Вспоминала: «Вось адзін з першых, яшчэ не вельмі выразных успамінаў. Шырока льецца вада ля парога дома і праз парог. Дрэвы ў вадзе. На ўзгорках каля дрэў туляцца сарны, іх шмат. Алені бегаюць па вадзе, іх толькі два. Бацькі выносяць усе рэчы на другі паверх вялізнага, старога палаца, дзе на гарышчы гучна крычалі совы і пішчалі, нячутна лятаючы, кажаны. Гэта паводка на Іслачы ў Звярынцы, дзе працаваў мой бацька аб’ездчыкам у графа Тышкевіча. Тады я была зусім малая».

С ранних лет открыла для себя и неповторимую прелесть леса: «Другі, больш выразны ўспамін — гэта сасновы бор, які пачынаўся адразу за нашым домам. Маці пагнала карову да статка, а я пабегла за ёй. Яшчэ не ўзыходзіла сонца, і мне было трошкі страшна бегчы ў лес. Абапал стаялі дрэвы. Злева цягнулася балота, там раслі дрэвы дробныя і было шмат моху, на якім рассцілаўся журавіннік — дробненькія лісточкі на тоненькіх, як нітачкі, галінках. Справа стаялі высокія

чырванастволыя сосны з шырокімі густа-зялёнымі вяршынямі. Я аслупянела, зачараваная цудоўным відовішчам, на вяршынях усімі колерамі вясёлкі загарэлая густая раса».

А это еще одно место, где жила семья: «Сугвазды — маленькі домік ля садка з разваленым плотам і каламутнай сажалкай з карасямі. У садку раслі яблыні, грушы, слівы. Было вельмі цікава раніцой па халоднай расе выбегчы босай у сад падбіраць падалкі, збіраць сыраежкі, якіх так было шмат».

Во всем этом — поэзия. Природы, повседневности, самой жизни. Картины ее западали в душу любознательной девочки, чтобы тогда, когда появится желание писать, подсказать темы стихотворений. Впечатления детства будут оставаться живительным источником творчества в течение всей ее жизни. Родятся новые стихотворения, в том числе и «Ружы» — как воспоминание о годах, когда отец служил в поместье графа Бутянова-Хрептовича. В этом произведении — не только радость от общения с природой, от ее красоты, но и горечь:

Што убачыш, калі прад табой частакол —
Толькі нос у шчылінку пралазіць!

Ты малая зусім. І прыгожы той сад
Цябе вабіць, у снах табе сніцца:
Ружаў белых, чырвоных і жоўтых там шмат,
Водар іх навакола бруіцца...
Не для нас тыя ружы ў садзе раслі...

Книга — хорошо, «Наша ніва» — лучше

Манили Кастусю — так ее звали домашние, лучшая же подруга Владислава Станкевич, которая, как известно, позже вышла замуж за Янку Купалу, иначе как Косточка и не называла, — однако, не только розы. Она росла девчонкой любознательной и впечатлительной. И талантом не обделенной. А что душу имела поэтическую, так это, по-видимому, передалось от матери. У Анастасии Францевны был чудесный голос. Когда она пела в костеле, послушать ее люди приезжали издалека. Дома же создала семейный хор. Певцами в нем были все: сама хозяйка, Антон Александрович, дети Стася, Эдик, Инна, Витя. Не обходилось и без Кастуси, которая старалась не отставать от других. И к науке охоту имела. Уже в шестилетнем возрасте умела читать, что для того времени было редкостью для деревенских детей. Ее братья и сестры также любили книгу.

Любил книгу и отец Констанции — Антон Буйло, собрал приличную домашнюю библиотечку. На полках всегда стояли книги известных русских писателей, а также «Дудка беларуская» Мацея Бурачка. Любил сам перечитывать да и детям советовал прочитать поэму «Тарас на Парнасе». Если каких-либо книг под рукой не оказывалось, брал их у знакомых, когда по делам наведывался в другие поместья или попадал в город. В Вильно заказывал и детскую литературу. Поэтому Констанция рано познакомилась с творчеством Адама Мицкевича, Тараса Шевченко, Михаила Лермонтова и других писателей.

Однажды отец пришел домой не только с книгами, но и с газетой. Поспешил поделиться своей радостью:

— Смотрите, детки, наша...

— Наша? — послышалось несколько удивленных голосов. — Почему наша?

— А потому, что мужицким языком писана, — пояснил отец. — Да и называется она «Наша ніва».

Газета пошла по рукам. Каждому хотелось с ней познакомиться первому. Наконец, сошлись на том, что лучше организовать коллективную читку. Газета поразила Констанцию. Особено ей понравились стихи Янки Купалы и Якуба Коласа.

Сестра пишет, брат печатает

Через некоторое время ей и самой захотелось что-нибудь написать. Так и появилось первое ее бесхитростное стихотворение, которое называлось «Лес». После него написала еще несколько стихов.

Было это в 1909 году. Брат Эдуард предложил послать эти произведения в «Нашу ніву», но Констанция почему-то испугалась и, как ни уговаривал ее брат, отказалась. Тогда Эдуард сказал, что пошлет стихи сам. Она согласилась с таким предложением. Однако возник вопрос, кого в таком случае считать автором. «Подписывай своим именем», — предложила Констанция. Своим, так своим…

С нетерпением ожидали результат. Не верилось, что из этой затеи что-нибудь получится. Но когда пришла «Наша ніва» за 27 февраля 1909 года, на одной из ее страниц увидели стихотворение «Хвоя», под которым значилось: «Э. Буйло. Андравонж, Ашм. п.». От радости перечитали его несколько раз:

Стаіць хвоя ў полі,
Думае панура:
Што тады з ёй будзе,
Як спануе бура?

Як даждліва хмары
Паплывуць па небе,
Як застогне вецер,
Веткі пацярэбе.

Ох, тады не мала
Пагубляў сілаў,
Не раз сведкай будзе
Не адной магілы!

Адно мае веру,
Што заблісне сонца,
Лёгка ў сваім краю
Будзе жыць сасонцы!

В том же 1909 году были опубликованы стихотворения «Салавейка», «Хаўтуры», «Звон», в следующем, 1910-м — «На чужыне»... Но по-прежнему в качестве автора указывался Э. Буйло. Однако уже автором стихотворения «Лес», помещенного в «Першым беларускім каляндары «Нашай нівы» за 1910 год, значится как подпись К. Буйло. Как и под произведениями «Вясной», «Мне сніўся сон», «Дзяўчына», «У бяссонную ноч», «Курган», что также были напечатаны в «Нашай ніве» в 1910 году.

Констанция Буйло наконец поняла, что игра в прятки дальше продолжаться не может. Правда, скромность Констанции Антоновны во время ее творческой молодости на длительное время ввела в заблуждение исследователей белорусской литературы. Они были уверены, что и в самом деле был такой поэт — Э. Буйло, который погиб в Первую мировую войну под Ригой. По крайней мере, такое объяснение появилось в связи с публикацией в антологии «Беларуская дакастрычніцкая паэзія» стихотворений «Хвоя» и «Скора зіма».

Заприметил Янка Купала

И произведения под фамилией Э. Буйло, и стихотворения, под которыми значится ее имя, хотя и не имеют каких-то особых художественных открытий, тем не менее, уже свидетельствуют о задатке таланта. Одним из первых увидел это Янка Купала, который, не будучи еще лично знаком с Констанцией Антоновной, посвятил ей стихотворение «Мая думка». Оно было напечатано в «Нашай ніве»

2 сентября 1910 года, где значилось «Ахвярую Канстанцыі Буйло» с пометой «Петербург, 19.VIII 1910». Начиналось произведение такими строфами:

Як вецер, як птушка, дзе сонца, дзе зоры,
Так рвецца, нясецца ў даль думкая мая;
Абоймецца з небам, пакоціцца ў мора,
У вялікае мора людского жыцця.

І ўдарыцца ў сэрца так сумна, балесна,
Як лісцем віхура, такім скалыне,
Так ім закалоціць, аж выклікне песню...
Ўжо з песняй ляціць зноў да зор к вышыне...

Стихотворение в ответ она напишет только через три года — в 1913-м, когда познакомится с Иваном Доминиковичем, и назовет это произведение «Звон», обозначив после заглавия «Янку Купалу»:

Ён плыў над палямі з жытнёваю хваляй,
Праносіўся ў далі, ляцеў,
То рэхам над лесам, а то калыхаўся
І мякка і плаўна гудзеў.

Гудзеў над лугамі, ляцеў над палямі,
Над нівай, над сёламі плыў,
А гукі яго дзіўнай нотай дрыжалі
То як бы ў задуме, то як бы ў жалю,
І чуўся ў ім гулкі прызыў...

Ён зваў да жыцця і да лепшае долі
Усіх, хто сном каменным спаў;
І сну ледзянога апалі аковы,
І ўстаў народ цэлы, і ўстаў як бы новы,
Да бою за волю устаў.

Позже Буйло в своих стихах не однажды будет обращаться к поэту, с которым подружится. Не в последнюю очередь, безусловно, потому, что постоянно будет поддерживать связь с Владиславой Станкевич. Но на эту дружбу повлияет и то, что после первого же знакомства с Купалой она почувствует его большую притягательную силу, а он, в свою очередь, будет относиться к ней как к человеку, духовно близкому ему.

Уважительно, но требовательно

Первая встреча ее с Иваном Доминиковичем произошла в 1910 году, когда Буйло оказалась в Вильно. Еще до того, как начала заниматься на учительских курсах, работающих в этом городе. Но это будет позже, а тогда она просто пришла к Станкевич и уговорила ее посетить редакцию «Нашай нівы». Однако, даже если бы и не уговорила, все равно поспешила бы туда — как это быть в Вильно и не побывать в «Нашай ніве». Тем более, что недавно в газете было помещено то самое стихотворение Купалы «Мая думка», посвященное ей.

И вот желанный дом, где размещалась редакция. Волнение, хорошо знакомое каждому автору, который неожиданно попадает в атмосферу, ощутить которую мечтал давно. Однако волнение это было напрасным: «Вельмі ветліва сустрэлі мяне там Янка Купала, Цётка, Бядуля, Цішка Гартны. Спатканне было надзвычай цёплым і сардэчным». Разумеется, особенно ее интересовал Купала. Однако он сначала не высказал особенного интереса к неожиданным посетительницам. Хотя, скорее всего, не подал вида. И только после того, как все присутствующие в комнате, в том числе Буйло и Станкевич, посмеялись

над остроумной эпиграммой Максима Богдановича на Купалу, решил лично познакомиться с той, за чьим творчеством следил внимательно и кому посвятил свое стихотворение.

Этот момент она пронесла в своей памяти через всю жизнь, а впечатление от знакомства передала в статье-воспоминании «Вялікая дружба»: «У гэты час нехта ззаду, узяўшы мяне за плечы, павярнуў да сябе. Я падняла вочы на даволі высокага, сталага хлапца з хударлявым тварам і пранiклівымі, глыбокімі сінімі вачыма. Ён уважліва глядзеў на мяне, быццам вывучаючы. «Ты, мусіць, Буйлянка, — сказаў ён, — ну, а я — Купала, дык давай знаёміцца. — І ён пацалаваў мяне. Гэта было так не падобна на ўсё тое, да чаго я прывыкла, але разам з тым, усё было зроблена з такой сардэчнасцю, што я нават не здзівілася».

Возможно, тогда бы и разошлись, успев перебросится несколькими словами, если бы у этого знакомства не было неожиданного продолжения: «Вечарам высветлілася, што ўсе мае знаёмыя паехалі, і мне няма дзе начаваць. Купала прапанаваў мне пераначаваць у рэдакцыі... На другім паверсе, у кабінеце рэдактара, была шырокая, мяккая канапа, вялікі дубовы стол, засланы зялёным сукном». Выбора у Буйло не было, и она согласилась. И не пожалела, ведь получила возможность познакомиться с комедией Купалы «Паўлінка». Сама, правда, предложила ему прочитать другие стихи, но Купала отдал предпочтение именно этому своему произведению. Сначала «доўга чытаў сам, а потым, змарыўшыся, перадаў сшытак мне. «Цяпер прачытай ты крышачку, а я адпачну».

Читала с большим восхищением «і так увайшла ў ролі герояў, што спрабавала нават іграць іх, змяняючы голас і міміку твару. Янка задаволена слухаў. «А ты добра чытаеш». И Буйло высказала восхищение Павлинкой, которая ей очень понравилась. Купала признался, «што ёсць у Вільні дзяўчына, і завуць яе таксама Паўлінка, і з яе ён узяў тып Паўлінкі для сваёй п'есы (имел в виду Павлину Мядёлку — А. М.)».

Когда Констанция Буйло училась на учительских курсах, жила на одной квартире с Владиславой Станкевич, и они часто наведывались в редакцию «Нашай нівы», где встречались с Купалой и другими сотрудниками. Итогом этих встреч стала его любовь к Владке, на которой он женился, и продолжение дружбы с Буйло, в которой, как никто другой, увидел немалые творческие задатки, высоко оценивая ее поэзию. А когда переехал в Петербург, слал письма, в которых сообщал, «як ідуць выдавецкія справы, раіўся па справах выдання і выказваў свае думкі аб вершах, якія яму падабаліся». Хотя это не значило, что принимал все без разбора. Напротив, оставался требовательным, в чем признавался: «Прышлеш сшытак вершаў, пераглядаю іх з цікавасцю, бо сярод звычайных, больш-менш харошых, часам блісне такі сапраўдны алмаз, што прыемна робіцца на душы».

Расцвела «Курганная кветка»

Янка Купала и предложил ей собрать лучшие стихи, чтобы издать книгу. Эта идея, даже своего рода как бы толчок, который позволил сконцентрироваться на том важном, до чего пока не доходили руки, для нее много значил, ведь сама она вряд ли решилась бы на подобный шаг, потому что относилась к своему творчеству критически. Может и чрезмерно, о чем свидетельствует и признание, что прозвучало из ее уст, когда прожила уже семьдесят лет: «Я не зусім верыла гэтым словам (той оценке, которую Купала давал присланным ему стихотворениям — А. М.), адносячы іх да жадання вялікага майстра падтрымаць у маладога аўтара веру ў сябе, каб дапамагчы яму працаваць далей».

Эта чрезмерная самокритичность тем более очевидна, что высоко оценивал ее первые произведения не только Купала. Максим Богданович также возлагал на молодую поэтессу большие надежды. В 1911 году он писал в статье «Глыбы і слаі»: «Канстанцыя Буйло абяцае развіцца ў праўдзівы асабісты талент». Через

два года Богданович подтвердил свои первоначальное мнение: «Гладка, як і раней, пісала Канстанцыя Буйло».

Первая книга Буйло «Курганная кветка» вышла под редакцией Купалы в 1914 году в Виленском издательстве Мартина Кухты. Переплет оформил художник Язеп Дроздович, который на то время также находился еще только в начале своего творческого пути. Однако образ женщины-сфинкса он разместил, по-видимому, не без подсказки Купалы. Полагать так можно на том основании, что Иван Доминикович этот замысел оформления обложки «Курганнай кветкі» так объяснял самой Буйло: «Ты жанчына — і ты сфінкс. Ты пакуль што загадка для іншых, ды, мусіць, і для самой сябе. Пышная шапка вакол галавы сфінкса — гэта твае мары, твае фантазіі».

Правда, само стихотворение «Курганная кветка» в книгу не вошло, хотя было написано в том же 1914 году, но после того, как сборник был уже готов. А жаль, ведь это произведение органически вписалось бы в его содержание, которое в основном связано с воспеванием любви, этой великой силы, способной пробудить человека, изменить, сделать его намного лучше, вселить в него уверенность в то лучшее, что может ждать его впереди. Обязательно нужно ждать, иначе зачем и жить, когда нет веры в лучшее. А «Курганная кветка» — пусть и не про любовь, но стихотворение это все же о всепобеждающей силе жизни, без которой и любви не бывает. А также о том, что добро и внимание способны творить чудеса. Даже цветок, который растет всеми забытый на кургане, при благоприятных условиях может расцвести:

А ты ... ціха, асцярожна
Палі кветку ў смерці садзе...
Акрапі жывой вадою
Веры ў шчасце і надзеі,
І другою мо красою
Сэрца-кветка зарунее, —
І мо кіне на бур'яне
Да зямелькі прыпадаці,
Слёзы-росы праліваці,
На магіле, на кургане.

Надо стремиться, чтобы этот цветок не зачах. Тогда, может, «яна ўзнімецца ўгору // і засвеціць бляскам зораў // На палёў прасцяг шырокі...» Иначе и нельзя:

Бо не плачкай ёй радзіцца,
Ценем смерці не ўзрастаці,
А жывой красою ірдзіцца,
К сонцу, к шчасцю заклікаці.

Так родилась «Дзявочая паэзія»

Открывается книга программным стихотворением «То не песня...», ведь в нем Буйло, как и другие поэты, которые входили в литературу на волне национального возрождения, вызванного русской революцией 1905 года, призывала родной народ к борьбе за лучшее будущее, не отделяя его от своей:

То не песня мая так далёка ляціць,
Як хаўтурны той звон, гэтак шумна гудзіць, —
  То не песня мая —
  Не пяю гэтак я...
Гэта вырваўся енк з набалелай душы
І расплыўся кудысь сярод шумнай цішы...

Некоторые другие стихотворения — тот же «Звон», посвященный Купале, «Хаўтурны звон», «Курган» (очевидно наследование от Купалы, как и в фантастической зарисовке «Кветка папараці»; вошла в книгу и драма «Сягонняшнія і даўнейшыя»), «На могілках» — также как бы выпадают из главной концепции

сборника, но, читая их, убеждаешься, что Буйло по своему таланту прежде всего лирик. Как точно подметил Олег Лойко, «ёю менавіта пачата ў роднай літаратуры так званая дзявочая паэзія».

Особенность таланта Констанции Антоновны первым отметил Антон Навина (Луцкевич) в своей книге «Нашы песняры», которая вышла в 1918 году. Здесь он сопоставил творчество Буйло и Теткі: «Цётка — уся адзін парыў у высь, да вялікіх ідэалаў. Яна б'ецца са злыбедамі жыцця, надрываючы свае сілы, яна змагаецца з нядоляй і няволяй свайго роду, а шчасце асабістае — гэта толькі ціхае, таемнае жаданне збалелай душы. Буйло — маладая, поўная сіл і ахвоты да жыцця дзяўчына з гарачым сэрцам і чыстай душой, маючы 18—20 гадоў. І не дзіва, што на першым месцы ў яе стаіць асабістае шчасце, што ў яе вершах чуюцца гарачыя словы кахання, што яна жджэ той любові, якую бачаць толькі ў марах-снах, якую душа яе прадчувае».

Канстанцыя Буйло призналась в зрелые годы: «Я пісала вершы пра каханне, калі яшчэ не была перапоўнена ім». Тем не менее, произведения о любви: «Помніш вечар?..», «Чаму?..», «Не магу...», «Не глядзі...», «Адна», «Мне сніўся сон» и другие очень правдивы, лирическая героиня их предстает человеком, созданным для высокого чувства, который знает цену настоящей любви.

Особо выделяется стихотворение «Адна», в котором звучит тоска по потерянной любви: «Адна, ізноў адна, як колас той у полі // Не сцяты ў час жніва нагостраным сярпом, // Зламаны ветрамі гулячымі на волі // Між апусцелых ніў, палосканых дажджом». А вслед за этой тоской появляются и отчаяние, неверие, когда кажется, что одиночество неслучайно.

І сумна, сумна мне. Дзе ж той, каго любіла?
Дзе ж тыя, што мяне любілі так даўней?!.
Адны забыліся, другіх узяла магіла...
І жаль мне прошлых мар, шчаслівых шкода дней.

«Люблю наш край...»

Поэтическим шедевром, конечно же, стало стихотворение «Люблю», написанное Буйло в двадцатилетнем возрасте. Казалось бы, простое название. Вроде бы и в содержании ничего особенного. Только эта простота обманчивая, ведь поэтесса смогла сказать очень много, признавшись в любви к своему народу Беларуси так, что читателя наполняет чувство эмоционального подъема, умиления, любви ко всему родному:

Люблю наш край — старонку гэту,
Дзе я радзілася, расла,
Дзе першы раз спазнала шчасце,
Слязу нядолі праліла.

....

Усё ў гэтым краі сэрцу міла,
Бо я люблю край родны мой,
Дзе з першым шчасцем я спаткалась
І з гора першаю слязой.

И подумать поэтесса, наверное, не могла, что у стихотворения «Люблю» будет столь счастливая судьба. Оно приобрело такую популярность, что вскоре стало народной песней. Ее пели повсюду, часто даже не догадываясь, кто автор слов. Также немногие знают, что произведение положено на музыку профессиональным композитором. Что и не удивительно, ведь Микола Ровенский после разгрома немецко-фашистских захватчиков очутился в эмиграции.

Случилось так, что и Констанция Антоновна большую часть своей жизни провела за пределами Беларуси, живя сначала в Подмосковье, а потом в Москве. Конечно, тогда это была единая большая страна. Буйло привыкла к столице, где ей многое было дорого и близко. На предложения белорусского правительства и Союза писателей БССР переехать в Минск отвечала отказом. В общении с белорусскими писателями и журналистами, которые наведывались к ней (тогдашний заместитель главного редактора газеты «Голас Радзімы» Диана Черкасова даже написала о ней книгу «Люблю»), была жизнерадостной, бодрой и никто не догадывался, что у нее на душе. А на душе была боль, которая с годами не слабела.

Годы испытаний

Поработав после окончания курсов в Вильно учительницей на Лидчине, Буйло заведовала книжным магазином в Полоцке. Это ей порекомендовал Купала. Когда началась Первая мировая война, и появилась угроза немецкой оккупации, оставила Беларусь. Возможно, и не решилась бы на такой шаг, но Констанция уже была замужем. Муж и настоял на переезде.

Оказались в Подмосковье, в Волоколамском уезде. Виталий Калечиц работал главным агрономом, потом возглавил первый в стране полеводческий совхоз, а она — бухгалтером. 11 февраля 1917 года у них родился сын, которого назвали Женя. Однако это событие вскоре было омрачено. Отец Констанции Буйло, узнав о появлении внука, захотел его повидать и поспешил к дочке и зятю. Но в дороге заболел воспалением легких. К сожалению, врачам спасти его не удалось.

В Москве Констанция Антоновна, теперь уже Калечиц, с семьей окончательно обжилась в декабре 1925 года. Перед этим в мае 1923 года ее муж стал заведующим павильона Средней России на сельскохозяйственной выставке, которая тогда только что открылась. Семье выделили небольшую комнатку в двухэтажном деревянном доме. Выставка, правда, работала только год. После закрытия ее мужу, Виталию Адольфовичу, довелось неоднократно менять место работы. Она же стала домохозяйкой.

С получением трехкомнатной квартиры по Тихвинскому переулку, 11, проблем в семье поубавилось, а в 1928 году Констанция Антоновна, наконец, смогла устроиться на работу — ее взяли монтажницей в цех лабораторного оснащения завода «Агроном». Творческой эту работу, безусловно, никак нельзя назвать, но приходилось довольствоваться и этим. Давно тосковала дома без работы, да и заработков мужа не хватало, чтобы прокормить семью. На литературные же гонорары рассчитывать не приходилось: стихотворений почти не писала. Сначала это было связано с закрытием «Нашай нівы», с которой сотрудничала с большим удовольствием. В другие же издания произведения предлагала редко. Помимо того началась творческая депрессия. Явление нередкое в литературном мире, когда после первой книги авторы (и не только поэты) замолкают надолго, а то и совсем неспособны создать что-то новое. А еще через некоторое время стало совсем не до творчества.

В начале 1933 года арестовали мужа, обвинив в том, что он вроде стал последователем учения А. Чаянова, которого считали «врагом народа». Мужа больше она не видела. Последнее воспоминание о нем то, как Виталий Адольфович вывернул карманы и положил на стол три рубля. Отдал все, что у него было. Понимал, как тяжело будет ей и сыну. А она и в самом деле осталась с пятнадцатилетним сыном без средств к существованию, ведь вскоре после ареста мужа была уволена с работы.

Когда в доме не осталось ни корки хлеба, в отчаянии решилась на шаг, который мог стоить ей жизни или, в лучшем случае, ареста. Но тогда было не до раздумий. Попала на прием к следователю ГПУ и в отчаяньи заявила:

— После ареста мужа меня уволили с работы. Как же мы можем с сыном прожить?!

Тот не успел и слово промолвить в ответ, как она добавила еще более решительно:

— Тогда и нас арестовывайте, все равно умрем от голода!

На одном дыхании выпалила и испугалась.

Со стороны следователя ждала любой реакции, к самому страшному была готова, но то, что произошло, иначе, как чудом и не назовешь.

Следователь позвонил на завод и приказал восстановить ее на работе. Честным человеком оказался. А поскольку он звонил не только от своего имени, но и от имени ГПУ, на заводе ее не только восстановили на работе, но и назначили вскоре заведующей складом. Потом до выхода на пенсию она работала на базе лабораторного оснащения.

По-прежнему практически не печаталась. Уже не только потому, что мало писала: жене «врага народа» было почти невозможно пробиться на страницы газет и журналов. А если что-то и появлялось из-под пера, так ей и самой не очень нравилось. Чувствовала, что по сравнению с произведениями, опубликованными раньше, в том числе и в «Курганнай кветцы», стихи выглядят значительно слабее. Поэтому, когда готовила для издательства «Мастацкая літаратура» «Выбраныя творы ў двух тамах» (увидели свет в 1981 году), включила только четыре стихотворения, написанные после «Курганнай кветкі» до начала войны. Они датируются следующими годами: «Не кукуй, зязюля!» (1934), «Мяцеліца» и «***Таму мне сумна жыць на свеце» (оба 1937), «Восень» (1936)».

Наиболее соответствует ее тогдашнему настроению стихотворение «***Таму мне сумна жыць на свеце», в котором не прятала боли, однако вместе с тем и верила в лучшее:

Таму мне сумна жыць на свеце,
Што я, не ведаю чаму,
Стаю — як колас у замеці...
Суровы вецер дрэвы гне,
Мароз бязлітасны рагоча...
А я ... заплюшчу шчыльна вочы,
Хай студзіць гора — белы снег...
Я сэрца гору не аддам,
Вясна ўзнімецца над краем!
Сплыве мой боль — як бурна ў маі
Сплывае чорная вада.

Немного стихотворений Буйло, написанных в довоенный период, дошло к читателю еще и потому, что некоторые из них погибли. События разворачивались следующим образом. 28 сентября 1940 года в газете «Літаратура і мастацтва» была помещена статья И. Ляндреса «Забытая паэтэса», автор которого сказал немало хороших слов о творчестве Констанции Антоновны и высказал пожелание Государственному издательству БССР выпустить новую книгу ее стихотворений. Вырезку с этими статьями прислал Констанции Буйло Купала. Иван Доминикович просил как можно скорее собрать лучшие произведения и выслать ему.

Констанция Антоновна вспоминала: «Я адразу прыступіла да гэтай работы. Перапісаўшы шмат вершаў, адаслала іх Купалу. Уладзіслава Францаўна пісала мне, што яна патраціла шмат часу, перадрукоўваючы гэтыя вершы. Але зборніку не давялося ўбачыць свет: ён згарэў у пажары ў Мінску». По-видимому, Купале были посланы не только копии стихотворений, но и оригиналы некоторых из них.

Второе дыхание

Голос Буйло на полную мощь опять зазвучал в годы Великой Отечественной войны. Но это были в основном стихотворения публицистического содержания, что соответствовало тогдашним реалиям. Хотя, если отнестись к ее творчеству объективно, и в начале своей литературной дороги Констанция Антоновна не отказывалась от поэзии пафосной, понимала, что поэт в судьбоносные времена не может оставаться в стороне от жизни общества, более того, его первейшая задача — пробуждать это общество, подсказывать ему правильные пути. Характерно в связи с этим название одного из стихотворений, написанного еще в 1914 году, да и само содержание этого произведения — «Тварыць і кахаць» — характерное. Любить, однако, в самом широком значении этого слова, а не только применительно к близкому человеку. Любить и свое Отечество, родной народ:

Краніся светлай вялікай ідэі...
І з намі жывымі, гэй, гэй, працаваць!
І сіла ўваскрэсне, ўваскрэсне надзея —
Век жыць! Крэпка верыць! Тварыць і кахаць!

Теперь этот призыв согласовался с реалиями дня, когда все честные люди большой страны ждали освобождения ее от немецко-фашистских захватчиков, а миллионы с оружием в руках сражались с ненавистным врагом. В стихотворении «У маёй майстэрні» Буйло определяла задачу поэзии в таком плане:

...Песні, песні-арляняты,
Вам наказ гарачы з сэрца я даю:
Будзьце куляй, бомбай, мінай і гранатай,
І штыком і сілай для байца ў баю!
І павязкай мяккай у байца на ране,
І крыніцай чыстай, як захоча піць,
Ласкай і спакоем, спачываць як стане,
Словам — тым, чым толькі песня можа быць.

И другие стихотворения военных лет засвидетельствовали, что муза Буйло оставила ее только до поры до времени. У поэтессы по сути дела появилось второе дыхание. Ее стихи хорошо приняли писатели, которые тогда были в Москве: кто-то работал в редакциях белорусских изданий, а кто-то попадал в столицу наездом. Констанция Антоновна с готовностью встречалась с ними. После трагической гибели Купалы для нее это также была возможность ощущать себя причастной к литературе.

Очень обрадовалась она, когда Владислава Францевна как-то на улице познакомила ее с Кузьмой Чорным, а тот переспросил: «Канстанцыя Буйлянка? Твае вершы чытаў. Ведаю, люблю». Обрадовало и это «Буйлянка» — после Ивана Доминиковича ее никто больше так не называл. Но в не меньшей степени обрадовало ее и то, что такие авторитетные писатели, как Чорный, интересуются ее творчеством и считают написанное достойным внимания.

А что это действительно так, подтвердил и прием Констанции Буйло в Союз писателей БССР. Собрались в гостинице «Москва». Председательствовал Михась Лыньков, а секретарем этого необычного заседания был Петрусь Бровка. Проголосовали единогласно. Бровка, поздравляя, еще сказал, что она получит продовольственные карточки. Это также было не лишним, ведь приходилось не однажды голодать, а беспокоилась она не столько за себя, сколько за сына — свою самую большую радость и утеху.

И все же жила с оптимизмом

Еще большую заботу и внимание к себе ощутила со стороны Союза писателей после войны. А когда приехала на первый послевоенный съезд белорусских литераторов, по сути дела, впервые узнала, какой большой популярностью поль-

зуется ее стихотворение «Люблю», которое давно стало любимой в народе песней. А убедили в этом ее сами писатели. Янка Брыль, Нина Тарас, Пилип Пестрак, когда она зашла в комнату, дружно запели «Люблю наш край — старонку гэту», а Адам Русак с большим удовольствием аккомпанировал мелодию на скрипке.

Было, однако, и то, что опять, как и до войны, омрачало жизнь. Это боль по погибшему мужу, которая не ослабевала с годами. Не стало ее меньше и тогда, когда вышла замуж во второй раз. Не по себе становилось, когда прямо, а чаще косвенно, намекали, как и о чем лучше писать, чтобы обратить на себя внимание, а она не могла (и не хотела!) «наступать на горло собственной песне».

До войны насчет этого было проще: мало писала — мало печаталась, а мало печаталась — мало обращала на себя внимания. Теперь же писала куда больше, и хотелось больше печататься. Однако редакции принимали далеко не все, а когда и публиковали, так с правками. После этого исчезало всякое желание предлагать что-то новое.

Ее молчание в печати не осталось незамеченным: белорусская эмигрантская пресса стала обвинять советскую власть в том, что она загубила талант Буйло. Подхватили эти мотивы и радиостанции, которые вели свои передачи на Советский Союз и, в частности, на Беларусь. Чтобы не было ненужного шума, официальные идеологи поспешили ошибку исправить и наконец в 1950 году свет увидела вторая книга Констанции Антоновны «Світанак».

Не сказать, чтобы сборник стал явлением в литературе. Но в том, что он не прозвучал надлежащим образом, вина не только самой поэтессы. Не лучшим образом поработала редактура, внося правки, а в итоге, говоря словами самой Буйло, в печать попали «пакалечаныя вершы». Были они и в ее более поздних книгах: «На адноўленай зямлі» (1961), «Май» (1965), «Роднаму краю» (1973), «Вясной» (1984). Были и произведения, в которых самой не всегда удавалось высоко держать планку художественности.

Конечно, последнее — явление обычное: каждому автору что-то удается лучше, что-то — хуже. Но применительно к Буйло не лишним будет сказать, что ей немало попортила нервов и та возня, что велась вокруг ее имени в заграничной прессе. Видимо, никто и подумать не мог, что своим излишним вниманием к поэтессе оказывает ей далеко не лучшую услугу. Из-за этого Буйло постоянно находилась и «на прицеле» у советского партийного руководства, которое в данном случае придерживалось принципа: дыма без огня не бывает. Если часто упоминают ее за границей, значит, дает для этого основания. Доходило до того, что ей приходилось давать ответ на страницах газеты «Голас Радзімы». И появлялись «опровержения» вроде: «І чаго яна клапоціцца пра мяне, тая чужая «Бацькаўшчына», чаму становіцца ў позу абаронцы мяне ад маёй Радзімы, ад роднага мне ўрада і партыі, якія аказалі мне вялікі гонар, узнагародзіўшы мяне Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета, адзначыўшы гэтым да дня майго нараджэння мае вельмі скромныя заслугі перад Радзімай і беларускім народам». Писала (и печатала) чем-то похожие по содержанию и стихотворения.

К счастью, в поэзии жила она не только этим. Правильнее, вопреки этому. Перечитываешь двухтомник и встречаешь немало произведений, написанных в более чем зрелом возрасте, которые, если бы не даты под ними, можно было бы легко отнести к молодой поэтической поре, настолько лирическая героиня молода душой, так открыто жаждет любви, счастья и так доверчива в выявлении своих чувств:

Ты мяне сягоння не будзі,
Хай мне сон прысніцца сіні, сіні...
Плыць хачу ў пругкай мора плыні,
Свежы холад цела каб студзіў —
Каб свяціла сонца так, як летам

У Кактэбелі свяціла нам,
Каб ізноў адчула я ўсё гэта,
Каб гучала ў душы паэта
Ў поўны голас спеўная струна...

Стихотворение писалось, когда за плечами было — даже не верится! — семьдесят четыре года. В этом же возрасте родилось и стихотворение «***Так, бывае, хоць, бадай, не часта». В отличие от предыдущего, оно наполнено рассуждениями о той вечности, которая соткана из мгновений повседневности. Это размышление впечатляет тем, что поэтесса, видя жизнь в ее неразрывной связи, находит возможность по-своему высказать то, к чему не однажды обращались многие авторы. Хочется произведение привести целиком:

Так бывае, хоць, бадай, не часта:
Глянеш навакола светлым зрокам,
І ў вачах устане гай купчасты,
Быццам ён тут, побач, недалёка,
І пагорак узнімецца зялёны,
І дарога ўзгорак той прарэжа...
Быццам след жывы, не запылёны,
На дарозе бачыш — новы, свежы,
І табе да болю трэба ведаць,
Хто ішоў, куды, з якім настроем...
Чым звязаў той след цябе з сабою?
Што чытаеш ты па тому следу?
Што шукаеш? І чаго ты хочаш?
Думка быццам апаляе вочы,
Быццам жарам налівае грудзі...
Побач мы жывём. Жывыя людзі.
А як мала дадзена нам ведаць
Аб усіх — за кім ідзём па следу.

До последнего своего дня (умерла 4 июня 1986 года) Констанция Антоновна жила насыщенно и деятельно. Иначе и не могла, ведь любила жизнь, людей. Любила свой народ и Беларусь. В Беларусь и вернулась в 1989 году. Урна с прахом поэтессы была перезахоронена в деревне Вишнево Воложинского района, где на могиле установлен памятник.

Поэтесса Нина Тарас когда-то на своей книге поэзии «У тапаліную замяць», подаренной старшей подруге, оставила автограф, в котором обыграла две строчки из дореволюционных стихов Буйло:

«Дарагой маёй
Канстанцыі Буйло»

«Палявая кветка» —
«Колас адзінокі»…
Друг ты мой харошы,
Друг ты мой далёкі.
Не завяла кветка —
Колас не зламаўся —
У народзе песняй
Вечнаю застаўся…»

Вечная песня Буйло — это, прежде всего, ее стихотворение «Люблю», но белорусскими композиторами положены на музыку и другие произведения Констанции Антоновны. Да и все лучшие стихи ее звучат, как песенные струны откровенной души, а к такой мелодии нельзя не прислушаться.

Юбилей

РАИСА БОРОВИКОВА

Небо Михаила Пташука



Раиса Боровикова и Михаил Пташук

В этом году, 28 января, ему исполнилось бы семьдесят лет! Для творческого человека, Художника — это еще не возраст. Творчество не имеет возрастных границ, но его судьба распорядилась иначе… Он ушел из жизни: трагически погиб в автомобильной катастрофе в Москве 26 апреля 2002 года. Народный писатель Беларуси Иван Петрович Шамякин писал тогда в своих воспоминаниях о нем: «…Неожиданная, нелепая, трагическая смерть Михаила Николаевича глубоко поразила, ошеломила, огорчила меня. Да разве меня одного! Всех, кто его знал, кто смотрел его фильмы. Смерть каждого человека — утрата для общества. Смерть человека, которому Бог дал талант, — национальная трагедия.» Да, конечно же… национальная трагедия! Из множества фильмов, которые он снял, три по выдающимся произведениям классиков белорусской литературы: «Возьму твою боль» по роману Ивана Шамякина, «Черный замок Ольшанский» по роману Владимира Короткевича и «Знак беды» по повести Василя Быкова.

«Знак беды» Михаил Пташук всегда считал своим лучшим фильмом. Очень трогательно и очень точно о великом белорусском кинорежиссере написала в книге «Михаил Пташук» народная артистка России Нина Русланова, которая в фильме великолепно сыграла Степаниду: «…Пташук — удивительная фамилия, когда не знаешь человека, который ее носит, или уже носил, или будет еще носить. ПТА (ПТАХ) — в древнеегипетской мифологии покровитель искусств, ремесел, создатель всего сущего… Пташук Миша был и создателем и покровителем». Несомненно… Конечно же, и создатель, и покровитель. Но лично для меня Михаил Николаевич Пташук долгие годы был еще и очень близким другом… Я и пишу о нем в основном как о друге.

Ранняя осень 1970 года. Стою на крыльце общежития Литературного института имени М. Горького в Москве, студенткой которого была в то время. Вдруг сзади простодушный, веселый голос: «Ну и откуда же такая в белых джинсах? Случайно не из Белоруссии?» Оборачиваюсь, вижу высокого широкоплечего парня с копной волос цвета переспелой ржи, широкую, очень располагающую к

общению улыбку на лице, и так же весело отвечаю: «Ну в самую точку попал! Из Белоруссии!» Парень тут же необыкновенно оживляется, зеленые глаза заиграли: «Так и я же из Белоруссии! Ты откуда именно?» — «Из Брестской области». — «Так и я же оттуда! Из Ляховичского района! Может, слышала, деревня Федюки там есть?» Про деревню Федюки, к сожалению, я в то время ничего не слышала, но те первые слова нашего знакомства с Мишей Пташуком (тогда слушателем Высших режиссерских курсов при Госкино СССР) стали очень долгим нашим разговором, который продолжался чуть ли не в полжизни, до того трагического апреля 2002 года…

Тогда же, в том далеком семидесятом, но уже где-то ближе к зиме, Миша познакомил меня со своей женой: Лилией Михайловной Пташук — тоненькая, высокая, да еще и с высокой прической. В ней сразу же чувствовался характер, о котором образно можно сказать: крепкий орешек. Человеческая молва творческим натурам нередко приписывает множество романтических увлечений и приключений… По большому счету, Миша всегда был мужчиной одной женщины — своей жены, которую всю жизнь неистово, со всей пташуковской энергией ревновал. У нее была такая же ревность, и это каким-то образом уравновешивало их отношения друг с другом, придавало особенную гармонию их любви. Пташук часто очень трогательно называл Лилю «моя Маруся». Думаю, что это он взял из фильма «Не горюй!» Георгия Данелии (которого считал своим Наставником), где звучала очень нежная песня: «Мыла Марусенька белые ножки…»

Но вернусь к Михаилу Николаевичу как к другу… Есть много удивительных, чудесных моментов в долгой дружбе двух женщин, но их еще больше, когда начинают дружить мужчина и женщина. Да, именно дружить! Уже после трагического ухода Миши, у себя на письменном столе нашла с десяток страниц короткого интервью, которое спешно по телефону брала у него для женского журнала ко Дню Матери: «Меня растили две женщины: мать и бабушка — Мария Семеновна и Елизавета Романовна. Они все время плакали, были в безумной работе… Такое ощущение, что я вырос среди слез. Глаза видели только слезы, а уши слышали только плач!» Возможно, отсюда, с самого начала в нем жило глубокое понимание женского характера, женской души, тем более, что и потом всегда рядом были две прекрасные, родные, самые близкие женщины: Лилия Михайловна и их дочь Лика.

Мне, выросшей с двумя младшими братьями (я была старшей в семье), хотелось видеть в нем того самого покровителя, о котором писала Русланова, иными словами, ведущего по жизни, вроде, как старшего брата. Миша в общем-то и был им…

Когда в конце семидесятых я получила от Союза писателей очень маленькую, но трехкомнатную квартирку, практически в центре Минска, сразу же позвонила Пташуку, дескать, приедь, посмотри, что ты скажешь? Может, подождать что-то лучшее? Миша приехал, посмотрел и набросился на меня: «Ты с ума сошла! Какое лучшее?! Тебе просто повезло! Это же — центр и три комнаты!» Потом он перевозил всю мою библиотеку, посуду, небольшую мебель на своих темно-салатовых жигулях. Это была его первая машина, и он только-только учился водить ее, тогда так и сказал: «Заодно, я еще и поучусь…» Во время того «перевоза» был момент, в котором, возможно, уже тогда был заложен какой-то тайный знак. Мы остановились на красный свет, рядом резко затормозил огромный грузовик, под завязку нагруженный тарой: порожними довольно большими картонными коробками. Как только водитель этого грузовика тормознул, прямо на нас сразу же с него свалилось несколько коробок… Миша тут же отъехал на обочину, посмотреть не повреждена ли машина. Тогда я просто испугалась, сейчас бы сказала: это предупреждение — Мише надо остерегаться автомобиля.

С машиной связан еще один момент, но это уже были восьмидесятые годы. Пташук купил себе новую машину, черную «Волгу» и сам гнал ее прямо из Горького, с завода… Через какое-то время звоню ему: «Ну что, пригнал?» Слышу в ответ: «Да, и уже отдал в ремонт!» «А что случилось?» — спрашиваю. Миша

рассмеялся: «Представляешь, пока я машину гнал, из нее по дороге какие-то детали повылетали!» Может, это опять было какое-то предостережение? Но жизнь идет, крутит, вертит, увлекает человека, и ни о каких предостережениях он не думает…

А однажды он позвонил мне из киностудии: «Завтра утром заеду к тебе, будем репетировать!» Я прямо испугалась: что репетировать? Может, роль какую хочет предложить, так у меня же не те способности! Оказывается, он услышал по радио литературную передачу, в которой я читала свои стихи, и сразу же определил, что я их читаю из рук вон плохо, совсем не так, как нужно: не умею держать паузу, беру не те интонации, зачем-то включаю пафос, когда это любовная лирика, где иногда уместнее переходить на полушепот…

На следующий день он действительно приехал и сразу же попросил книгу моих стихов, начал показывать, как надо читать… Это был самый настоящий урок художественного чтения от Михаила Пташука, который, кстати, и в моей личной жизни сыграл определенную роль. В самом начале восьмидесятых я сказала ему, что выхожу замуж. «Как!? — воскликнул Миша. — Ты уже согласилась? Я должен посмотреть на него, ты же можешь ошибиться. Замуж — это же на всю жизнь!» И мне пришлось устраивать смотрины моего будущего мужа, который, как только увидел в открытую дверь незнакомого мужчину, сидящего в кресле, сразу же сбежал… «Да не расстраивайся, — начал успокаивать меня тогда Пташук. — Не дрейфь, Боровикова. Он скоро вернется, вот увидишь. Я это успел прочитать на его лице». Потом уже через какое-то время они с моим мужем очень подружились, и у нас началась дружба семьями.

В конце уже упомянутого выше интервью с Мишей Пташуком была приписка: народный артист Республики Беларусь, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель искусств, лауреат премии Ленинского комсомола, обладатель 14 наград на Международных кинофестивалях, член жюри Международных кинофестивалей… И за всем этим стоят фильмы, фильмы — большое кино Михаила Пташука. Дело, конечно же, не в званиях и не в наградах, а в том, какой в итоге короткой оказывается человеческая жизнь, когда невольно появляются вопросы: «И как же это?! Когда все это он успел?!» Да, несомненно, все успел сделать его талант — глубокий, природный, самобытный, какой-то стремительно необузданный. По большому счету, Миша был самородком. Да и человеком он был таким же, с натурой стремительно-необузданной. Словно предчувствовал, словно знал, словно видел предел, который вырисовывался со взлета. Да… он ушел с высокого крыла, как птица, которая поднимается высоко-высоко в своем последнем полете, чтобы потом упасть… Но птица падает, когда уже нет надежды, а у Миши было много надежд впереди, так явственно высвечивались исключительно новые горизонты. Как творец, как творческая личность, он всегда жил какой-то головокружительной идеей, и многое, очень многое из этих идей осуществлялось. И все — на горении, на страсти. Без последнего нельзя быть художником. У него была особая энергия…

1973 год. Телефонный звонок: «Боровикова, привет! Я — в Минске, на «Беларусьфильме». Вроде бы и не было паузы в разговоре нашей жизни длиной в два года (1971 — 1972), когда Миша снимал в Одессе свой фильм «Про Витю, про Машу и морскую пехоту». Тут, в Минске, его ждал киносценарий будущей ленты «Лесные качели». А потом была тема войны… от фильма к фильму. Он все время возвращался в то свое далекое прошлое, которое-то и помнить должен был смутно. Но он помнил. «Меня преследует всю жизнь одна сцена детства. Хочу снять в кино, и не получается. В хате стоят три гроба: отец и два близнеца-брата. И я краду их с маленьких гробиков, пробую тянуть в сад, поиграть с ними… И мать всю жизнь мне про это рассказывала: «Ты не верил, что они умерли…» И слезы матери. Мать! Всю жизнь снимаю свою хату. Любую декорацию строю как свой деревенский дом. Мать — это Быковская Степанида из «Знака беды»… Немцы гнали на работу, и ей на живот наступила лошадь. Родились два близнеца, которые через семь дней умерли…»



Михаил Пташук на съемках фильма «Знак беды»

Вот так рассказывал мне Миша о своих первых детских воспоминаниях. А потом была школа в Барановичах. Детство и ранняя юность прошли в деревне Федюки на Брестчине, в Ляховичском районе. «Наша деревня была очень театральная. Я вырос, можно сказать, на сцене. У нас всю жизнь играли купаловскую «Павлинку» на фэстах на Семуху, а потом на 7 Ноября, на 1 Мая… С детства ходил в драмкружок. Мать моя была очень тихая, застенчивая, никого не могла обидеть и была очень одинокой, из-за меня не хотела выходить замуж. Была бы очень талантливой актрисой. Собиралась родня, и она не могла усидеть за столом… Все говорили: «Маня, покажи того или другого человека…» Иными словами, изобрази его. Органика была фантастическая!» — это тоже из Мишиных рассказов. И у него самого, как и у матери, которая большую часть своей жизни проработала в колхозе звеньевой по льну, была органика фантастическая и еще воображение. Он видел какое-то свое кино, пробовал про него рассказывать, что-то такое вырисовывал и потом уже под все это искал сценарий… Часто находил это в белорусской литературе, отсюда и «Возьму твою боль» по Ивану Шамякину, и «Знак беды» по Василю Быкову, и «Черный замок Ольшанский» по Владимиру Короткевичу.

Однажды он вспомнил о Владимире Короткевиче. Я это с его слов записала и опубликовала как интервью еще в 2000 году в журнале «Алеся». «…После премьеры «Черного замка Ольшанского» в минском кинотеатре «Киев» я подвозил его домой. В какой-то момент он попросил остановиться, и тот наш очень искренний разговор я запомнил на всю жизнь. У Короткевича были плохие предчувствия, его все чаще и чаще подводило здоровье… А в общем, говорили о Беларуси. Он настойчиво убеждал меня, что нужно заниматься только своими родными истоками, что, только работая со своим национальным материалом, творец в Беларуси может сделать что-то значительное. Говорил он и о себе, о том, что очень часто люди говорили ему одно, а делали совсем другое. Думаю, что Короткевич был очень одиноким… Как будто ироничный, способный на острую,

точную шутку, но за этим всем стоял человек большой грусти. Он каким-то образом выпадал из своего времени, был исключительно чужим и непонятным той эпохе, той коммунистической системе. Полный душевного романтизма еще с шестидесятых, очень быстро эмигрировал сам в себя, потому что после короткой хрущевской оттепели начиналась драма времени… А он опережал то время, отрываясь все выше и выше, блуждая в своих временах, и… остался раненой птицей, которая должна была лететь на долгую дистанцию и на очень большой высоте. Высота осталась. Она, однозначно, в слове — классик, любимый и неповторимый!»

После трагического дня, когда Миши не стало, эти слова каким-то образом накладываются и на него самого. Такой огромный, жизнерадостный, со всегда готовой шуткой, он носил в себе какую-то свою грусть, свою боль. Это особенно чувствовалось во второй половине девяностых — когда какое-то время Мише пришлось быть в простое… Он, как и Владимир Короткевич, всегда считал, что наше будущее — в наших корнях… Вот строчки из воспоминаний о Пташуке одного из его учеников, Жени Сетько: «…За рубежом нас не очень хорошо знают, — говорил Михаил Николаевич, — нас путают с русскими. И многие белорусы заблуждаются, отвергая свое прошлое и подчиняя свою жизнь каким-то абстрактным идеям. Наше будущее — это наши корни. Это то, что дала нам жизнь. И мы обязаны любить эти корни, чтить их и, конечно же, воспевать». После фильмов о войне, после «Черного замка Ольшанского» Миша страстно загорелся нашей глубокой историей… Но ничего не получалось с запуском «Витовта» — исторического фильма про князя Великого Княжества Литовского Витовта, над сценарием которого он работал вместе с Алексеем Дударевым. Как ему хотелось снять этот фильм! Но все упиралось в какую-то невидимую стену, объяснение которой — финансовые трудности. И оставалось одно сожаление, нужно было искать и браться за что-то другое. Бывало, какая-то щелочка приоткрывалась, тогда мог позвонить возбужденный Миша: «Давай встретимся, есть идея, может получиться! Попробуй написать мне заявку кинокомедии для одной турецкой киностудии!» И писалась заявка, мы часами обговаривали сюжет, придумывали невероятно смешные сцены, но в итоге и тут ничего не получилось. А потом как-то (это был, кажется, 1998 год) Миша вернулся из Ташкента, с Международного кинофестиваля, позвонил мне: «Боровикова, очень даже может получиться… Я тут познакомился с кинорежиссером из Бомбея, у него там своя киностудия… Что-то такое почти предложил… Давай рискнем, напишем сценарий… Я поставлю одну серию здесь у нас, в Беларуси, а вторую — у него в Индии». И стали мы с Мишей писать сценарий двухсерийного фильма о любви молодого индуса и белорусской девушки. Мне пришлось взять отпуск, он, как правило, утром приезжал к нам домой, мы бурно обговаривали ту или иную сцену… Миша тут же проигрывал ее, случалось в разных вариантах, что затягивалось на полдня… Потом он уезжал, а я садилась за пишущую машинку… Работали больше месяца без продыху, даже муж мой проникся особым расположением и то и дело заваривал и приносил нам кофе… Когда приступали ко второй серии, несколько дней штудировали самые разные книги: вникали в историю, культуру Индии, изучали быт, народные традиции, природу этой далекой от нас страны. И вот сценарий готов… Миша нашел переводчика, который быстро перевел его на английский язык, отослал в Бомбей и… опять финансовые трудности. Индийская сторона была согласна частично профинансировать только вторую серию. Единственное, в газете «Культура» появился материал о нашем проекте с фотографией, где Миша в чалме, как заклинатель змей, а я — в очаровательном сари с капелькой на лбу.

А потом в нем опять каким-то образом отозвалась война, и он загорелся идеей снять «В августе 44-го…» по роману российского писателя Владимира Богомолова «Момент истины». Очень жалею, что по разным обстоятельствам тогда не смогла вырваться на съемки этого фильма, хотя несколько раз дого-

варивались, что я подъеду, чтобы написать о съемках в какое-нибудь издание. Миша настолько был увлечен работой, что и забывал о наших договоренностях, и не обижался. О том периоде охотно писали другие. Сразу же после «В августе 44-го…» Пташук приступил к новой работе, к съемкам фильма «Песня Розы». У него, как никогда раньше, начиналась новая необыкновенно интенсивная жизнь. С одной стороны — поездки на различные кинофестивали, показ фильма «В августе 44-го…», с другой — съемки и новые проекты… Собранный, он словно бы спешил жить, словно бы что-то восполнял увлеченно, с азартом. Он вообще был необыкновенно эмоциональным, увлеченным человеком, не любил говорить о трудностях. Однажды во время разговора о матери, Марии Семеновне, которую Миша в последние годы ее жизни забрал к себе из деревни, и они с женой не один год ухаживали за ней, он сказал: «Она научила меня главному — терпению. Это я говорю и дочери: «Надо работать и терпеть, тогда все придет… Если Бог тебе дал, то все, что положено свыше, будет твоим, ничего никуда не уйдет, только надо дождаться. У нас в семье все терпели, исключительно крестьянская психология. Она очень верная для нашего времени».

Да, Миша умел терпеть и никогда ни при каких обстоятельствах не падать духом. Жизнь вдыхала в него что-то крылатое, и он словно бы выдыхал простор. При нем становилось свободно и легко: много света, много мыслей, самого воздуха много. Очень многие люди, которые тем или иным образом соприкасались с ним, всегда отмечали его особую энергетику, как будто бы в нем жил сплав самых разных энергий, земных и неземных. Как-то недавно в одном из разговоров его жена Лиля Михайловна мне сказала: «Ты знаешь, на сороковой день после Мишиной смерти у нас в доме искрили все розетки, ничего не могли включить — сразу же искры…Может, так с нами уже окончательно прощалась Мишина душа?» В это можно поверить, зная Мишу. «Никакая, даже самая буйная фантазия не способна представить Михася Пташука хотя бы на короткий миг успокоенным, созерцающим, расслабленным, безразличным или просто удовлетворенным» — это слова Алексея Дударева о Пташуке. Да, у него была особенная, как теперь модно говорить, аура. И каким же удивительным он был собеседником! Где-то приходилось читать, что художники, в общем-то, делятся на два типа: одни ищут славы, успеха, постоянно мучаются из-за этого, к другим же, наоборот, слава и успех льнут сами. Они не прилагают к этому никаких усилий. Миша, безусловно же, принадлежал к другому типу. Он работал. Все остальное его вроде бы и не интересовало, но почти всегда приходил успех. Ничто не оставалось незамеченным, неотмеченным. Награды так или иначе догоняли его. Тут срабатывал единственный принцип: да воздастся! Таланту, терпению, работе… Он полностью уходил в нее, исчезал, растворялся. Необыкновенно ценил талант в людях и страстно, искренне радовался, когда приходилось работать с большими талантами.

Странно, но я до мелочей могу вспомнить за эти более чем тридцать лет множество наших встреч и разговоров, в последние пять-десять лет чуть ли не каждую неделю, а вот последний разговор, как ни бьюсь, вспоминается очень смутно. Миша даже не сказал, что они с женой едут в Москву, где в отдельных номинациях фильм «В августе 44-го…» выдвинут на «Нику». Хотя говорили очень долго. Он рассказывал о впечатлениях от Америки, откуда только-только вернулся, о своих новых проектах; это был уверенный взгляд в какую-то новую даль… У меня тоже было чем поделиться: как раз в это время мне предложили возглавить журнал «Маладосць», и у меня было много сомнений. Мне нужен был совет, что делать, как быть? Согласиться или отказаться? Описала ему ситуацию, и Миша сказал однозначно: «Соглашайся. Свято место пустым не бывает, так почему бы тебе не пойти? Только стоящего заместителя возьми, талантливого и обязательно единомышленника, чтобы не было, как в басне у Крылова: кто-то — в облака, а кто-то в реку…» Был обычный разговор, и мне совершенно не помнятся интонации его голоса, а, возможно, именно за ними пряталось какое-то

его предчувствие. Он был тонким человеком, думаю, не однажды делал так, как подсказывала интуиция. А тут… не уберегся! Не увидел, не услышал какого-то тайного знака. Рок? Судьба? Пташук, как и я, очень дружен был с драматургом Еленой Поповой. И вот она не раз вспоминала, как еще во время учебы на Высших режиссерских курсах Мише кто-то нагадал по руке, что у него короткая линия жизни. Тогда, в ту минуту он запереживал, а потом, возможно, об этом не однажды думал… Мысли могут материализоваться. Не получилось ли, что невольно он сам себе напророчил свой уход? Как у русского поэта Николая Рубцова, который написал в одном стихотворении: «…Я умру в Крещенские морозы», и именно в эти морозы через какое-то время и умер…

Мишина жизнь оборвалась на самом пике нового, очередного творческого взлета, у него появилось много интересных проектов, и в принципе, каждый из них был осуществим, и тут как понять судьбу? Кажется, это была суббота, 27 апреля, выходной день. Где-то перед обедом мне позвонил встревоженный Алексей Дударев: «Ну, ты уже слышала про Мишу… Это правда?» «Что правда?» — переспрашиваю. И Дударев не смог сказать «эту правду»: в такое трудно было поверить. «Ты кому-нибудь позвони, спроси, потом мне перезвонишь…» И я сразу же набрала телефон Пташуков, услышала Мишин голос, записанный на автоответчик… Потом позвонила жене одного кинорежиссера, который, как оказалось, в это время был в Москве в командировке. Он ей звонил, рассказал о случившемся. И все равно не верилось, пока в Минск не вернулась Лиля и не привезла Мишу…

Время многое затягивает своим пологом. Вот и Миша Пташук чаще всего уже видится откуда-то издалека, но иногда так явственно приближается, словно хочет что-то сказать, пока известное только ему… Предостеречь? Успокоить? Или просто поделиться своей неуемной энергией уже оттуда, с небес? Живое лицо, живой взгляд, играющие улыбкой глаза… Вот и его Лиля, которую до сих пор все никак не могу назвать вдовой, в одном из наших недавних разговоров сказала: «Ты знаешь, прямо мистика какая-то… Прихожу на кладбище, смотрю на памятник… Он улыбается с портрета, а чуть отойду, он уже хмурится взглядом, а с другой стороны взгляну: глаза печальные-печальные… Ну живое лицо!» Да… живое! Это память сердца, оно видит людей всегда живыми. Иногда я невольно ловлю себя на мысли, что мне очень хочется однажды вместе с Лилией Михайловной поехать в Ляховичский район, в ту самую деревню Федюки, где когда-то давно, конечно же босоногий, бегал маленький рыжеволосый мальчик Миша… Хочется посмотреть в небо над Федюками… Не знаю, как федюковцы, но я уверена, что в этом небе зажглась и неизменно горит самая яркая звезда современного белорусского кинематографа, имя которой — Михаил Пташук — большой белорусский кинорежиссер, великий Мастер, народный артист Беларуси, а что лично до меня, — так еще и милый друг, который навсегда остался в сердце…

Фото Александра ДМИТРИЕВА
и из личного архива Раисы БОРОВИКОВОЙ.

Воспоминания от обратного

Мы закончили разговаривать. Я выключила диктофон. А Андрей Голубев еще насколько раз повторил: «Как бы это так сделать, чтобы получилось от обратного. Как он учил. Чтобы это было действительно про него?» «От обратного» вышло само собой. В обратную сторону. Не сначала, а с конца.

Это воспоминания учеников Михаила Пташука о своем учителе. Монологи о том, каким он запомнился четырем из семи его студентов. О последних годах жизни режиссера. О том самом единственном пташуковском курсе, где учились Андрей Голубев, Людмила Дубровская, Александр Кананович, Дмитрий Лось, Евгений Сетько, Денис Скворцов, Максим Субботин. О том, чему научил их дядя Миша и как им живется и работается без него…

Елена Мальчевская

Андрей ГОЛУБЕВ. Монолог о человеке, который сгреб в охапку

Я пришел на курс, когда мне было 27 лет. История была немножко комичная. Пташук тогда запускался с фильмом «В августе 44-го…» Работа только началась, и Михаил Николаевич беседовал с актерами. У него в кабинете сидели Алексей Петренко и Евгений Миронов. А я был одним из каскадеров. И тут я от кого-то узнаю, что Пташук в начале лета будет набирать курс в Академии искусств. У меня к тому моменту был уже 11-летний опыт работы в кино: были роли, хорошая практика с хорошими режиссерами. Я пришел к нему в кабинет (там как раз Петренко с Мироновым), Пташук меня узнал. «Михаил Николаевич, я кроме того, что буду работать у вас каскадером, очень хотел бы попытаться поступить к вам на курс». Он спрашивает: «А сколько тебе лет?» Я ответил. Не буду говорить, что он сказал, но смысл сводился к тому, что я уже старый. Все посмеялись, и мне пришлось выйти из кабинета. Вышел, зашел в курилку, походил-походил. И подумал: «Неужели в жизни все так просто?! Зашел, сказали, что старый — и уже конец карьере, конец мечтам…» А я тогда писал: рассказы, истории какие-то. У меня не было портфолио, но были сценарии, которые я в будущем хотел бы запустить. Я походил-походил, потом думаю: зайду еще раз. И уже был немножко наглее. Михаил Николаевич сказал: «Показывай, что ты там пишешь». А потом я поступал на общих основаниях. Но уже тогда, наверное, он выбрал меня, потому что я показал характер, настойчивость.

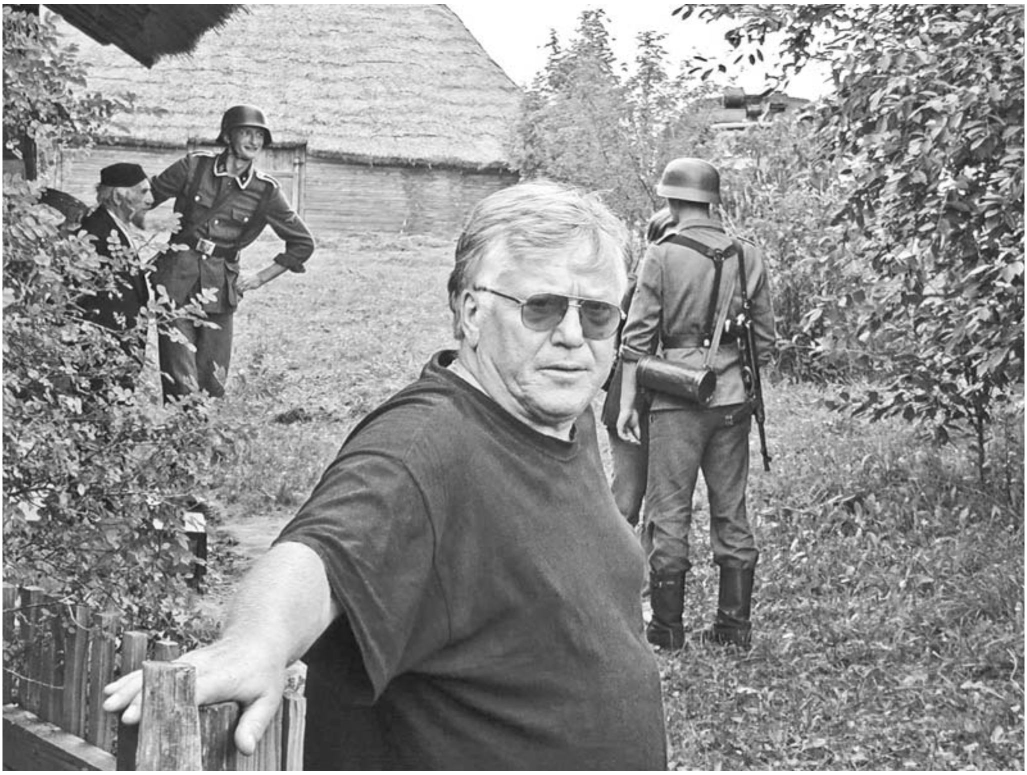
Мне кажется, Михаил Николаевич сделал выбор задолго до экзамена. У нас были консультации, которые превращались в разговоры за жизнь. Вот тогда он и выбрал себе тех людей, с которыми ему нужно идти в бой. На первой паре он сказал, что занятия у нас будут необычными. Мы не будем вести конспектов, мы не будем ничего записывать, потому что записывать нечего. Мы будем только снимать кино, смотреть кино, делать кино. Не знаю, как у кого, но у меня ни одной записи не сохранилось. А еще на первом же занятии Пташук сказал мне, что я буду старостой, потому что я самый старший. Я уже был женат, мне нужно было кормить семью, а тут нужно ходить на все занятия, потому что я староста (конечно, выручали съемки, меня часто снимали как каскадера и как актера).

Когда я слышу «мастер», это мне напоминает Булгакова. Я бы не говорил мастер, я бы сказал учитель. Михаил Николаевич заменил нам родителей. Нет, нельзя сказать «заменил»… Слово «родители» можно разделить на два корня: роди тело. Родители рождают тело. А учитель способен указать тебе путь. Для мужчины самое главное — это найти себя. Я себя, благодаря Михаилу Николаевичу, нашел. Думаю, что учиться нужно у человека, который одержим, который тебя сгребает в охапку — и ты у него в этой охапке.

На втором курсе я уже задумал снимать на пленку. Мне всегда хотелось быть впереди всех (спортивный азарт, максимализм, который мне всю жизнь мешает). И все уже сдали сценарии на новые короткометражки, а я никак не мог утвердиться. Я написал их, наверное, 12 или 13 — и все не то. А Михаил Николаевич эти работы даже не читал. Ты приходишь к нему со сценарием, а он на него сверху руку положит (у Пташука руки большие были), глянет и спрашивает: «Про что история?» Я рассказываю: «Мальчик и девочка, они общались, потом он уехал на войну, она встречалась с другим…» Он говорит: «В письме бабушке напишешь (это было его любимое выражение — *А. Г.*). Плохо. Что еще?» Я отвечаю: «Пока ничего». Он говорит: «Пиши». И так 13 раз! Потом, когда я в последний раз к нему пришел, уставший, с кругами под глазами (не спишь же — пишешь), он так тоже руку положил: «Про что история?» Я рассказываю: «Про то, как отец убивает своего сына». Михаил Николаевич спрашивает: «Иван Грозный?» «Нет, — говорю, — современная история». И он: «Вот это интересно». Взял и прочитал. Он всегда ценил время. Не умел идти на компромиссы. Мне в какой-то момент стало так обидно: я написал 13 сценариев, а он не объясняет, где, почему плохо. Настолько была жесткая школа — ты должен был ломать-ломать-ломать себя и, наконец-таки, сломать. На одном из первых занятий Михаил Николаевич сказал: «Нужно, в первую очередь, себе самому ответить: зачем ты хочешь это снять?» И если все режиссеры были бы честными, то у нас все хорошо с кино было бы…

Мы прозвали его Дядя Миша (ему это нравилось). А в Академии его называли бронепоездом или самолетом, потому что Пташука сначала было слышно, а потом видно: идет, поздоровается, кого-то по плечу хлопнет — его бас подхватывало эхо Академии. Вообще, атмосфера у нас на курсе была домашняя. Сидели, разговаривали. Могли даже за пивом сбегать. Михаил Николаевич любил приглашать нас домой. Мы собирались возле Стелы, на тогдашнем проспекте Машерова. Собирались со своими кассетами, пробами, сценариями — и все думали, что сейчас Михаил Николаевич даст прикурить, разбирая. Думали, кто будет первым показывать. «Денис, у тебя все готово? Или у Макса? Значит, с тебя начинаем, чтобы сгладить обстановку, а потом мы». Все равно получалось не так. Михаил Николаевич всегда действовал от противного. И нас так учил поступать: делать не то, что от тебя ждут. И вот мы приходили к нему домой. Он накрывал стол. Дядя Миша очень здорово умел накрыть стол: организовать, купить, приготовить. Я думаю, что он это делал в какой-то тайне от Лилии Михайловны. Он ее побаивался. И очень любил. При ее появлении снимал маску жесткого режиссера и становился влюбленным парнем. «Мы тут понемножку с ребятами». Конечно, мы это понимали, но дома у него частенько засиживались. Очень много было разговоров, обсуждений.

После гибели Михаила Николаевича курс находился в катастрофическом положении: ходили слухи, что нас могут расформировать, перекинуть на театральные профессии. Больше всего мы боялись, что к нам придет другой мастер. Собственно говоря, всех белорусских мастеров по пальцам можно пересчитать. Нам назначили Вячеслава Никифорова. Мы были против. Написали заявление, и меня с петицией отправили к Никифорову. Он тогда снимал фильм «На безымянной высоте». Я пришел к нему: «Вячеслав Александрович, мы не хотим, чтобы нас переучивали». А через неделю он утвердил меня на одну из главных ролей в фильме «На безымянной высоте». На занятия к Никифорову я так ни разу



Михаил Пташук на съемках своего последнего фильма

и не пришел, остался верен этому нашему заявлению. Никифоровскую школу я прошел непосредственно на площадке. Не скажешь, что она легкая, но у каждого человека есть чему поучиться, тем более у режиссера старой школы. И Вячеслав Никифоров тоже сыграл знаковую роль в моей судьбе.

А вообще, что-то из того, что Михаил Николаевич говорил тогда, ты понимаешь только сейчас. И то, что заложил в нас дядя Миша — это, как замедленная бомба. Я всегда говорил своим однокурсникам — мы в Беларуси как стратегическое сырье. Заряд, который будет взрываться, и взрываться, и взрываться. Про это нельзя забыть. Потому что самое главное, чему он нас научил — это требовательность к себе. Я знаю, за какие недостатки он отругал бы меня, например, в моем фильме «Чаклун и Румба». Так устроен мир, что всегда ты идешь на компромисс. Потому что ты приезжаешь на съемочную площадку, а у тебя того нет, того нет, того нет. Вот я приезжаю однажды, а у меня декорацию сожгли. На государственной киностудии… Как я уже говорил, Михаил Николаевич не умел идти на компромиссы. Я стараюсь быть на площадке таким же, как и он. Иногда это очень тяжело. Потому что у каждого свой характер, и приходится порой как-то некрасиво поступать. Ему удавалось быть на съемочной площадке и своим, и недоступным. Я пока так не могу.

Нужно быть честным с собой. Именно из этого рождается мастер, который испытывает недовольство собой. А это первая ступень к Богу. Если каждый из нас будет недоволен собой (хоккеист, журналист, режиссер — не важно), тогда все будет хорошо. Мы должны любить то, чем мы занимаемся. Но любить — это не значит носить плащ и шляпу с полями: я режиссер. Это очень трудная профессия. Нужно затратиться. И я знаю, как Михаил Николаевич любил эту профессию. Он был безумно счастлив от того, что занимается кино. Его любимое слово было: «Мотор!»

Евгений СЕТЬКО. Монолог о маленькой кинематографической коммуне

Я впервые увидел Михаила Николаевича по телевизору (он давал интервью) и понял, что это очень толковый человек, человек дела, классный режиссер. Он мне очень понравился, поэтому еще до поступления я взял свой сценарий и поехал к нему. Пташук, конечно, удивился. Взял почитать сценарий, позже вернул и сказал: «Слабовато» (у нас сначала мания величия у всех была, мы писали кинопоэмы, а он учил нас писать сценарий для маленькой короткометражки: чтобы человек зашел одним, а вышел другим). Потом Михаил Николаевич сказал, что даст возможность поступить. Не «тебя возьмут», а «будешь поступать на общих основаниях». Но, естественно, после собеседований он помогал, если видел, что человек талантливый. Были, например, тайные слова в начале сочинения. У меня парольного слова не было. Но потом на курсе все про них рассказывали. А у меня не было, но я тоже говорил: «Да-да, у меня было тайное слово в сочинении».

На первых порах Михаил Николаевич был диктатором. И одновременно заботливым отцом. И профессиональным режиссером. И профессиональным педагогом. Все эти качества в нем сочетались. У него было огромное желание учить. К каждому нашему академическому занятию по режиссуре прибавлялось еще чуть ли не десять часов. Мы приходили утром, а уходили вечером. И все это время было посвящено режиссуре. Но не только — еще и определенной школе жизни. Потому что нужно было подготовить студента к тому, что он не сразу попадет в профессию, что его проекты будут отклоняться (это сейчас и происходит). Он стремился не только научить профессии, но и научить жизни. Сейчас этот опыт очень сильно помогает.

Наш первый год был очень тяжелый. Особенно мучались со второй короткометражкой. Михаил Николаевич дал нам задание снять короткометражку на основе сценария известного советского фильма. Потом, кстати, он озвучил эту идею во ВГИКе, и там такой способ обучения поддержали. А на примере нашей первой работы он каждого где-то за два часа научил монтажу. Как ему это удалось? В учебных планах семестры отводят на занятия по этой теме. А тут за два часа и на всю жизнь. Может, гипноз какой-то? (*смеется*). Мы за время учебы сняли четыре фильма (обычно долго сидят на теории и снимают один). Пташук в первые дни занятий сказал: «Я вас бросаю как котят в омут: кто выплывет — тот будет режиссером, а кто нет — значит, не судьба». На курсе у нас, действительно, со временем ряды поредели.

С третьего курса мы серьезно разговаривали о национальном кино. Но это я сейчас уверен в том, что мы должны национальное кино снимать, а тогда Михаил Николаевич настаивал. Я помню его историю про какой-то европейский фестиваль. Он повез свою картину, предварительно оформив все документы, а когда приехал, то увидел, что страну производства указали «Россия», хотя он писал: «Беларусь». Потому что фильм был на русском языке. Его это сильно задело… В принципе, каждый кинематограф не только интернационален, но и национален. Мы можем быть интересны миру, только когда снимаем национальное кино. Это не то кино, где в народных костюмах пляшут и по-белорусски разговаривают. Кстати, это очень большая проблема: определение национального кино в нашей стране. Я уверен, что не все люди понимают, что это такое. Национальное кино — это кино, которое идентифицирует народ для самого себя и для всего мира, которое объединяет народ. Вот если есть эти факторы, тогда это национальное кино.

Мы жили большой семьей или такой маленькой кинематографической коммуной. В ней были свои определенные законы. Нужно было быть откровенным во всем. Мы все вместе обсуждали какие-то работы. Мы решали какие-то семейные проблемы. Михаил Николаевич давал нам советы. Очень любил, когда на определенном этапе работы с фильмом мы давали ему советы, рассказывали, что

нам нравится, что не нравится. Он ведь тоже в некоторых вещах сомневался, и для него очень важным было мнение другого. Михаил Николаевич это не скрывал и пытался привить нам любовь к чужому мнению, чтобы мы не были самовлюбленными и полностью уверенными в себе, потому что кино ориентируется на зрителя, а он очень разный.

И самый главный закон был: отвечать на вопрос «Что нового?» Вот мы пришли на занятие, Михаил Николаевич спрашивает у каждого: «Что нового?» А мы вчера работали над сценарием. Ночь прошла. Что у нас может быть нового? Мы сначала не понимали, чего он от нас хочет, какого нового. Потом поняли, что каждый день нужно делать новый шаг, получать какую-то информацию, обнаруживать новые вопросы, чтобы задать их учителю. И случались такие дни, что мы не шли на занятия, потому что не было ничего нового, и поэтому было стыдно. И взрослые дядьки, почти все с первым высшим образованием, не шли, потому что ничего нового не было. Сначала не понимали: откуда это новое взять? Вроде же смонтировали вчера. А потом поняли, что есть, например, второй вариант монтажа. Поиски нового подстегивали. Столько энергии было!

Меня в нем радовала его огромная энергия, преданность кино. И радовало то, что я попал именно к нему. Если бы сейчас можно было поступать, я бы не поступал. Я не вижу, у кого в Беларуси можно научиться режиссуре.

Михаил Николаевич даже маленьким нашим успехам всегда радовался. Гордился нами. И еще была в нем удивительная черта: он радовался фильму, который снял кто-то другой. В нем не было зависти. Радовался, как ребенок. Приходил, показывал австралийские, американские фильмы, радовался отечественным. Он жил без зависти, по законам профессии. Все служат одному и тому же Богу, и если кто-то сделал хорошее кино, значит, он следовал законам, значит, у него получилось. Он и нас так воспитывал.

Наш курс — это курс единомышленников, т. к. мы думаем одинаково. И если мне дают, например, сценарий почитать, я часто вижу, что он написан не так, как нас учили. Многим сценаристам я говорю (даже если просто плохо написано): меня учили по-другому. При таком вложении, таком обучении невозможно снимать по такому сценарию. И если бы человек учился в такой же мастерской, только сценарной, он бы такое не написал…

Больше всего мне запомнилась фраза Михаила Николаевича о том, что если ты все правильно делаешь, то фильм идет легко. А если тебе тяжело и ты ломаешь голову, рвешь на себе волосы — значит, что-то идет неправильно.

Каждый год, когда мы с ребятами собираемся, мы обсуждаем одну тему: он всегда был прав. Вот как человек всегда может быть прав? Кто-то делал наперекор его советам, кто-то соглашался, но Пташук всегда оказывался прав. Не было ни одной ситуации (профессиональной, личной), где он был бы неправ. Как ему это удавалось?

Когда он ушел, у меня было такое ощущение, что такие люди рождаются раз в сто лет. Космический человек. И обучение было какое-то космическое. Мне никто не верил, когда я рассказывал, как проходят наши занятия. Даже жена. Михаил Николаевич потратил на нас столько сил, времени, нервов… Я думаю, что пройдет немного времени, и мы его надежды оправдаем.

Максим СУББОТИН. Монолог о судьбоносной встрече

В жизни каждого человека случаются судьбоносные встречи. Для меня такой стала встреча с Михаилом Николаевичем Пташуком. Я заканчивал второй курс режиссуры телевидения в Белорусской государственной академии искусств, когда к нам на экзамен пришел Михаил Николаевич. Он тогда набрал

своих первокурсников — режиссеров игрового кино. А нам, телевизионщикам, предстояло показывать видеофильмы на экзамене по дисциплине «Работа с актером». Я был уверен в своей работе: полгода корпел над короткометражкой, которая получилась весьма кинематографичной, но когда увидел Пташука в первом ряду — коленки затряслись. Дальше произошло то, что было куда важнее «пятерки» по предмету: ко мне подошел мой мастер Владимир Павлович Забелло и передал предложение Пташука перейти к нему на курс. Я был крайне удивлен. Появилась возможность учиться на бюджете, вернуться снова на первый курс, но главное — учиться у легендарного режиссера! Для размышлений у меня были сутки. Уже на следующий день мы созвонились и через тридцать минут встретились в сквере у Купаловского театра. Огромный человек подошел ко мне, девятнадцатилетнему парнишке, деловито пожал руку: «Ну, рассказывай, какие есть идеи?» Мне предстоял один из самых важных и сложных экзаменов в жизни. Мы говорили около полутора часов. О кино. О темах, которые волнуют. О родителях. Обо всем. Мы прошли кругов 30 по скверу. Попрощался Михаил Николаевич словами: «Жду после каникул у себя на курсе со сценарием». И растворился в городе. Вот так я попал на курс к мастеру. Повезло вдвойне с учетом того, что на тот момент, последний набор на режиссуру кино был семь лет назад.

А дальше… Два года учебы пролетели как один день! Я впитывал все, что говорил дядя Миша (так мы звали его с однокурсниками). Меня он называл не иначе как Максимушкой. Но был одинаково строг со всеми. Курс стал семьей. Интересно, что Пташук настолько держал всех в рабочем тонусе, что до внутренней конкуренции на курсе дело не доходило. Он сам распределил жанры среди семерых студентов и спрашивал с каждого, требуя полной отдачи. Я на курсе был «Тарковским». Но Пташук своей харизмой привил мне любовь к более доступным игровым жанрам. Меня всегда вдохновлял масштаб его личности. Темы, за которые он брался. Люди, с которыми он общался. Все было мощно и значительно. Пташук не из тех, кто робел перед трудностями. У него хотелось учиться и перенимать все лучшие качества: и человеческие, и профессиональные. Я сейчас закончил проект в Москве. В главной роли снимался Владимир Меньшов. На второй или третий день съемок он поинтересовался у меня, где и у кого я учился. Как же был приятен его ответ в стиле: «Ну, теперь все понятно! Чувствуется! Мы с Мишей дружили!» Я подарил ему книгу о Михаиле Николаевиче.

В памяти всплывают отдельные эпизоды из тех ярких и безумно интересных двух лет. Два года наших занятий. Два года до его трагической гибели…. Он, словно, чувствовал. Спешил. Отменял общеобразовательные предметы и собирал студентов в аудитории либо у себя дома. Мы без конца смотрели и обсуждали работы однокурсников. Прямо. Жестко. Не выбирая выражений. Никаких индивидуальных занятий. Все вместе переживали взлеты и падения. Он часто делился своими соображениями по поводу собственных проектов и сценариев. Его любимым словом было «грандиозно». Это касалось и актеров, и сценариев, и бюджетов, и впечатлений от Голливуда. Ему там очень понравилось. «Учите английский, ребята! Всех туда заберу», — говорил он.

Думаю, мы все хорошо запомнили последнее занятие. Неожиданно пришел фотограф и попросил сделать общий снимок для газеты, ставший последним фотоснимком Михаила Николаевича… На следующий день Пташука не станет. На занятии в основном говорили о моей работе: я почти закончил монтаж короткометражной картины «О пропавших без вести». Снова и снова мы пересматривали ее по просьбе Пташука. «Максимушка, сделай, как я тебе говорю, и будет классная картина», — сказал он на прощание и ушел. Навсегда.

В жизни каждого человека случаются судьбоносные встречи… Навещаю его на кладбище всякий раз, когда проезжаю мимо. Нам есть о чем поговорить…

Людмила ДУБРОВСКАЯ. Монолог о курсе, который положили на полку

Для меня самой загадка, как я оказалась на этом курсе. Закончила БГУИР, потом — аспирантуру и в тот год, когда поступала к Пташуку, я должна была защищаться. У меня была почти готова кандидатская. Я даже не представляла, что буду учиться режиссуре вместо того, чтобы защищать кандидатскую по электрохимии.

Я думаю, что все-таки есть Бог, провидение, судьба — не знаю… Но что-то есть такое, что нас направляет в определенный момент, главное это услышать. Я помню этот день. Это был первый день после академического отпуска (у меня родилась вторая дочь), я вернулась в свой любимый радиотехнический институт продолжить работу над диссертацией. Пришла — и увидела, что все очень грустно и бесперспективно (это были сложные годы для страны и для науки). И поняла, что не могу одна изменить это, мне придется встраиваться в эту систему. И вот в таком шоковом состоянии я просто шла от университета к троллейбусной остановке возле Академии искусств. Какая сила заставила меня зайти в Академию — до сих пор не знаю, но это было что-то мистическое. Я помню, как раскадровкой, и погоду, и людей, которые шли мимо, и дверную ручку Академии, и декана Владимира Андреевича Мищанчука, которого я встретила на театральном факультете, и как долго он мне рассказывал, где проходят консультации, а потом выяснилось, что это совсем недалеко от моего дома. Но еще большим удивлением было то, что предыдущий набор на режиссуру кино, набор Турова, был семь лет назад. Сейчас набирал Пташук. Про следующий набор вообще ничего не известно! Я, закончив БГУИР, где у нас на потоке училось больше 100 человек, и набор был каждый год плановым и массовым, не предполагала, что бывают специальности, где обучение специалистов может зависеть от одного человека — мастера курса, а на курсе может учиться всего 7 человек.

На консультации узнала, что нужно для поступления: новеллы-киносценарии. До этого я не писала и не снимала. Стала писать первые работы по наитию: как чувствовала. И они получались большие, подробные… Волнительно было давать их читать Пташуку: там было много личного, как у каждого начинающего автора. А самым большим комплиментом стал вопрос Михаила Николаевича по поводу второй или третьей новеллы. Он прочитал, долго на меня смотрел, а потом спросил: «Ты сама это написала?» И я поняла, что это комплимент! В текст было вложено много пережитого и прочувствованного: описания людей, событий, пережитые эмоции, впечатления, принятые решения и вынесенные уроки — это, видимо, его затронуло.

Дальше было поступление, про которое я никому не говорила. Знал только муж. А, вот еще что! Михаил Николаевич на собеседовании сказал: «У тебя есть дети, есть муж. Без его согласия на курс не возьму». Пташук спросил: «Поддерживает муж?» Ну, конечно, поддерживает. «Вот пока он не придет и не скажет мне, что согласен, не могу тебя взять». И муж пришел и сказал, что он согласен, что возьмет на себя заботу о детях. Михаил Николаевич ему тогда сказал: «Ты понимаешь, куда идет твоя жена? Ты ее не будешь видеть целыми днями — она с утра до вечера будет занята. Ты отдаешь себе отчет в этом?» Муж не испугался: «Пока учеба — это понятно, но дальше ж будет проще...» Михаил Николаевич ответил: «Профессия достаточно сложная — кто знает, как дальше повернется». Он был прав: профессия непредсказуемая. Я раньше думала, что режиссер — это независимая профессия. И это было для меня самым привлекательным. А на самом деле оказалось — зависимая, причем от многого и многих. Это одна из иллюзий, которая разбилась для меня недавно… В общем, муж согласился, но после первого года моей учебы понял, что зря это сделал, потому что занимались мы, действительно, с утра до вечера. После первого курса я решила уехать в Москву на

Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Но перед этим взяла у Михаила Николаевича что-то вроде благословения (он тоже заканчивал эти курсы). Если бы он не одобрил мое решение, я бы, скорее всего, не поехала никуда. Для меня было важно быстрее заняться делом, потому что пять лет муж бы не выдержал. А там учиться после первого высшего образования нужно было всего два года. Михаил Николаевич благословил и отпустил. Дальше была учеба на курсе у Петра Тодоровского. Тоже очень интересное время. Но пришлось вернуться через полтора года. По семейным обстоятельствам… Что дальше делать? Я пошла восстанавливаться на свой курс к Пташуку: возьмет — не возьмет? Он посмотрел работу, которую я снимала в Москве, и сказал: «Ну, ладно, возвращайся».

Теперь я понимаю, что Академия была для нас теплым и уютным инкубатором. И, в первую очередь, Пташук, как птица своими крыльями, защищал нас от всего. Направлял, подсказывал, объяснял, что стоит того, чтобы тратить на это свою жизнь, а что не стоит. Третий курс у нас был странным, мистически странным. Мы занимались режиссурой с утра до вечера, особенно в последние недели перед его гибелью. Это объяснить невозможно. И не было видимых причин для такой гонки, спешки. Он снимал нас со всех занятий, даже с мастерства актера. А это предмет, который нельзя было пропускать. И, тем не менее, — факт. Мы все дни до его отъезда занимались специальностью: учились быть режиссерами. Даже в тот день, когда он уезжал в Москву, я его подвозила после занятий на своей машине домой, потому что ему нужно было успеть собраться на поезд. До такой степени: ни часа, ни получаса времени не терять. Не знаю, чувствовал он что-то или нет. Как это устроено в жизни? Чувствует ли человек, что ему не так много осталось? Не знаю…

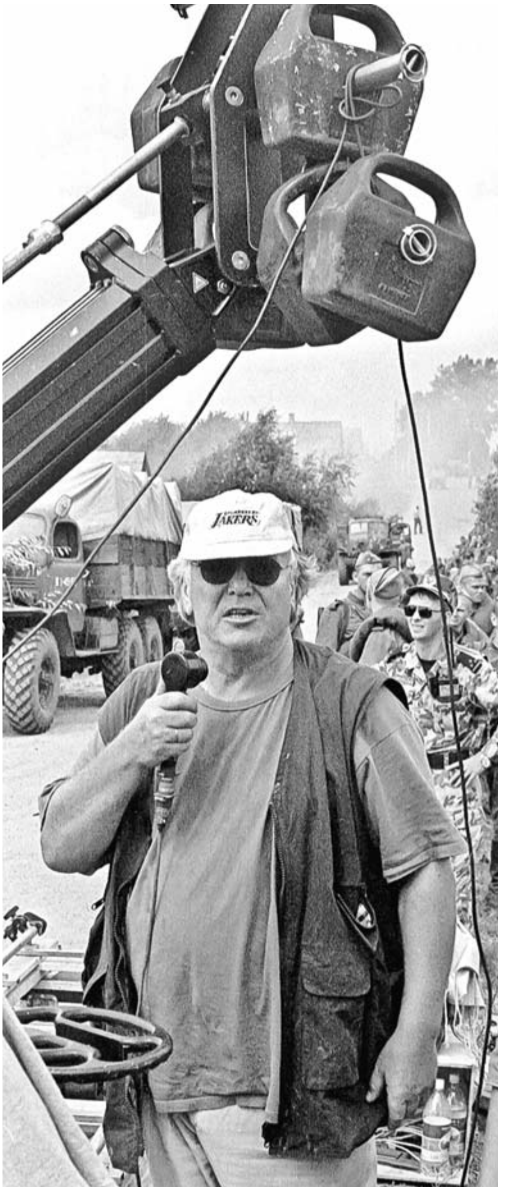
Когда он погиб мы, конечно, не верили. Вообще не верили. И когда нам звонили и что-то говорили (наверное, это защитная реакция. Мы его не просто уважали, мы его любили), то все казалось нереальным. Человек такой силы, такой энергетики, такой мудрости не может так просто уйти! Тем более, на таком мощном взлете, как был у него: проекты в Голливуде, большой проект в России… В то, что все может оборваться, никак не верилось.

Мы сидели, смотрели «Нику». Михаил Николаевич должен был быть там на вручении. Его «В августе 44-го…» претендовал на награды в шести номинациях. Мы собрались у Дениса Скворцова дома, смотрели прямую трансляцию. Мы ожидали увидеть его в зале. Думали, что дошедшие до нас слухи — это все неправда, глупая шутка. На церемонии вручения актер Владислав Галкин получил «Нику» за лучшую мужскую роль второго плана и ничего не сказал о режиссере. То, что не поблагодарил, — ерунда! Я даже не думала, что в такой ситуации человек может ничего не сказать о только что погибшем режиссере, которому он обязан своим успехом, да и просто по-человечески… И мы тогда сделали другой вывод: значит, жив! Но звукорежиссер Игорь Майров, получив «Нику» за фильм, едва скрывая слезы, попросил зал встать и почтить память Михаила Николаевича минутой молчания. Тогда мы все поняли… Потом дни были какие-то смутные. Мы его ждали, встречали из Москвы. Ночь в храме, где его отпевали… Как будто не с нами все было. Тяжело вспоминать…

Мы остались сиротами: непонятно было, кто нас будет доводить, как мы будем заканчивать. Такие травмированные подростки — никого не хотели видеть на его месте. Выступали. Спасибо Вячеславу Никифирову за то, что он нас довел, что спокойно терпел наши выкрутасы, и мы закончили Академию: очень реальной перспективой было расформирование курса.

Я Михаила Николаевича вспоминаю веселым… и мудрым… и добрым. Вообще, он был очень многогранным, гармоничным. В нем сочетались, наверное, все самые лучшие качества, которые есть в человеке. Я не приукрашаю вследствие того, что мы его потеряли. Я помню и какие-то неидеальные моменты, но, тем не менее, они для меня прекрасны.

Он был верующий человек. Не на публику, нет, он был внутренне глубоко верующий. И нам он тоже это передавал, но не в лоб, а исподволь: объяснял, почему хороший режиссер никогда не возьмется делать определенную идею, говорил о том, что надо нести в мир светлые идеалы и темы. Вот это я для себя вынесла. Я про это думаю, когда решаю браться за какой-то проект или не браться. Иногда понимаю: дядя Миша бы не одобрил. Не могу согласиться на какие-то вещи. Нажила себе врагов… Но это жизнь. Согнешься, покривишь душой — и все, уже не сможешь себя считать независимым режиссером со своими идеями и принципами...



Михаил Пташук на съемках фильма «В августе 44-го...»

Атмосфера на курсе была невероятная. Это была не группа, а скорее мини-семья. Можно сказать, жили вместе, только спать расходились по домам. Все на виду, мы все друг о друге знали. Режиссура — это такая вещь, которая проявляет то, что с человеком происходит, что он переживает. Естественно, художник вплетает свой опыт в свои работы. И мы чувствовали друг друга, и обменивались этим опытом. И сейчас еще чувствуем. Мы встречаемся каждый год в его день рождения и в день гибели. Ходим к нему на кладбище, вспоминаем, делимся новостями. Я считаю, что мне и ребятам повезло, что дядя Миша выбрал именно нас, и мы попали на курс.

Он учил жить и быть Режиссером с большой буквы. Понимать, что режиссер — это не профессия, это образ жизни. Это характер, это личность. Он заложил уважительное отношение к профессии и поднял планку для нас. Это позволяет не падать, не опускаться до чего-то недостойного.

Михаил Николаевич был совершенно неформальный педагог, очень открытый человек. На первом курсе мы пришли поздравить дядю Мишу с днем рождения (мы потом его всегда поздравляли). Он нас напоил, накормил. Сидели, разговаривали, по чуть-чуть выпивали, смотрели какие-то наши работы. Потом пришла Лилия Михайловна, разогнала нас. И мы пошли в универсам «Юбилейный», чтобы купить чего-нибудь и еще вместе посидеть — нормальная студенческая жизнь. И вот пока мы ходили по магазину, туда зашел дядя Миша: «Как!? Вам не хватило!? Идем со мной!» Он затащил нас в кафетерий, и мы там сидели еще часа два, пока магазин не закрылся. А Лиля Михайловна отправила его за хлебом… Запоминаются такие моменты.

Или вот на его последнем «Лістападзе», когда Михаил Николаевич вышел на сцену (ему вручали какой-то приз) и сказал: «Что-то на этой сцене слишком много россиян… Почему нет белорусов?» Это потом вырезали из эфира…

Помню, как он нас привел на церемонию закрытия. Естественно, нам никто не давал пригласительных, нас, как всегда, не существовало. Он нас привел, посадил, но до того как посадить, он нас провел по всему холлу и очень ярко познакомил с теми, с кем считал нужным познакомить. И представлял он всех тоже неформально. Мог сказать, не стесняясь, что кто-то хитрец или лжец. Он прямо это говорил, не за спиной. Естественно, такое качество не добавляло ему друзей. Но меня оно восхищало. Может, это неправильно. Но мне кажется, не нужно большой смелости для того, чтобы говорить за спиной какие-то гадости, а попробуй сказать в лицо… Это тоже были определенные уроки, но, скорее, не режиссуры, а жизни.

Дядя Миша никогда не читал нам морали, не говорил: делайте так, не делайте эдак. Он сам был примером. На съемочной площадке — как он ставил задачу, актерам, оператору, художнику; никогда ничего не упускал. Михаил Николаевич всегда четко понимал, чего он хочет. Он точно знал, например, к чему он нас ведет. Мы начали снимать на первом курсе. В сентябре поступили — в декабре уже начали снимать. Конечно, это супер-идея, его идея: сразу же пускать в съемки. В Москве, например, традиционная система образования. Она построена на том, что студенты долго сидят на теории, потом делают какие-то маленькие этюды, и только потом снимают короткометражку, в лучшем случае к пятому курсу. У Пташука все было наоборот. Мы сразу снимали. А когда ты снимаешь — получаешь гигантский опыт, узнаешь процесс изнутри. Материал, конечно, был такой, что я удивляюсь, как у Михаила Николаевича хватало терпения и мудрости, чтобы его с нами разбирать. Он чувствовал каждого, понимал какие у кого плюсы, минусы, кого куда направлять. Каждого направлял в свою область. Как он собрал нас таких разных? Мы же друг другу тоже много чего давали: у каждого свое отношение к жизни и происходит естественный взаимообмен. Я считаю, что наш курс — это очередной его проект. Яркий, замечательный, состоявшийся проект. Другой вопрос, как дела обстоят сейчас. Можно снять замечательный фильм, но он будет лежать на полке, потому что его не хотят показывать те, кто владеет этим фильмом, так сказать, у власти. Точно так же и наш курс: был замечательный курс, выпускаясь, мы наделали столько шума своими дипломными работами, все так восхищались, а дальше — нас положили на полку. Иногда, конечно, кого-то «показывали», но… Это уже не проблема курса Пташука, из которого вышло семь профессиональных классных режиссеров. А то, что им не позволяют реализоваться, навязывают какие-то проекты, которые не позволяют раскрыться, — это проблема белорусской кинематографической администрации.

Восемь лет уже как закончили. И сначала нам очень много обещали. Потом ничего не сбывалось. Чаще всего думается, что если бы Михаил Николаевич остался жив, все было бы по-другому. Есть незаменимые люди. Михаил Николаевич — это человек незаменимый и то, что потеряла наша страна с его уходом, мы понимаем и видим сегодня, но спустя годы еще больше, еще острее будем ощущать масштаб потери. С его уходом закончился белорусский кинематограф. Я не знаю: есть ли будущее у белорусского кино? Но сейчас кинематографа по большому счету нет. Есть услуги, есть отдельные работы, сериалы какие-то. Но кино нет. С Пташуком наша страна могла бы получить огромную известность как развитая кинематографическая держава, был бы совершенно другой уровень отношения к нам, к стране… Видимо, Господь решил, что такие люди нужны на небесах больше, чем на земле. А на земле пока есть мы, его курс кинорежиссеров, и мы «лежим на полке»…

Фото Александра ДМИТРИЕВА.

С точки зрения рецензента

Популяризация классики: стратегия и тактика

Максім Багдановіч: вядомы і невядомы: зборнік літаратуразнаўчых і архіўных матэрыялаў / уклад. і камент. Ц. В. Чарнякевіча; прадм. і гласарый Ю. В. Пацюпы. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011.

Іван Шамякін: вядомы і невядомы: успаміны, эсэ, аповесць / укладальнік Т. Шамякіна. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011.

Уладзімір Караткевіч: вядомы і невядомы: зборнік эсэ, вершаў, прысвячэнняў. — Укладанне: А. Верабей, М. Мінзер, С. Панізнік. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010.

Васіль Быкаў: вядомы і невядомы: літаратуразнаўчае эсэ, успаміны / уклад. Мінзер М. Н. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011 г.

Четыре книги одной серии издательства «Літаратура і Мастацтва» представляют собой четыре разных способа репрезентации жизни и творчества классиков в массовом сознании современного белорусского читателя. Несомненным плюсом видится то, что серия оказалась «писателеориентированной»: каждый том создан не по безликому шаблону, а с учетом целесообразности публикации материалов о том или ином авторе.

Первый подход, академический, реализован в критико-архивном сборнике о Максиме Богдановиче, в котором образ одного из первых классиков белорусской литературы дополняется информацией из критических публикаций, официальных документов и частной переписки.

Стоит признать, что большинство разделов книги заинтересует преимущественно специалистов, для которых издание войдет в список для обязательного ознакомления. Научный подход реализуется уже в предисловии Ю. Патюпы об истоках богдановичеведения (в тексте также сделан обзор литературоведческого контекста первой трети XX века). За эволюцией оценок творчества Максима Богдановича можно проследить по научным и критическим текстам 1920—1940 гг. Для некоторых из них публикация в этом сборнике — последний шанс остаться в истории: время не щадит старые журналы.

В первой части книги читатель может ознакомиться с аргументацией дискуссий на тему «Багдановіч — паэт чыстае красы ці не?» В следующем, архивном, разделе собраны материалы, связанные с работой над собранием сочинений М. Богдановича, личная переписка знакомых и родственников, отражающая некоторые эпизоды его биографии, а также воспоминания о классике Д. Дебольского и Л. Зайца. И если представителей широкой публики не отпугнет от книги архивная «тяжелая артиллерия», то заинтересовать ее могут как раз материалы воспоминаний.

Коллега М. Богдановича по Ярославской гимназии Д. Дебольский обратил внимание на начитанность будущего классика, его манеру декламации стихотворений. Вспомнил про его прекрасную память, которая позволяла запоминать страницы прозы и поэзии, и одновременно про неспособность к изучению иностранных языков (поэтому с французскими эпиграфами ему помогала Варвара Кокуева), рассказал про

отношение к женщинам и застенчивость. Друзья по гимназии могли наблюдать за становлением М. Богдановича как действительно белорусского поэта, белорусского не только из-за языка, на котором он писал, но и по самосознанию. Именно благодаря М. Богдановичу Д. Дебольский узнал о существовании белорусской литературы и даже стал постоянным читателем «Нашай Нівы», белорусскоязычной газеты.

Информация о семейном укладе Богдановичей подана Д. Дебольским тактично: факты не сопровождаются выводами. Достаточно, чтобы заинтересовать читателя, который будет теряться в догадках: почему дети Адама Богдановича от второго брака не входили в комнату старших братьев? Семейная привычка или боязнь туберкулеза?

В тексте воспоминаний, который приписывается Л. Зайцу, впечатляет идея-фикс М. Богдановича иметь ребенка от замужней женщины. Осознавая неизбежность скорой смерти, он хотел, чтобы ребенок воспитывался в семье, хотя понятно, как оторваны от реальности были его мечты.

Сборник «Максім Багдановіч: вядомы і невядомы» вписан в национальные традиции богдановичеведения и достаточно полно откомментирован (приведены краткие биографии всех авторов, истории и значение их публикаций).

Иная стратегия — научно-популярный подход — выбрана для сборника «Іван Шамякін: вядомы і невядомы». Писателю повезло, что у него был «семейный подряд»: жена, которая перепечатывала тексты, и дочери-филологи. Именно близкое окружение добавляет к уже известной литературоведам информации ту, что порой переворачивает представления о человеческом облике писателя.

Составителем этой книги стала дочь прозаика — профессор Татьяна Шамякина. Она же выступила и в роли автора энциклопедических данных о роде Шамякиных, и в роли мемуариста, и в роли литературо- и искусствоведа. Завершается книга повестью И. Шамякина «Слаўся, Марыя» — историей любви писателя и его жены. Структура и содержание книги осовременивают несколько одномерное восприятие личности Ивана Шамякина отечественным литературоведением.

Дочь писателя откровенно рассказала о семейном быте, об особенностях характера И. Шамякина и о том, как автор бестселлеров, богатый и экономный сверх меры, потерял состояние после распада СССР и изменил отношение к деньгам.

Несмотря на то, что у писателя было четверо детей, И. Шамякин жил будто бы параллельной жизнью, и в принципе, не жалуясь на память, не помнил важные моменты их детства. Дочь писателя объяснила этот обидный для себя факт не объективной занятостью отца творчеством и государственными делами, а особенными — самодостаточными — отношениями родителей. И предоставила слово И. Шамякину: повесть «Слаўся, Марыя!» рассказывает о всепоглощающей любви, которая не заканчивается после смерти.

Третью стратегию репрезентации образа писателя можно условно назвать мозаичной. Если академический подход продолжает литературоведческие традиции, а научно-популярный — дает другой целевой аудитории исчерпывающее представление о жизни и творчестве писателя, то в чем сущность мозаичной? В попытке усидеть на двух (даже трех) стульях, претендуя одновременно на публикацию архивных материалов (раздел, связанный с Н. Молевой) и мемуаров (А. Лойка «Уладзімір Караткевіч, або Паэма Гарсія Лойкі»), а также поэтических посвящений классику, выдержек из литературоведческих и критических текстов.

Парадокс полученной мозаики заключается в том, что образ «неизвестного» Короткевича создается в тексте литературоведа О. Лойко и в «молевском» разделе, а стихи-посвящения и цитаты из научных и критических исследований работают на «бронзовую статую» классика. Посвящения кажутся более интересными не в ряду однотипных текстов о писателе, а в контексте творчества их авторов.

Насколько адекватна мозаичная стратегия для репрезентации жизни и творчества В. Короткевича по сравне-

нию, например, с отражением жизни и творчества М. Богдановича или И. Шамякина? Абсолютно адекватна при двух условиях:

а) если о писателе написано много работ и опубликовано большинство архивных материалов;

б) если образ автора уже сформирован, удовлетворяет литературное сообщество и нет необходимости в работе с писательским имиджем в сознании современных читателей.

Книга «Васіль Быкаў: вядомы і невядомы» в определенном смысле представляет собой четвертую стратегию, дискуссионную. Имеется в виду, что в книге представлена одна сторона дискуссии, а о наличии второй и ее аргументах читатель либо осведомлен, либо догадывается.

В литературоведческом эссе В. Локун «Васіль Быкаў у кантэксце сусветнай літаратуры» писатель последовательно вписывается в мировую традицию военной прозы (автор также не забывает о белорусском и советском контексте), аргументация подкрепляется большим количеством сравнений и цитат.

Вторая часть книги, воспоминания генерала А. Сульянова «Василь Быков. Комбат. Писатель. Друг», невольно подталкивает к дополнительным рассуждениям о стратегии составителя книги. Воспоминания А. Сульянова напечатаны на русском языке. Неважно, на каком написаны, ведь, например, интервью З. Пригодича с А. Сульяновым в книге «Постаці», как и все другие интервью в ней, напечатано по-белорусски.

Для чего такая языковая разнородность? Возможно, это всего лишь случайность, например, не успели перевести текст на белорусский язык. Кстати, стилистическая специфика воспоминаний такова, что от перевода текст ничего не потерял бы.

Может ли в этом случае русский язык текста быть посланием? Возможно. Во-первых, из расчета на аудиторию, русскоязычную, ностальгирующую по советскому времени. Такая установка не может не влиять на содержание и пафос текста. Во-вторых, в языковом монолите воспоминаний В. Быков абсолютно русскоязычен, что не совсем соответствует действительности и определенным образом влияет на его имидж как белорусского классика.

Когда ближе к финалу А. Сульянов перечисляет государственные награды и премии Быкова, говорит об отношениях с властью («Василь Быков избирался депутатом… Василь Быков сам представлял власть»), то он отвоевывает «своего» классика у единомышленников позднего Быкова.

Таким образом, четыре стратегии, реализованные в четырех томах серии, соответствуют положению писателей в современном литературном процессе. Архивные материалы и воспоминания о М. Богдановиче, публикации в старых журналах — это недостающие звенья в литературоведческом осмыслении творчества и биографии классика белорусской литературы.

Научно-популярная стратегия, реализованная в книге об И. Шамякине, подходит при основательной работе с имиджем, на который целенаправленно влияют через подбор материалов о жизни и творчестве писателя, а также через специально подобранное его художественное произведение, оценка которого не зависит и не будет зависеть от эстетико-идеологической парадигмы, так как касается сферы морально-этической, т. е. вечных ценностей.

Если сборник о М. Богдановиче фактически объясняет, почему этот автор стал классиком, какова его роль в литературном процессе, а в сборнике об И. Шамякине происходит перекодировка образа писателя, то мозаичный сборник, посвященный В. Короткевичу, — это формат дополнительного чтения в условиях хорошей сохранности и опубликованности архивов, стабильности имиджа писателя.

Изменение взглядов В. Быкова, конъюнктурность некоторых поступков («зверские обстоятельства вынуждают иногда поступать вопреки себе, не как хотелось бы…») сделало его биографию и творчество «полем боя», где каждый новый автор должен принять чью-либо сторону, где пока невозможна объективность выводов.

Оксана БЕЗЛЕПКИНА

Мера жита — мера слова: жизнь!

Эту книгу ждали давно. Пусть и немногие, поскольку истинных ценителей поэзии сегодня стало до обидного мало. Но они есть. Немного, но есть. Скажем, автор этих строк — один из них. А что автор сборника, про который пойдет речь, поэт настоящий, говорит даже то, что он никогда не спешил издавать свои книги. Скромность, неумение «пробивать» себя — это тоже, поверьте, свидетельство поэтического таланта. Так, первый свой сборник стихов он издал, когда было ему уже за сорок, тогда как стихи его печатались, притом в самых серьезных литературных изданиях республики добрых лет двадцать, и многие в Беларуси известные стихотворцы и критики считали его поэтом. Речь пойдет об Анатоле Шушко и о его новой, второй по счету, книге стихов «Шаны».

Вот что в далеком 1981 году писал, представляя читателю стихи Шушко, знаток белорусской поэзии и, пожалуй, самый серьезный критик ее Варлен Бечик: «У жніўні 1971 года газета «Літаратура і мастацтва» надрукавала вершы Анатоля Шушко, семнаццацігадовага выпускніка-школьніка з палескай вёскі Сташаны. Якой важкай і цікавай творчай заяўкай здаліся вершы гэтага юнака! Былі ў іх і маладая ўсхваляванасць жыццём, і раздумлівая дапытлівасць, і назіральнасць, і псіхалагічная чуйнасць. Праглядвалі даволі выразныя рысы асабістасці, уласнага светаадчування. […] Толькі…». Скажу прямо: оставалось только отнести рукопись своей книги в издательство. Это, я уверен, сделали бы 99 из 100 молодых поэтов. А Шушко не сделал. И, надо сказать, не шибко об этом горюет, хотя жизнь преподнесла ему немало неприятностей. Издай тогда, в конце 70-х — начале 80-х, Анатоль Шушко свою первую книгу, ему было бы твердо застолблено место в каком-нибудь столичном издательстве или редакции. А так…

«Шан» — это мера жита в наших краях. Когда-то его, жито, ценили высоко. Это нынче хлеб, прости Господи, валяется под ногами…

Так вот, свою вторую книгу ПОЭЗИИ Анатоль Шушко назвал коротко и емко — «Шаны». Филолог по образованию, Шушко в свое время окончил филфак БГУ, белорусское отделение. Поэт глубоко, в корне знает белорусский язык, и тонко, просто филигранно пользуется, если можно так сказать, им в своем творчестве. Как истинный филолог, он, конечно же, не мог пройти мимо названия своей родной деревни Стошаны. И, конечно же, не мог не думать об этом, не писать. Отсюда и многие стихи Шушко, отсюда во многом и название книги. На мой взгляд, самое что ни есть точное — как для этой книги, так и для всего его творчества. И вместе с тем — это оценка, которую он сам дал своему творчеству и себе, как поэту. Возможно, а скорее всего, так оно и есть, совершенно не думая об этом.

Впрочем, об этом говорит во вступительной статье к книге А. Шушко известный белорусский поэт Виктор Гордей: «Назва кнігі выбраных вершаў «Шаны» таленавітага паэта Анатоля Шушко не выклікае пярэчанняў, хоць добра бачна, што гэты бліскучы наватвор не так ад слова «шанаваць», як лагічнае пераасэнсаванне назвы вёскі Сташаны Пінскага раёна, дзе аўтар нарадзіўся ў 1954 годзе і, скончыўшы

сярэднюю школу, а затым і філалагічны факультэт Белдзяржуніверсітэта, большую частку жыцця правёў у розных палескіх мясцінах. Працаваў рабочым і сельскім настаўнікам, выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры ў прафесійна-тэхнічным вучылішчы г. Пінска. Тут ён, дарэчы, жыве і цяпер».

И не просто живет. Сегодня, пожалуй, нет у нас поэта, который столько стихов посвятил бы родной «вёске», своим землякам. Эта традиция не является новой в белорусской поэзии, но многие «пра родную вёску» писали (и пишут) вскользь, «абы напісаць, адзначыцца». Шушко же делает это в полном смысле «ад шчырага сэрца», делает это не только талантливо, не просто талантливо, но вкладывая в слово душу:

Сто шан табе, мой лан, мой кут
З папінамі ля хаты!
Дзе ж адпачну, калі не тут,
Як птушанё, крылаты.

И далее: «Сто шан табе, сташанскі хлеб!

Стазыкая падзяка!
Ты і сягоння на стале
Ка мне не абыякі.

А третью часть своего стихотворения-триптиха из 100 поэтических строк «Сто шан для Сташан» поэт начинает не менее благодарно, всякий раз усиливая свое искреннее сыновнее отношение, благодаря рефрену, вынесенному и в название стихотворения — ШАНАВАННЯ-ПАДЗЯКІ:

Сто шан і вам, браткі мае,
Палешукі-руплі́ўцы!
Хай усяго для Вас стае
І у садку, й на ніўцы.

«Сто шан» бацькоўскай зямлі, свайму народу, роднай мове Анатоль Шушко, валодаючы псіхалагічнай дакладнасцю і рэдкай паэтычнай назіральнасцю, выказвае эмацыянальна, вобразна, яркімі штрыхамі і малюнкамі, у якіх адразу ўгадваецца непаўторны палескі каларыт». Это я снова цитирую статью Виктора Гордея, что предваряет книгу стихов «Шаны». Да, Анатоль Шушко полешук, о чем не раз признавался в своих стихах. В книге десятки стихотворений, в которых мы находим близкие и дорогие нам имена собственные — Стошаны, Пинск, Беловежская пуща, Полесье… Но он, поэт, в первую очередь, конечно же, белорус. Притом, белорус до мозга костей. Более того: свою БЕЛОРУССКОСТЬ, «беларускае слоўка» Анатоль Шушко в полном смысле слова впитал с материнским молоком. Его мама, Анна Григорьевна Сякерич, вскоре после войны приехала со Слутчины в Пинский пединститут, окончив который, была направлена в Стошанскую среднюю школу «выкладаць беларускую мову». Здесь, в деревне Стошаны, она обрела свое семейное счастье, здесь нашла и вечный покой. Хочется думать, что ТАМ ее согревают тихие, как видишь в стихотворении «У дзень нараджэння», а потому искренние, идущие из самой глубины слова сына — поэта Анатоля Шушко:

Мой ліпень, медазбор гадоў маіх,
Майго прыходу напамін прачулы.
Зязюля, не лічы пацІху іх,
Бо мама пераліку не пачула.
Яшчэ я той, якому толькі жыць,
Яшчэ крычу заўзята, беззаганна,
Яшчэ бяды не точаны нажы,
Не ведаю, что маці клічуць Ганнай.
Ты не трывож, сівенькую, яе.
Збалелая мінулым — аджывае.
Баліць ёй, бо з дарогі я не еў,
Баліць, бо не сустрэла з караваем.
Ты дум яе, узнёслых галубіц,
Не спудзь, прашу. На лёс не наракаю.
Прад маці прыпадаю долу ніц,
Які даўно і кожнага чакае.

Или вот это стихотворение, которое, кстати, так и называется — «Матулі». Хотя речь в нем далеко не на личные, семейные темы. А хотя, вполне возможно, для поэта и его матери ЭТО было самым, что ни есть, личным, самым важным, самым главным — в судьбе и жизни.

Даюць па пысе,
А я ўсё пруся
Да годнай, роднай —
Да Беларусі.
Да дасканалай,
Да самавітай,

Да вызначальнай
І сакавітай,
Каб ей на слова мяне люляла:
Кахала,
ведала,
зноў чакала…

В книге «Шаны» собрано немало стихотворений-посвящений. Отцу-фронтовику, родным и близким людям, любимой жене, что весьма символично — Любови, товарищам по литературному цеху, по жизни. На первый взгляд, это даже настораживает, но, вчитавшись, понимаешь, это оправданно. И не только потому, что стихи написаны мастерски. Читая книгу «Шаны», по сути, избранное поэта, невольно понимаешь, что все творчество Шушко — это одно большое ПОСВЯЩЕНИЕ — Родине, родной земле, ее людям, белорусскому языку, короче говоря, самому дорогому и близкому, что есть, что только может быть у человека. В данном случае — у поэта Анатоля Шушко. И это воспринимается, не как нечто частное, личное и субъективное, а как монолог, нет, как исповедь — Человека, Поэта. Исповедь перед Родиной, родной землей, природой, матерью… И написанному, точнее — сказанному поэтом веришь, ибо это сделано талантливо, сделано поэтически, мастерски.

Бурштынавыя ночы.
Чаромхавыя сны…
Зайздросны лёс дзявочы
У пространі вясны.

Анатоль Шушко одинаково силен во всех поэтических «жанрах», ему подвластны самые замысловатые стихотворные размеры, он нередко находит и выдает на-гора свой собственный стихотворный рисунок, что делает его стихи еще более привлекательными, интересными. Он и лирик, и публицист, не чужды ему балладность, эпичность. Весьма тонко и умело поэт вплетает в ткань стиха народную притчу, пословицу, поговорку. Оттого многие стихи его и сами становятся чем-то вроде притч, полесских бывалиц и небылиц. В книге «Шаны» четыре раздела — «Дома», «І насцеж, і наўсцяж», «А заранiцам спець» и «Дзесяцiладдзi». В принципе, стихи в них, исключая разве что последний раздел, размещены довольно условно. Впрочем, это не так и важно. Куда важнее то, что читая стихи Шушко, — одно за другим — постигаешь что-то новое в, казалось бы, давно известном. Ты как бы исподволь открываешь мир поэта. И когда входишь в него, понимаешь, насколько он богат, широк и нов — мир поэта Анатоля Шушко.

Мне гаманiць ВЕСНАВЕЙ
На БЕЛАРУСКАЙ мове.
На матчынай, на КРЭЎНАЙ,
Расiстай, зорнай, спеўнай.
Мне прасвятляе вочы
Душа яе прарочая:
Здаецца, што Айчыну
Нясу я за плячыма,
І гэты груз найважкi
З УСІМ
Зусiм не цяжкi.

Надо сказать, Стошаны известны белорусской литературе не только своим высоко поэтичным названием, что раскрыл читателю поэт Анатоль Шушко, но и тем, что в начале 70-х прошлого столетия в Стошанской школе учительствовал теперь широко известный белорусский поэт и прозаик Микола Купреев. Кстати, он как раз-то и учил будущего поэта. Впрочем, не только одного Шушко — в деревне Стошаны родился и вырос Микола Антоновский — талантливый поэт и журналист, близкий друг Анатоля Шушко. Они, оказывается, и жили по соседству, двор в двор. И дружбу, как и память про своего учителя и старшего товарища Миколу Купреева несут через годы. Впрочем, в благодарной памяти Шушко — Владимир Короткевич и Пимен Панченко, Василь Быков и Олег Лойко, Михась Стрельцов и Евгения Янищиц, Иван Рубин и Анатоль Сыс, Виктор Стрижак и Вячеслав Жибуль…

Ляцi, мой верш, заўжды да небакраю!
Як ты мяне сабой узгадаваў!
Балесны, крэўнасны,

Табе я раю,
Каб жыў і быў,
Каб верыу, граў і дбаў!
І пачуццем крынічным наталяўся.
А слова — кветкавала і цвіло!
Каб у любові толькі свету кляўся.
А зло цішком у Лету адышло.

Стихи Шушко хочется читать и перечитывать, их можно бесконечно цитировать — до того они метафоричны, образны, точны в описании предмета и при этом немногословны, да что там — стихи поэта, как и подобает настоящей поэзии, мудры. Предоставим снова слово автору вступительной статьи Виктору Гордею. «Жывапісную па малюнку і багатую на трапныя дэталі паэзію Анатоля Шушко, хоць і друкаваўся ён да крыўднага мала, не адзін раз згадвалі Уладзімір Калеснік, Алесь Марціновіч, Алесь Бельскі, а самыя першыя, яшчэ са школьнай лаўкі ягоныя вершы заўважыў і шчыра падтрымаў у артыкуле «Набыццё вышыні» выдатны беларускі крытык і літаратуразнавец Варлен Бечык».

От себя добавлю: книгой «Шаны» Анатоль Шушко поставил себя в один ряд с лучшими поэтами Брестчины — Миколой Засимом, Михасем Рудковским, Миколой Купреевым, Ниной Матяш… Думаю, творчество каждого из этих поэтов достойно дополняет (и украшает!) национальную поэзию Беларуси. Как и лучшие стихи Анатоля Шушко. Впрочем, он давно, с первых своих публикаций, в этом *пачэсным* ряду. Просто выход книги «Шаны» как бы узаконил это, подтвердил документально, что ли. Так что теперь и ему можно с полным на то основанием сказать: «Сто шан табе, паэт!»

Валерий ГРИШКОВЕЦ

Плач о себе

«Меж духом и словом»: Критические статьи, диалоги, эссе.
Минск: Літаратура і Мастацтва, 2012.

Эту книгу открывает статья о белорусском поэте с несложившейся и личной, и литературной судьбой — о Василе Годулько. Точнее, о единственной книге его стихов, изданных друзьями поэта спустя более десяти лет после его смерти. Но мы отложим свои замечания о ней на конец наших заметок. Начнем с судеб счастливых.

Чем, к примеру, не счастливо сложилась судьба журналиста и писателя Ерохина? Да, был тяжело ранен во время Великой Отечественной войны. Да, много, как говорится, на износ работал. Написал и опубликовал в главной газете страны, «Советской Белоруссии», десятки статей. Сполна получил любовь близких и полное уважение коллег и друзей… В конце жизни он тяжело болел… Да, умер, но ведь это всеобщий наш удел, так что болезнь и смерть можно вынести, как говорится, за скобки и поговорить о том, как он жил, как работал, чего добился на избранном в молодости пути. Обо всем этом и рассказывает в своей статье «Какой ты след оставишь?» Юрий Сапожков.

Или судьба выдающегося белорусского писателя Алеся Адамовича. Его судьбу тоже можно было бы назвать счастливой, если бы жизнь не оборвалась в расцвете творческих сил. Так мало прожил и так много сделал. Нет надобности перечислять его замечательные повести, сценарии, романы, — все знают и помнят их.

Или судьба Сергея Граховского. О, если бы не двадцать лет, которые он провел в местах весьма отдаленных!

Впрочем, каждая фигура в книге Ю. Сапожкова по-своему замечательная. И слова о каждом из них написаны с глубоким проникновением в души и строки.

Юрий Сапожков — известный поэт. Этим, то есть собственным талантом, своими художественными принципами и воззрениями объясняются многие его аналитические статьи. Как восхищает его чужое хорошее стихотворение, даже просто строка, слово! Но для этого мало самому быть поэтом, нужны еще и особые человеческие качества, способность сочувствовать, умение восхититься чужим образом, метафорой, строкой.

Способность к сочувствию — это природный, может быть, даже генный дар, его не обретешь никаким усилием. И этим даром Юрий Сапожков наделен вполне. Впрочем, как и способностью к непримиримой критике. Если уж он полюбил поэта, будет защищать его всегда и везде. И наоборот: если встретился ему непоэт, — узнает всю правду о себе. Даже если близкий друг написал слабый стих, пощады не жди, поскольку дружба, конечно, — высокое понятие, но есть у нее и соперница: Поэзия.

Критика… Разносим или превозносим — все критика. Статьи Юрия Сапожкова не хочется называть критикой. У авиаторов есть известный термин, вошедший в обиход и в иных областях жизни, — «разбор полетов». И как ни в какой иной области, этот термин хорош для поэзии. Неплохо выражает суть простое понятие «отзыв». Но и «отзыва» недостаточно. Правильнее всего — мысли. А мысли — это и есть, по выражению В. Белинского, «определение степени эстетического достоинства произведения».

Предлагая читателям новое имя, Юрий Сапожков часто рассматривает его особенности в поэзии вообще. Так, обращаясь к книге стихов Татьяны Шпартовой, он рассуждает о так назы-

ваемой женской, но не примитивной, а высокой женской поэзии. Перечитывая стихи Натальи Казаполянской, говорит о таком ферменте поэзии, как новизна. Анализируя стихи Натальи Кучмель, размышляет о живой глубине ее лирики и т. д.

«В поэзии пунктир иногда выразительнее сплошной линии, — пишет Ю. Сапожков. — Кажется, что в нем больше воздуха для жизни стиха. Он — следы, приводящие к мысли». Эти строки являются вступительными к рецензии на книгу миниатюр известного белорусского поэта Алеся Рязанова «Дождж: возера ў акупунктуры: пункцiры». В собственной поэтической практике Ю. Сапожкова миниатюр, написанных белым стихом, нет, но для его критического пера характерно умение проникнуть в мышление иного поэта, даже далекого ему по поэтике.

«Драгоценное вещество поэзии Рязанов добывает из самого, казалось бы, обычного, доступного всем «сырья» жизни. Вот падает с ветки яблоко…

Яблык упаў.
Шукае
Галіна ранейшую раўнавагу.

Мне, недавно потерявшему сына, понятен этот простейший образ во всей трагедийности подтекста. Трудно, порой невозможно, ветке, потерявшей плод, найти равновесие…»

Замечу, что магии имен для Юрия Сапожкова не существует. Не вполне сложившиеся или не наполненные содержанием стихи вызывают в его душе протест. «Красивый мазок, удачная зарисовка, — говорит он о некоторых строчках Алеся Рязанова. Второго плана здесь нет. Мысль ничто не пробуждает… Иной поэт мог бы ими гордиться. Но не Рязанов. Это облака, которые не прольются дождем».

Знаю, что стихи Юрий Сапожков пишет легко и быстро, а статьи — долго. Как, например, о Блаженном: оставлял написанное, начинал сначала, возвращался… Несколько месяцев занял труд. Зато статья получилась основательная, многое объясняющая в жизни и творчестве этого для многих странного и загадочного поэта.

Читатель (и, конечно, писатель) всегда сближается с хорошим автором в процессе чтения, тем более — при написании рецензии, когда он размышляет над словом, фразой, а порой и над судьбой писателя, сравнивает со своим опытом и мыслями, со своей жизнью. В статье о творчестве Миколы Кондратова и Оксаны Спринчан, в разговоре о моде и старомодности в поэзии Юрий Сапожков пишет: «Теперь у некоторых молодых поэтов ямб и хорей не в чести… Да говори как заблагорассудится, пиши как хочешь, хоть танцуй, идя за сохой (чему удивлялся Толстой), только дай моей душе ахнуть от радостного удивления, дай разуму моему научиться у твоего».

Читая книгу, видишь, как тщательно Ю. Сапожков изучал тексты. В результате статьи получались не менее интересными, нежели собственно авторское произведение. Относится это и к прозе, которую он анализировал так же профессионально и пристрастно как стихи. Это и статья об автобиографической книге Любови Турбиной «Огни на воде», и о граждански страстной книге-мартирологе сербского писателя Живоина Павловича «Баланс советского термидора» (перевод Ивана и Алексея Черота), и аналитическая статья с названием «Князь в доме напротив» — о романе автора этих строк «Князь Мстиславский». Об исторических произведениях Ю. Сапожкову прежде писать не приходилось. Посему нужна была некая точка отсчета, и ей послужила «Капитанская дочка» А. Пушкина. Заново перечитал, изучил, обдумал и только тогда взялся за сопоставления.

Характерно для метода Ю. Сапожкова — совмещение анализа с собственными размышлениями и воспоминаниями. И, конечно, интонация текста: она ведет за собой. Неверная интонация — мысль тащится за словом. Верная — бежит впереди.

В прошлом Юрий Сапожков — известный журналист. Отсюда его особое внимание к факту, интерес к нему и умение видеть за ним человека, а порой и судьбу. Многие, если не большинство, узнав об увлечении некоего чело-

века эпитетами к слову любовь, о том, что он написал такую книгу (Анатолий Бесперстых), улыбнулись бы и забыли, но Ю. Сапожков увидел необычную, огромную творческую работу длиной, собственно, в жизнь.

Тексты Ю. Сапожкова оснащены высокими именами. Наверно, можно написать несколько удачных стихотворений или рассказов, не будучи сильно осведомленным в мировой поэзии, но написать даже одну проблемную статью без помощи и союзничества мировой культуры невозможно. В книге «Меж духом и словом» встречаются имена писателей разных стран, причем, строго по существу разговора, а не ради того, чтобы показать свою образованность, пустить пыль в глаза читательской и особенно писательской публике. Потому он имел полное право на равных беседовать с такими деятелями литературы, как всемирно известные Евгений Евтушенко, Джулиан Барнс, Андрей Макин. И здесь нельзя не вспомнить статью Юрия Сапожкова о Сергее Есенине — о собственном понимании поэзии и жизни своего великого земляка.

Одна из самых содержательных статей в книге — «Последняя пастораль» — о книге Алеся Адамовича «…Имя сей звезде Чернобыль». «Со страниц ее магически, будто живой, зазвучал страстный, аввакумовский голос великого гражданина Беларуси…» Статья эта не только о творчестве, но и о личности выдающегося писателя, о его борьбе с советской бюрократией, то есть о его общественной деятельности, и написана она с темпераментом, подобным темпераменту самого Адамовича.

Он, русский и по крови, и по месту рождения (Рязань), близко принял и язык белорусского народа, и белорусскую поэтическую культуру. Именно этим объясняется возникновение таких статей о белорусских поэтах, как «Философия счастья» об уже упоминавшемся Василе Годулько, «Совершенство тишины» — о Наталье Казапольянской, «Когда любишь» — о Наталье Кучмель, «Гольфстрим реализма» — об Алесе Рязанове, «Бабочка на ладони» о Раисе Боровиковой и др.

«Название книги «Меж духом и словом», — пишет автор предисловия Алесь Карлюкевич, — исходит из попытки автора уловить и объяснить тончайшее расстояние между дословесным ощущением того, что хочет выразить поэт или писатель, и тем, в какие слова облекают они свои мысли и чувства».

Когда поэт пишет о другом поэте, особенно с трудной или вовсе не удавшейся судьбой, он пишет о себе. Конечно, не сравнить несчастную жизнь Василя Годулько и жизнь Юрия Сапожкова — образованного, уважаемого, признанного. Но ведь в юности мы все равно мечтаем о большем, о том, что теперь, на склоне дней, ясно — пролетело мимо, не поймаешь и не догонишь, и потому понятно, что плач Сапожкова о Годулько — это плач о своей жизни, о своей поэтической судьбе. Но «что-то обрывается в сердце, когда читаешь о ничтожной малости, достаточной человеку для того, чтобы ему почувствовать себя благодарным за нее», — пишет он о Василе Годулько, себе и обо всех нас.

Все хорошие книги, не говоря уже о великих, появляются вовремя, — говорит Юрий Сапожков о произведениях А. Адамовича. Это же можно повторить о книге «Между духом и словом».

Олег ЖДАН

Книжная полка

ВЫБОР БОРИСА КАЗАКЕВИЧА: ПРЕДЛАГАЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВО БЕЛОРУССКОГО ЭКЗАРХАТА

А. СТЕЦКЕВИЧ-ЧЕБОГАНОВ. Я — сын Ваш. Летопись белорусской шляхты.

Казановичи герба «Гржимала». *Мн.: Издательство Белорусского Экзархата, 2012.*

Пожалуй, самый неординарный представитель этого шляхетного рода — Борис Казанович. Тот самый, который, как заметил Алексей Толстой в трилогии «Хождение по мукам», «любил войну за ее пышный размах, за музыку боя, за громкую славу побед». Алексей Николаевич не случайно взял его черты для создания обобщенного образа офицера Добровольческой армии, «прокаленной насквозь железной дисциплиной, поражаемой и отступающей, но, как механизм, послушной воле единого командования», в борьбе с красными в Гражданскую войну. Будучи врагом советской власти, Казанович, вместе с тем, был истинным патриотом, преданным своей Родине. Как и другие представители этого рода, историю которого А. Стецкевич-Чебоганов проследил на протяжении пятисот лет. Берет же свое начало род Казановичей от двух братьев — Гавриила и Яроша, живших в XVI столетии в Могилеве. Шесть Казановичей, например, героически сражались в Отечественную войну 1812 года. Однако не одними мужчинами славен это род. Так, Евлалия Казанович стала одной из основателей Пушкинскго дома, а Александр Блок записал ей в альбом свое последнее стихотворение «Пушкинскому Дому». Ко всему, она записывала фольклор, лучшие образцы которого представлены в этой книге. Благодаря А. Стецкевичу-Чебоганову с удовольствием открываешь для себя и еще одну интересную личность из этого славного рода. Это дочь Бориса Казановича Елена. Жизнь ее, как и жизнь ее мужа, по сути, также своего рода «хождение по мукам». Она совершила своего рода духовный подвиг, на что обращает внимание в предисловии к книге доктор историко-филологических наук, профессор истории Русской Церкви и русской философии Свято-Сергиевского богословского института в Париже, председатель Родословной комиссии Союза русских дворян Д. Шеховской: «Дневники Елены Борисовны удачно дополняют историю рода Казановичей и, несомненно, являются определенным вкладом в мемуарную литературу». А еще она в 1918 году спасла икону «Образ пресвятой Богородицы Могилева-Братской» и сохраняла ее в эмиграции. Эта православная святыня в 1995 году была возвращена городу Могилеву и находится ныне в Могилевском Свято-Никольском монастыре. В новой книге А. Стецкевича-Чебоганова представлены и родственные Казановичам роды Островских, Данненбергов, Свентицких, Кануковых, Кигнов, Эренушей, Ушаковых, Карповичей. Вряд ли она оставит кого-либо равнодушным, ибо как и предыдущие книги этого автора (вышли первая, третья и четвертая), убеждает в том, что всегда, невзирая на то, как складываются жизненные обстоятельства, важно верой и правдой служить своему Отечеству. А кто по-настоящему любит Родину, не может не учить этому и других. Лучший пример тому то, что делает А. Стецкевич-Чебоганов, отдавший своей исследовательской работе двадцать лет и раскрывший историю сорока шляхетных родов. О значимости этого

труда красноречиво свидетельствует то, что его книги уже хорошо известны не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.

Преподобный НЕСТОР Летописец Печерский (Пересказал для детей Мартинович Александр Андреевич). 3-е изд.
Мн.: Белорусская Православная Церковь. Издано при участии ООО «Семья — Единение — Отечество» и ООО «Спутник Христианина», 2012.

Преподобный Сергий РАДОНЕЖСКИЙ Всея Руси Чудотворец (Пересказал для детей Кудласевич Анатолий Алексеевич). 4-е изд.
Мн.: Белорусская Православная Церковь. Издано при участии ООО «Семья — Единение — Отечество» и ООО «Спутник Христианина», 2012.

Святой богатырь ИЛИЯ из Мурома (Пересказала для детей Масленицина Ирина Александровна). 4-е изд.
Мн.: Белорусская Православная церковь. Издано при участии ООО «Семья — Единение — Отечество» и ООО «Спутник Христианина», 2012.

О популярности этих небольших книжечек, как и других, в которых рассказывается о святых православной церкви, красноречиво свидетельствует то, что они быстро расходятся, а поэтому неоднократно переиздаются. Для написания их привлекаются известные писатели и журналисты. Необходимый материал излагается живо, доходчиво, учитывается специфика подобных изданий, рассчитанных прежде всего на детскую аудиторию. Ко всему, в них помещен богатый иллюстрационный материал. Несомненно, книжечки эти можно с успехом использовать для православного образования, в том числе и в воскресных школах. Не лишними они будут и в семьях, где чтят православные традиции.

Алексей ОСИПОВ. Православие и духовная безопасность.
Мн.: Белорусская Православная Церковь, 2012.

Оказывается, есть и такая безопасность — духовная. Важность ее для государства нисколько не меньше, чем, скажем, безопасность военная, экономическая, продовольственная. Поскольку человек, не имеющий четких духовно-нравственныхе ориентиров, отрицающий моральные ценности или утративший их, также представляет собой реальную угрозу для общества. Автор этой книги, доктор философских наук, профессор Алексей Осипов обращает пристальное внимание на те актуальные проблемы, без решения которых невозможно говорить о национальной безопасности нашей страны. Особое внимание обращено на то, какая роль в этом принадлежит Православию. Именно оно имеет богатейший духовно-нравственный потенциал, заботится о сохранении личности. Важно также значение его и в «приобщении наших людей, прежде все подрастающего поколения, к вековым культурным и религиозным ценностям своего народа».

Имена

Истоки — в Ашхабаде

Прозаика, поэта, драматурга, публициста, детского писателя Василя Ткачева (родился в деревне Гута Рогачевского района, на Гомельщине, 1 января 1948 года) хорошо знают в Беларуси. С 1980 года он живет в Гомеле. Автор многих книг, в том числе романа «Дом коммуны». За книгу прозы «Снукер» в 2011 г. удостоен премии Федерации профсоюзов Беларуси в области литературы. По пьесам Василя Ткачева поставлены десятки спектаклей в театрах Беларуси, России и Казахстана. В судьбе белорусского литератора был и туркменский отрезок жизни. Кстати, не такой и маленький по своей продолжительности.

В 1973 году Василь Ткачев после окончания факультета журналистики Львовского высшего военно-политического училища Советской Армии и Военно-морского флота попал на службу в столицу Туркменистана, самой южной и самой жаркой республики, — Ашхабад. В редакцию многотиражной солдатской газеты «За Родину». Главным редактором тогда был майор Юрий Поваляев, известный в Ашхабаде журналист. Служил Василь Ткачев военным корреспондентом до 1978 года. А после увольнения из армии работал старшим редактором газетно-журнальной рекламы комбината «Туркменторгреклама». В 1980 году вернулся на родину, в Беларусь. Работал корреспондентом в многотиражке «Сельмашевец» и в областной газете «Гомельская правда». В 1989 году Василя Юрьевича приняли в Союз писателей СССР и сразу же избрали председателем областной писательской организации, которую он возглавлял 15 лет.

Еще до приезда в Ашхабад журналист активно занимался литературной работой. Начиная с 1965 года, печатался в белорусской газете «Літаратура і мастацтва». В 1967 и 1970 гг. стихотворения Василя Ткачева печатались в коллективных сборниках «Написали книгу сами» и «Родник». Когда Василь после срочной службы поступил в военное училище, он по-прежнему писал литературные произведения и на белорусском языке. Рассказы и стихотворения посылал в журналы «Бярозка» и «Вясёлка», газету «Літаратура і мастацтва». В 1973 году рассказы молодого прозаика были опубликованы в газетах «Во славу Родины» (газета Белорусского военного округа, сейчас выходит в Минске под названием «Белорусская военная газета») и «Чырвоная змена».

...1973 год. Молодой журналист приезжает в Ашхабад. Пишет для своей многотиражки «За Родину», окружной газеты «Фрунзевец» (ее редакция находилась в Ташкенте. Кстати, в годы Великой Отечественной войны активным автором «Фрунзевца» был народный поэт Беларуси Якуб Колас, живший в столице Узбекистана в эвакуации). Через многие годы Василь Юрьевич опубликует и такую лирическую запись о первых своих ашхабадских впечатлениях: «В 1974 году ко мне в Ашхабад приехала погостить мама. Работала она учительницей, преподавала в Исканской восьмилетке Быховского района белорусский язык и литературу, а также геометрию. Туркменистан как раз был в трауре — умер народный писатель, гордость нации — Берды Кербабаев. Мама, понятное дело, тоже слышала о нем, знала его произведения.

Мы купили красивый букет цветов, пошли на похороны. И она там, когда проходили у гроба, прослезилась и как-то по-детски наивно посмотрела на меня: мол, такой великий человек был и не стало... при славе... только бы жить... Вот так, сынок...

Позже в доме, где жил Берды Кербабаев, сделают музей. Я водил туда несколько раз двух своих сыновей...»

Василь Ткачев познакомился со многими туркменскими писателями. Подружился с Азатом Рахмановым. Часто встречался с замечательным поэтом Юрием Рябининым.

— Какими творческими планами жил? — переспрашивает меня, готовясь к ответу Василь Юрьевич. — Многое дало знакомство с коллегами по литературному, журналистскому цеху. В памяти — встречи с писателем-фронтовиком Аширом Назаровым...

— Знаю, что он воевал в Беларуси, — уточняю я.

— И мне Ашир рассказывал о боях под Витебском. Замечательный был человек. Я даже хотел что-то из его произведений перевести на белорусский язык. Разумеется, по подстрочникам. Но как-то не сложилось. Планы так и остались планами... Хорошо помню замечательного поэта и прозаика Бердыназара Худайназарова. Часто встречался с русскими литераторами, которые жили, работали в Ашхабаде: Николаем Золотаревым, Владимиром Пу, Икаром Пасевьевым, Эдуардом Скляром... Когда последний раз приезжал в Ашхабад — в 1991 году — у касс Аэрофлота (это на проспекте Свободы, где тогда размещался отель «Ашхабад») встретился с прозаиком, публицистом Василием Шаталовым. Удивительно симпатичный, добрый человек. Наговорились вволю, многих вспомнили.

В 1970—1980-ые годы в Туркменистан приезжали многие белорусские писатели. Олег Лойко, Максим Танк, Любовь Филимонова, Павел Мартинович, Виктор Шимук, Янка Сипаков, Рыгор Бородулин, Бронислав Спринчан, Геннадий Пашков... Наверное, еще кто-то...

У Пашкова о Туркменистане и замечательные стихи остались... Позволю себе передать содержание одного из них:

Ад пырскаў сонца і вады
ажно гараць лускою
чароды рыб, і чараты,
і катэр пада мною.

Што пальцы волатнай рукі,
арыкаў паралелі.
Здаецца, скрозь мацерыкі
ад жарыні памлелі.

І на выносных крылах хваль,
ажно застыла сэрца,
ускінуў смерч
сваю вуаль —
вось-вось
мяне кранецца.

Нібы прамчаўся
на арбе
афганец —
пыл і восы, —
і бераг
радасна табе
крычыць,
звонкагалосы.

Бархан рудзее,
зверху — кобчык,
бы знак пустыні
цэнтравы:
на жарабцовым крыжы
хлопчык
стаіць —
і шапка з галавы.

— Это стихотворение называется «Каракумский канал». Знаю его по книге Геннадия Пашкова «Гравюры дорог». А вот тогда, в 1970-ые, в Ашхабаде встретился только с Рыгором Бородулиным...

И как выясняется, произошло это случайно. Рыгора Ивановича Василь Ткачев знал еще в Минске. Встречался Василь Юрьевич с поэтом на квартире у своего земляка Миколы Чернявского, детского поэта. В Ашхабад Рыгор Бородулин приехал вместе с белорусскими киношниками снимать документальный фильм о Туркменистане. «Я часто бывал в русском театре имени А. С. Пушкина, хорошо был знаком с главным режиссером белорусом Георгием Нестером, — рассказывает Василь Ткачев. — Дружил с актерами Юрием Морозовым, Владимиром Бершанским, с отцом и братьями Краснопольскими, Владимиром Коломаком… Прихожу однажды в театр, а там — творческий вечер писателей. В фойе меня увидел Рыгор Иванович. Обнял при всех, искренне обрадовался встрече...»

Когда В. Ткачев жил в Ашхабаде, в Минске в 1975 году вышла его первая книга рассказов, адресованная детям, — «Хитрый Данька». 15 экземпляров первой книги 27-летнего автора прислал в Ашхабад своему другу и

земляку Микола Чернявский. 14 из них остались в столице Туркменистана — у новых друзей Василя. Особенно плодотворным для молодого писателя был 1976 год.

— Тогда в Минске мои белорусские рассказы опубликовали журналы «Бярозка», «Весёлка», — вспоминает Василь Юрьевич. — Подборки коротких рассказов увидели свет на страницах «Гомельскай праўды», минской «Настаўніцкай газеты»...

В ашхабадский период Василь Юрьевич работал и над рассказами, которые затем вошли в книгу «День в городе» (Минск, 1985 год). Вот названия рассказов, созданных в Ашхабаде: «Казан, «Шапка», «Гармошка», «Двойка», «Сумка», «Сын приехал»... В некоторых произведениях — туркменские мотивы. Так случилось, что и меня судьба после Львовского политического училища в 1985 году забросила в Ашхабад. Служил в той же редакции, что и Ткачев, — в редакции многотиражки «За Родину». Подружился с братом Василя — Михаилом (он жил в квартире старшего брата — по улице Атабаева, 19). А также — с радиожурналистом Владимиром Грачевым — он тоже хорошо знал Ткачева-старшего. Сам Василь Юрьевич жил уже в Гомеле, в Беларуси. И брат писателя, и радиожурналист много рассказывали про Василя, рассказывали о том, как он работал над белорусскими текстами, как на работе и дома обкладывался словарями, как старательно вспоминал и записывал в блокноте отдельные белорусские слова, изречения, поговорки. О том, как внимательно читал белорусскую периодику, которую выписывал из Минска. И где-то в конце 1970-х произошла такая история... Вспоминает Василь Ткачев: «...Пять лет на адрес моей ашхабадской квартиры по улице Атабаева, 19, приходили письма и открытки от родных, друзей и из редакций. Приходили также газеты и журналы. Из Минска. Получал еженедельник «Літаратура і мастацтва», «Чырвоную змену», «Бярозку», «Вясёлку» — те издания, одним словом, в которых иногда печатался... Однажды в почтовом ящике я взял «Звязду», что попала туда, как я сразу догадался, случайно, почтальоны ошиблись, но краем глаза я посмотрел на адрес, по которому газета должна была быть доставлена, на фамилию подписчика: Н. Калинкович. Кто такой? Известно, земляк. А больше ни о чем тогда мне эта фамилия не говорила. До определенного времени. Через несколько дней я открыл двери (Николай опередил меня, а я собирался к нему) круглолицому, красивому и ладно сбитому парню роста выше среднего. По улыбке на лице сразу догадался: земляк! Здесь, в далекой Туркмении, встретить земляка — настоящее событие! Гость представился: это был он, хозяин «блудного» номера «Звязды». Н. Калинкович принес мне «Чырвоную змену». Попросил прощения, что не удержался, распаковал газету. То же самое сделал и я...»

Так Василь Ткачев познакомился в Ашхабаде с другим писателем-земляком. Николай Калинкович, который родился в Лунинецком районе, на Брестчине, жил в Ашхабаде в 1979—1984 гг. В 1984 году Николая приняли в Союз писателей СССР. В 1981 и 1990 гг. в Минске вышли две его разных книги под одним названием — «Лунинец». В 1985 — историко-краеведческий очерк «Полесские дни Александра Блока». А в Ашхабаде изданы книги Николая Калинковича: «Не обрывается земная связь» (1982), «Имя мое — Свобода» (1984), «Возвращение рассветной рани» (1987). В Туркменистане уроженец Брестчины, друг Василя Ткачева активно печатался в газетах «Комсомолец Туркменистана», «Вечерний Ашхабад», «Ташаузская правда», «Туркменская искра», журналах «Ашхабад», «Совет эдебияты».

— С Николаем мы обсуждали свои первые произведения, — вспоминает Василь Юрьевич. — А еще вместе ходили на футбол смотреть игру ашхабадской команды «Колхозчи», с интересом наблюдали игру техничной «семерки» Курбана Бердыева, за которым и сейчас пристально слежу: он стал выдающимся тренером, особенно ярко раскрылся его талант в казанском «Рубине»... С ним же работает и бывший прекрасный центральный защит-

ник «Колхозчи» Якуб Уразсахатов. Рад их успехам. Молодцы. Рассказывая об Ашхабаде, не могу не вспомнить поэта Мухамедмурада Комекова. В детской газете «Мыдам тайяр» он опубликовал в своем переводе на туркменский мои первые детские рассказы, написанные на русском языке. Дебют оказался удачным, меня заметили. Азат Рахманов предложил к публикации в «Пионере» мою небольшую повесть об армии. Я и познакомил туркмена Азата Рахманова и белоруса Миколу Чернявского. Микола много переводил стихотворений Азата на белорусский. А с Атамурадом Атабаевым я впервые выступал на текстильной фабрике перед читателями. Не помню, что я там говорил, но помню, что Атамурад дал мне почитать «Дружбу народов» со своими стихотворениями. Так получилось, что вскоре я уехал в Гомель. И журнал увез с собой. И сейчас этот журнал в моей библиотеке. Беру его в руки и вспоминаю Атамурада Атабаева, молодого, красивого, талантливого. Извини, дорогой друг, что так получилось. Но стихи Атамурада и теперь меня согревают, напоминают о любимом Туркменистане.

...Ничто в жизни не проходит бесследно. Так и в судьбе белорусского писателя Василя Ткачева Ашхабад оставил свой зримый след. Здесь, в Туркменистане, он написал многие свои произведения. И первую пьесу на белорусском языке — «Инкогнито» — тоже написал в Ашхабаде... И еще он мечтает когда-нибудь снова побывать в Туркмении, вернуться в страну своей молодости. Хотя бы на несколько дней. Ему есть кому пожать там руку.

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ

Эпоха

Трагедия, жизнь и покой Мастера

Издательство «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» выпустило книгу А. Варламова, посвященную творчеству Михаила Булгакова. Целиком и полностью с ним согласен: нельзя рассматривать все творчество писателя (а не только «Мастера и Маргариту») в отрыве от конкретных обстоятельств его жизни, более того — судьбы целого поколения русских людей, а в конечном итоге и всей России.

Да, дед Михаила Афанасьевича был православным священником, а отец — профессором Киевской Духовной Академии. Ну и что? В те времена церковная среда переживала острейший кризис. Внутри церковной ограды находились одновременно и будущие новомученики, и их палачи-революционеры (чего стоит хотя бы один грузинский семинарист…), и изменники-обновленцы. Вопиющие факты террора, покушений и убийств, поджоги, погромы, стрельба и даже взрывы в стенах духовных учебных заведений, начиная с 1905 г., достаточно известны. Приведем некоторые яркие примеры из книги И. Ф. Кошко «Воспоминания губернатора» Пг., 1916г.:

«Следствие напало неожиданно на следы целой шайки поджигателей, сорганизованной не более не менее как местным священником, очень уже пожилым человеком. Улики против священника были так велики, что прокурорский надзор взял его под стражу и отправил в Пензенскую тюрьму, как более надежную. Жандармская полиция параллельно производила расследование о деятельности этого священника и получила прямо изумительный материал. Он оказался ярым революционером, имевшим связи чуть ли не с центральными организациями».

«Ученикам пензенской семинарии принадлежит, кажется, инициатива организации «семинарского союза»…

Этот союз так терроризировал начальство, что во многих семинариях оно окончательно оробело и хозяевами положения стали семинаристы. Они, например, почти перестали ходить в церковь, считая религию предрассудком, которым не может быть одержим просвещенный ум сознательного семинариста».

«Вскоре после экзаменов, когда ученики были уже распущены, следовательно примерно в начале июня, о.ректор, покончив с утренними занятиями, возвращался около часа дня к себе домой. Когда он приблизился к большому кусту сирени, расположенному почти у самой калитки, к нему на двор, из-за куста выскочили два молодых человека в черных рубахах и дали по нему несколько выстрелов. Ректор тут же упал мертвым… Сам я поехал на место убийства вместе с полицмейстером. Судебные власти еще не прибыли и труп лежал на том же месте. Около него собралась кучка великовозрастных семинаристов, не успевших еще уехать на каникулы. Не только не было заметно на лицах их какого-либо волнения, а многие даже пересмеивались и покуривали папиросы».

«В другой части уезда, где расположены были имения князя Кугушева и Н. Н. Ягодинского, во главе поджигателей стоял местный диакон-пьяница. Доказательств его участия в этих преступлениях никак не удавалось получить, хотя при негласном расследовании оно подтверждалось весьма многими показаниями. Диакон этот был выслан в отдаленные губернии».

«В окрестностях… имения… было действительно весьма беспокойно, даже местный батюшка был прикосновенен к политике и нискольно этого не скрывал, а его дети были ярыми революционерами».

«Особенно ярко было участие духовенства в революции до роспуска первой Государственной Думы, когда вся Россия, чуть ли не до самого правительства Витте включительно, ожидала полного торжества революции».

В завершении этих более чем страшноватых цитат приведем случай из жизни Ардонской Александровской миссионерской семинарии (центральная Осетия), происшедший в марте 1906 г. «Один из воспитанников ночью, когда все спали, пробрался в церковь и всыпал в евхаристическую чашу сильнодействующий яд — стрихнин. Лишь по чистой случайности инспектор семинарии иеромонах Мефодий (Красноперов), придя в храм для совершения Преждеосвященной литургии, заметил в заранее приготовленных сосудах ядовитый порошок» (Г. Э. Щеглов. Степан Григорьевич Рункевич (1867—1924): Жизнь и служение на переломе эпох. Мн. 2008).

Страшное время, жесточайшие искушения для верующей души, трагедия и гибель императорской России. Последний Государь пишет в своем дневнике 2 марта 1917г.: «Кругом измена и трусость, и обман». Изменил ли, струсил ли Булгаков, поддался ли большевицкому обману? Нет, он ушел в белую гвардию. Мог ли утративший веру человек сохранить верность, написать потом «Белую гвардию» как личное воспоминание? В. Я. Лакшин пишет об этом: «Первые обнаруженные булгаковедами публикации в газетах Грозного и Владикавказа относятся как раз к концу 1919 и началу 1920 года. Некоторые из сохранившихся фрагментов, не станем этого таить, носят откровенно «белогвардейский» характер: Булгаков пишет об отречении Николая II как об историческом несчастье».

Но испытания веры на этом не завершились, лишь только усугубились. Белое движение несло в себе явную заразу интеллигентского безбожия, неслучайно владыка Вениамин (Федченков) писал о «белых большевиках».

Катастрофическая эвакуация Крыма, трагическая судьба талантливого генерала-кокаиниста Я. И. Слащева (прототип Хлудова — «Бег») — только единичные иллюстрации развергшейся бездны.

«Хоть с самим дьяволом, но против большевиков» — этот лозунг продержался до самой Второй Мировой войны, когда определенная часть белой эмиграции воевала на стороне Гитлера (не путать с власовцами).

Итак — полное поражение. Заболевший тифом белогвардеец Михаил Булгаков в эмиграцию опоздал. Там оказались его родные братья Иван и Николай, а сам он неминуемо превратился в эмигранта внутреннего и столкнулся с двумя острейшими проблемами.

Повседневная борьба за выживание (минимальный житейский комфорт придет потом). 9 февраля 1922 г. Булгаков пишет в дневнике: «…Мы с женой голодаем… валенки рассыпались» («Под пятой»).

Осознание в себе таланта писателя. 2 сентября 1923г.: «Среди моей хандры и тоски по прошлому, иногда, как сейчас, в этой нелепой обстановке временной тесноты, в гнусной комнате гнусного дома у меня бывают взрывы уверенности и силы. И сейчас я слышу в себе, как взмывает моя мысль и верно, что я неизмеримо сильнее как писатель всех, кого я ни знаю» (там же).

Как реально совместить эти две, казалось бы, трудносовместимые вещи? Булгакова посещают сомнения: «В минуты нездоровья и одиночества предаюсь печальным и завистливым мыслям, горько раскаиваюсь, что бросил медицину и обрек себя на неверное существование. Но, видит Бог, одна любовь к литературе и была причиной этого. Литература теперь трудное дело. Мне с моими взглядами, волей-неволей отражающимися в произведениях, трудно печататься и жить (26 октября 1923г., там же).

Кстати, мысли о Боге возникают на страницах булгаковских дневников постоянно. Вот запись от 5 января 1925 г.: «Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера «Безбожника», был потрясен. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее: ее можно доказать документально — Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Нетрудно понять, чья это работа. Этому преступлению нет цены» (там же). Думается, что человек неверующий написать так просто не мог. И как результат — неизбежный конфликт с безбожной властью, визит агентов ОГПУ, обыск, изъятие рукописей и дневников 7 мая 1926 г.

Писатель изначально искал «ассиметричный» ответ: родилась самая боевая и ядовитая сатира, направленная против фундаментальных научно-коммунистических основ Советской власти. Это, как известно, «Роковые яйца» и «Собачье сердце». По моему личному мнению ничего лучшего в этом роде никем написано не было даже и до сего дня. Надо ли говорить, что в своей внутренней эмиграции Булгаков был отнюдь не одинок? В. Я. Лакшин описывает случай, происшедший на одном из спектаклей «Турбиных»: офицеры на сцене запели: «Боже, царя храни» и часть публики встала!

В ответ — жестокая травля. Зло торжествует, Булгаков отлучен и от литературы и от театра, вновь идет речь о простом выживании. Когда, при каких обстоятельствах в нем могла надломиться вера?

Вновь повторим: этот человек вместе с целым народом сумел пережить крах старой России, поражение белого движения, террор, голод, гибель миллионов людей, лютые гонения на Церковь. Море победоносного Зла казалось беспредельным, Бог отказался от России, оставил ее на растерзание дьяволу: мысль, характерная для тех лет, отчетливо отражена в романе П. Н. Краснова «Белая свитка».

«Русская молодежь… говорила о том, что ее смущало: о судьбах России, о будущем России. Хватались за оккультизм, думали при помощи тайных сил заглянуть в будущее… Бог, должно быть, бессилен. Надо тогда молиться другому. Просить того, другого восстать на Бога и спасти Россию… Помешать Богу погубить Россию». Безумное кощунство и глубочайшее отчаяние, новая редакция лозунга «Хоть с дьяволом, но против большевиков!» Сейчас нечто подобное просто невозможно себе представить, но так было.

А. Л. Никитин в своей книге «Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры в советской России» (М., 2000 г.) пишет: «Существует обширный пласт жизни 20-х и 30-х годов нашего века, оказавший мощное, а главное — продолжа-

ющееся влияние на процесс духовного развития российской интеллигенции практически во всех областях культуры, науки, искусства и самой жизни, до самого последнего времени, оставшийся совершенно неизвестным. Речь идет о мистических движениях и орденах, существование которых хранилось в глубокой тайне оставшимися в живых посвященными, пережившими годы тюремного заключения, ссылок и концентрационных лагерей… Догадаться о наличии такого скрытого пласта можно было и раньше с началом публикаций фантастических произведений А. В. Чаянова, С. А. Клычкова, а главное — знаменитого романа М. А. Булгакова о Воланде, в котором на улицах Москвы 20-х годов вдруг объявляются потусторонние рыцари в полном антураже средневековой мистики и оккультизма. Последующее, более внимательное чтение литературы того десятилетия показало неслучайность интереса их современников ко всему оккультному и инфернальному. Эта струя хорошо прослеживается у раннего Булгакова, ярко проступает в творчестве молодого В. А. Каверина, Л. М. Леонова, Ю. Л. Слезкина и многих других современных им прозаиков»; О причастности М. А. Булгакова к Ордену тамплиеров делается намек и на стр. 111.

Вполне возможно, что где-то здесь и скрывается исходная точка известных духовных превращений и перевертышей: злого Добра и доброго Зла. Где-то здесь начинается цепочка сопоставлений: Фауст и Мефистофель, Мастер и Воланд, Булгаков и Сталин.

Самое обыкновенное желание выжить привело Булгакова к грехопадению — написанию пьесы «Батум», приуроченной к 60-летнему юбилею Сталина. Но враг рода человеческого как всегда обманывает: много обещает, но расплачивается черепками…

Нельзя не сказать и несколько слов об итоговом произведении Булгакова «Мастер и Маргарита». Ярчайшим впечатлением от первого его прочтения на рубеже 60—70 годов минувшего века был мощный «антибезбожный» заряд, настоящий выстрел по казенному атеизму и принудительному безбожию. В тот момент это было самым главным и, несомненно, промыслительным воздействием, которое невозможно оспорить и сегодня. После «Мастера и Маргариты» заинтересованные читатели переходили прямо к Новому Завету. Я не преувеличиваю. Маститый московский протоиерей, настоятель Николо-Кузнецкого храма о. Всеволод Шпиллер в своих беседах во время пассий неоднократно цитировал «Мастера и Маргариту» в сугубо положительном смысле.

Пора подводить итог. Не будет большим преувеличением, если мы скажем, что все уже написанное о Булгакове по объему в разы превосходит его труды, включая письма.

Писатель Михаил Булгаков не нуждается в нашем оправдании, не боится нашего осуждения. Оба они одинаково пристрастны, как и все человеческое. Мастер осудил себя сам, написав: «Он не заслужил света, он заслужил покой». Это слова исстрадавшегося, изломанного человека. Но милость Божия бесконечно выше любого человеческого «самооговора». «Всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится» (Лк.12.10).

Хулы на Духа Святого у Мастера не найдено.

Павел БОЯНКОВ

Авторы номера

СУПРУНЧУК Виктор Петрович. Родился в 1949 г. в д. Селец Березовского района Брестской области. Окончил Белоозерское училище электротехники, факультет журналистики БГУ. Автор более десяти книг прозы. Лауреат литературной премии им. Ивана Мележа. Живет в Минске.

ДУКСА Марьян Николаевич. Родился в 1943 г. в д. Каракуличи Мядельского района Минской области. Окончил филологический факультет БГУ. Автор многих книг поэзии для детей и взрослых. Лауреат литературной премии им. Аркадия Кулешова. Живет в д. Солы Сморгонского района.

БРИТ Александр (Кривонос Александр Павлович). Родился в 1966 г. в Минске. Окончил филологический факультет БГУ. Печатался в белорусских литературно-художественных изданиях «Нёман», «Літаратура і мастацтва», «Маладосць». Живет в Минске.

ШНИП Виктор Анатольевич. Родился в 1960 г. в д. Пугачи Воложинского района Минской области. Окончил Минский архитектурно-строительный техникум и Высшие литературные курсы в Москве. Главный редактор издательства «Мастацкая літаратура». Автор книг «Гроздь света», «Путем ветра», «Поиск радости», «На руинах Храма», «Похищение Европы», «Волчий ветер», «Инквизиция», «Баллада камней» и др. Живет в Минске.

ШПАРТОВ Анатолий Алексеевич. Родился в 1959 г. в Ленинграде. Окончил физический факультет Белорусского государственного университета. Автор и режиссер ряда документальных телефильмов. Живет в Минске.

БАРТОШ Георгий Львович. Родился в 1967 г. в г. Щучин Гродненской области. Окончил исторический факультет Минского государственного педагогического института им. М. Горького. Печатался в белорусских и российских периодических изданиях. Живет в Минске.

ТРАХИМЕНОК Сергей Александрович. Родился в 1950 г. в г. Карасук Новосибирской области. Окончил Свердловский юридический институт. Доктор юридических наук. Член союзов писателей России и Беларуси. Автор многих книг прозы, сценариев кино- и видеофильмов. Живет в Минске.

АНУФРИЕВ Геннадий Григорьевич. Родился в 1948 г. в г. Сморгонь Гродненской области. Окончил филологический факультет БГУ. Автор нескольких книг, многих фантастических и юмористических повестей и рассказов, очерков и статей, публиковавшихся в коллективных сборниках, периодических изданиях России, Беларуси и Украины. Составитель десятка антологий отечественной и зарубежной фантастики. Живет в Минске.

ГАЛАНИНА (Галочкина) Анна Тевовна. Родилась в г. Минске. Окончила энергетический факультет Белорусского политехнического института. Печаталась в журнале «Строительная наука и техника». В «Нёмане» публикуется впервые. Живет в Минске.

КО Жан. Родился в 1925 г. в г. Брам (Франция). Изучал философию в «Эколь нормаль сюперьер». Французский писатель и журналист. Работал секретарем Жана-Поля Сартра. Автор романов «Жалость Бога», «Великое Солнце» и др., а также сборников рассказов, эссе, пьес, сценариев кинофильмов. Лауреат Гонкуровской премии. Умер в 1993 году в Париже.

ЖЕРИ Мишель. Родился в 1934 г. в г. Разак д'Эйме (Франция). Автор около сотни новелл и более пятидесяти романов, как реалистических, так и фантастических. Наиболее известна его трилогия о времени: «Неопределенное время» (1973), «Обезьяны времени» (1974) и «Жаркое солнце, глубинная рыба» (1976).

КЮРВАЛЬ Филипп (Филипп Тронш). Родился в 1929 г. Французский писатель, журналист. Автор более 50 рассказов и двух с лишним десятков романов, среди которых «Человек наоборот», «Это дорогое человечество», «Белый, как тень». Живет в Париже.

ВЕРНАН Жан-Пьер. Родился в 1914 г. в г. Провен (Франция). Изучал философию и психологию в Сорбонне. Французский историк и антрополог, исследователь. Почетный доктор ряда университетов Европы и Америки. Автор всемирно известных трудов, среди которых «Миф и мысль у греков», «Миф и трагедия», «Древний Восток и мы», «Улисс и Персей» и др. Умер в 2007 году в Севре (Франция).

БОДЛЕР Шарль Пьер. Родился в 1821 г. в Париже (Франция). Учился в Лионском Королевском коллеже и коллеже Людовика Святого в Париже. Поэт и критик, классик французской и мировой литературы. Автор поэтических сборников «Цветы зла», «Парижский сплин» и книги статей «Искусственный рай». Умер в 1867 году в Париже.